

203.55 (4-156) 6
4-82
К-416764

ЧУВАШСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

11
класс

Общественный
БЕСПЛАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

K8339(-1490)4

4-82

4

ЧУВАШСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Хрестоматия

11 класс

Для школ с многонациональным составом
учащихся и русских школ

Допущено
Министерством образования и молодежной политики
Чувашской Республики

ОБРАЗОВАНИЕ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

4р

ЧУВАШСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЧУВАШСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

УДК 373.167.1
ББК 83.3 (2 Рос=Чув) я 72
Ч—82

Автор-составитель **В. Н. ПУШКИН**

ПРОВЕРЕНО
20 10 22 МАР 2011

К-46764
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ч—82 **Чувашская литература: Хрестоматия для 11 класса школ с многонациональным составом учащихся и русских школ/ Автор-составитель В.Н. Пушкин. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2007. — 399 с.**
ISBN 978-5-7670-1534-4

УДК 373.167.1
ББК 83.3 (2 Рос=Чув) я 72

ISBN 978-5-7670-1534-4

© В.Н. Пушкин, 2007

© Чувашское книжное издательство, 2007

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (вторая половина, продолжение)



ВАСИЛИЙ МИТТА (1908—1957)

Василий Егорович Митта родился 5 марта 1908 года в с. Первомайское Батыревского района Чувашской Республики.

По окончании неполной средней школы учился в Ульяновском педагогическом техникуме. Работал в школах республики, районной газете. В 1932 году переехал в Чебоксары, стал одним из первых работников радиокомитета, затем трудился в Чувашском книжном издательстве.

В 1937 году необоснованно репрессирован. После реабилитации в 1954 году снова вернулся к литературной деятельности, работал ответственным секретарем журнала «Тăван Атăл».

В. Митта — писатель разностороннего дарования. Он — талантливый поэт и прозаик, очеркист и публицист, автор литературно-критических статей, мастер-переводчик. На чувашский язык прекрасно перевел произведения русских классиков: трагедию «Борис Годунов» и «Песнь о вещем Олеге» А. Пушкина, роман «Фома Гордеев» М. Горького, а также стихи Г. Гейне, Г. Лонгфелло, М. Джалиля, С. Кудаша, прозу А. Чернышевского, Н. Островского и др.

Основные темы творчества — воспевание родного края, чувашского народа, людей труда.

Лучшие произведения В. Митты вошли в сборники «Вдохновение» (1932), «Частушки» (1934), «От души» (1956), «Думы и мечты» (1959).

10 июня 1957 года на сорок девятом году жизни В. Митта безвременно скончался. Похоронен в родном селе.

Другу*

Ключевой я наполнил сегодня воды
Под развесистым дубом в лесу.
Я по лугу прошел,
Оставляя следы,
Ледяную стряхая росу.

Молодая ли кровь заиграла во мне?!
Ветер душу ль встревожил мою?
Я — потомок булгара — стою в вышине,
На обрыве высоком стою.

Было время...
Но нынче не стоит о нем, —
Думы рвутся, как птицы, в полет!
И гляжу я в просторный голубой оком
На течение свободных вод.

И сегодня счастлив, пожалуй, вдвойне,
Волга-мать донесла ко мне весть,
Что мой друг,
Что мой брат
Возвратился ко мне, —
И невольно рождается песнь!

И колотится сердце в веселой груди!
Ну, так что ж ты,
Скорей приходи!
Было радости много у нас позади,
Еще больше ее впереди!

Слышишь, муза!
Мы в новый пускаемся в путь,
Чтоб загадки постичь бытия!
Друг мой,
Брат мой,
Ты яркою молнией будь!
Буду гривою молнии я!

* Перевод Г. Фролова.

Мудрая стихия*

Педеру Хузангаю

I

Ветер спрошу летучий:
Что в мире всего дороже?
О чем ты реवेशь в тучах,
О чем кричишь по-над рожью?
«Мне, — отвечал ветер,
Пылью клубя в поле, —
Нет ничего на свете
Радостней дикой воли!
Нет ничего слаще —
Волны вздымать в море,
Сосны крушить в чаше,
Силою с силой споря!»
Что ж, хорошо, ветер.
Ты говоришь смело,
Но мачты ломать и ветви —
Это ль для сильных дело?
В бездну швырять пароходы —
Твой ли удел от века?
Смысл обретает свобода
Только в руках человека!
Ждут нас дела иные —
Жаждет земля обновленья:
Сыном ты был стихии,
Будешь ты сыном творенья!

II

Огонь я спрошу колючий:
Что лучше всего на свете?
О чем ты поешь на сучьях,
Что искры бросаешь в ветер?
Огонь отвечал: «Лучше
Воли напористой нету!
Снова в дыму тучи.

* Перевод Г. Фролова.

Пламя ползет по небу!
Хватит и малой искры,
Чтоб загудело в чаше,
Слаще свободы риск
Нет для души горящей!»
Что ж, огонь, верю,
Ты говоришь смело,
Но попусту жечь деревья —
Это ль для сильных дело?
Ужасом быть природы —
Твой ли удел от века?
Смысл обретает свобода
Только в руках человека!
Ждут нас дела иные —
Жаждет земля обновленья:
Сыном ты был стихии.
Будешь ты сыном творенья!

III

Поток я спрошу кипучий:
Что в жизни всего милее?
О чем ты шумишь под кручей,
Пеной густой белея?
Поток отвечал: «Воли
Слаще и нет на свете.
Дико гудят волны,
Жишно свистит ветер!
Не отыскать брода,
Радостен гул разлива, —
Лучше шальной свободы
Нет для души шумливой!»
Что же, поток, умолк ты,
Ты говоришь смело,
Но все разрушать без толку —
Это ль для сильных дело?
Гнать без рассудка воды —
Твой ли удел от века?
Смысл обретает свобода
Только в руках человека!

Ждут нас дела иные —
Жаждет земля обновления:
Сыном ты был стихии,
Будешь ты сыном творенья!

IV

Вышло впервые из мрака
Солнце Добра над краем,
Хаос, как аргмака, —
Разумом заарканим!..

Бульвар Иванова*¹

Нонне

Шубашкар² мне снится снова,
Ярче с каждым годом.
На бульваре Иванова
Пахнут липы медом.

Средь травы зеленой маки
Полыхают красным,
Георгины-вертопрахи
Наклонились к астрам.

С той поры, как здесь бродили,
Миновала вечность.
Ах, как пылко мы любили
В юности беспечной!

Как стояли до рассвета,
Позабыв усталость, —
Неужели только это
Мне теперь осталось?..

* Перевод Г. Фролова.

¹ Иванов — Константин Васильевич Иванов, один из основоположников чувашской литературы.

² Шубашкар — чувашское название города Чебоксары.

Родина*

I

И кусты там до неба растут,
И цветы там цветут по-иному,
Даже птицы иначе поют,
Пролетая над крышею дома.

Там поутру такая роса,
Что плыви хоть на лодке по травам.
Там у женщин такие глаза,
Ослепят, как шальная гроза,
И стоишь как потерянный, право!

А как песню начнут за селом
Про любовь, про разлуку и ласку,
Да займется тальянка огнем, —
Ноги сами срываются в пляску!

Там весною кипенье в садах,
Солнце в небе слепяще и рыже!
Неужели уже никогда,
Никогда я ее не увижу!..

II

Не качали меня
В золотой колыбели
И, когда я плакал,
Не давали мне меда.

Порой мы и хлеба
Вдоволь не ели,
Так отчего ж ты дороже мне
С каждым годом?!

Вот Була¹ играет
Волною песенной.
Вот сады зацветают
По всей деревне,

* Перевод Г. Фролова.

¹ Була — река, на берегах которой прошло детство поэта.

Как будто белое
Полотно развесила
Сестра моя старшая
На деревьях.

Здравствуй,
Околица!
Новым хлебом
Ветер шумит на полях
Зеленых.

Здравствуй,
Старый дуб мой!
Давно я не был
В тени ветвей твоих
Искривленных.

Теперь здесь иные
Играют дети.
Слышишь их гомон
Во рву глубоком?
Нет радости больше
На целом свете,
Чем вновь вернуться
К своим истокам!

Пусть на земле есть
Края иные,
Где солнце ярко
И небо сине...
Всех слов прекрасней
Слова простые
О возвратившемся
Блудном сыне!..

Письмо с целины*

Кугазей¹ мой, здесь края привольны,
Степь весной, как девушка, красива.
Луг зеленый мерно катит волны
И шумит травой неторопливо.

* Перевод Г. Фролова.

¹ Кугазей — дедушка по линии матери.

Кугазей мой, здесь земля такая,
Что не зря зовется золотою.
Здесь сухая палка зацветает,
Если в дол воткнешь ее весною.

Здесь хлеба — каких и не видали,
Прокормиться сможет и ленивый.
А какие распахнутся дали,
Как посмотришь на реку с обрыва.

Старый кедр стоит, как витязь древний,
Всю траву усыпали орехи,
Прямо за околицей деревни
Столько ягод, хоть вези в телеге.

Костяника, клюква, земляника!
Разве только винограда нету.
И дрожат на темном хвое блики
Золотого солнечного света.

Там до неба поднялись деревья,
Здесь поля без края расплескались...
Кугазей мой, приезжай скорее,
Мы тебя давно уже заждались.

После грозы*

От радуги травы густые
Оранжевы, сини, зелены,
И блещут огни золотые
На листьях темнеющих клена.

О Родина! Даль без границы!
Окончились зимние бури.
И мечутся звонкие птицы
В густой предвечерней лазури.

Я слышу, как иволга стонет
В намокших кустах под горою,

* Перевод Г. Фролова.

Я вижу, лиловые кони
Идут чередой к водопою.

Полей уходящих квадраты
И рожью шумят, и пшеницей,
И в отблесках ясных заката
Туман по оврагам струится.

Крестьяне домой возвратились.
Работы окончены. Поздно.
В деревне огни засветились.
Как первые редкие звезды.

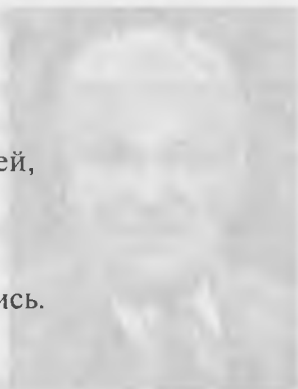
И сумрак спускается зыбко,
Домов очертанья скрывая,
И мать отрезает с улыбкой
Большие куски каравая.

А помнишь ли, мама, как прежде
Ложились голодными часто?
Как жили одною надеждой —
Дождаться когда-нибудь счастья?

Как бился отец дни за днями,
В грядущее глядя с тревогой?
Ты видишь, теперь перед нами
Иная открылась дорога.

Поля наливаются хлебом,
Достаток и радость в деревне.
Отчизны высокое небо
Высокие держат деревья!

К былому уже не вернуться,
Мы новую жизнь увидали!
И звонкие песни несутся
Оттуда, где прежде страдали!





АЛЕКСАНДР АРТЕМЬЕВ

(1924—1998)

Александр Спиридонович Артемьев родился 14 сентября 1924 года в д. Тури-Выла Аликовского района Чувашской Республики в крестьянской семье.

После окончания в 1942 году Штанашской средней школы Красночетайского района А. Артемьев ушел на фронт. Вначале он — рядовой, затем — младший командир. После победы над гитлеровской Германией воевал против японских самураев в Маньчжурии. В боях был трижды ранен. Награжден орденом и многими боевыми медалями.

После демобилизации А. Артемьев работает заведующим избой-читальней в родной деревне, ответственным секретарем редакции журналов «Ялав» и «Тăван Атӑл», одновременно учится заочно в Литературном институте им. А.М.Горького. В эти годы он публикует свои первые лирические стихотворения. Но молодой автор уже тогда чувствовал тяготение к прозе. В 1947 году в журнале «Ялав» появляется его первый рассказ «Большая радость маленькой Лии», с интересом встреченный читателем. Затем он пишет ряд рассказов и повестей, посвященных боевому подвигу советских воинов: «Незабываемые встречи», «Дорога открыта», «Не гнись, орешник!», «Парни-победители», «Бирюк», «За мир», «Любовь и ненависть» и др. В 1954 году писатель опубликовал повесть «Саламби», раскрывающую духовный мир и новое отношение молодежи к труду и жизни. Эта глубоко лирическая и психологическая повесть принесла А. Артемьеву широкую известность среди читателей.

На основе тщательного изучения исторических и архивных документов А. Артемьев создал талантливое произведение о трагических судьбах видных представителей дореволюционной чувашской интеллигенции — роман «Перед бурей».

А. Артемьев также активно работал в области критики и литературоведения.

Не раз возвращался прозаик и к поэзии; на его лучшие стихи чувашскими композиторами написаны немало песен.

Александр Артемьев — народный писатель Чувашии.

Не гнишь, орешник!*

Рассказ

1

Солнце скрылось за далекими сопками. Тысячами огней зажегся Порт-Артур. С моря подул влажный ветер. Рыбачьи джонки с белыми парусами одна за другой подплывали к берегу. Слышны лишь вечерний звон да песни китаянок, убирających гаолян. Но вскоре наступила полная тишина. Вечер.

Хороша ты, Маньчжурия! Немало восхищался я своеобразной твоей красотой. Но сегодня уже ничто не привлекает меня здесь, на далекой чужбине. Теперь на душе одно — быстрее увидеть Родину. Четыре года не был я в родной деревне, не гулял на шумных уявах...¹ Что-то увижу там?

Я спускаюсь по горной тропинке к морю, спешу в порт, не чувствую ни тяжести чемодана, ни боли в плечах от лямок вещмешка. Песня, родная песня, теснится в груди, звучит в ушах; но я ли это пою или чужие горы? Это радость моя поет. Да, потому что я иду домой.

В ожидании парохода демобилизованные собрались в большом саду, неподалеку от порта. Тут и там горят костры, видимо, готовят немудреный солдатский ужин. Кругом смех, веселый гомон, русская песня.

Я хожу от группы к группе в надежде найти земляков. Вдруг слышу чувашскую песню. Минуту стою как вкопанный, а в следующую — лечу к развесистой яблоне к поющим.

— Чуваши есть, братва?

— Есть, есть, — ответили два молодых сержанта, и оба поднялись мне навстречу. Мы познакомились.

Один из них, казах Курмангалиев, широколицый, веселый парень, с живыми черными глазами. Видимо, большой

* Перевод автора.

¹ Уяв — весенний праздник.

балагур: у него что ни слово, то шутка. У его товарища — ленинградца Ворончихина — открытое, доброе лицо, русые волосы и голубые глаза.

— Простите, где же мои земляки? Вы пошутили?

— Не волнуйтесь, товарищ старший сержант, — сказал тогда Ворончихин, — вон ваш земляк расхаживает.

У крутого обрыва взад-вперед ходил боец. Я направился было к нему, но Курмангалиев остановил меня:

— Простите, старшой... Он очень взволнован, такая радость у него, такое зубодробительное счастье. Лучше уж не трогать пока...

— Письмо получил он такое, — добавил живо Ворончихин, — вот и ходит у обрыва, все смотрит в море, ждет не дождется парохода.

Оба сержанта так душевно говорили о товарище, что я ему даже позавидовал. Присел к костру. В котелке варилась каша из маньчжурской чумизы.

— Не спеть ли, чтобы скоротать время? — предложил казах и тут же затянул:

Не гнись, орешник, не гнись!..

— Наш Курман, как соловей, не может без песни. Недаром потомок акынов, — сказал Ворончихин и сам подхватил:

...От слабого ветра не гнись!

Я с изумлением слушал, как русский и казах увлеченно выводят чувашскую мелодию, и сам не утерпел, присоединился к ним.

— Кто это так ладно поет по-чувашски? — слышалось сзади.

У костра остановился крепко сложенный парень, гвардии сержант. Грудь увешана орденами и медалями. Из-под пилотки выбилась прядь темно-каштановых волос. В карих глазах и радость, и удивление.

— К тебе земляк пришел, познакомиться, — в один голос сказали мои соседи.

— Астров, — представился сержант, пожимая мне руку.

А через несколько минут мы с ним уже непринужденно болтали, словно знали друг друга с детства. Так часто бывает в армии.

— Небось, дома невеста ждет? — спросил я к слову.

Астров помолчал, взглянул на вечернее море тоскующими глазами и улыбнулся.

— Эх, земляк! Знали бы вы о моей невесте... Да, кажется, вы пишете? Частенько я встречал ваше имя в армейской газете... Можете и написать, мне все равно. И не потому, а так уж... теперь всем хочется рассказать о ней...

Давно спят Ворончихин и Курмангалиев, укрывшись одной шинелью, давно потух костер. А мой земляк все рассказывал про свое горе-злосчастье.

2

— Астров, пойдете в батальон связи! — приказывают мне в штабе дивизии. Со связным батальона я отправился в путь.

Установилась тишина, изредка нарушаемая далекой трескотней пулеметов. Декабрьская морозная ночь. Холодный свет вражеских ракет время от времени озаряет небо.

Батальон связи расположился в двух-трех километрах от немецкого города, на опушке небольшого болотистого леса.

Немецкая земля и днем показалась мне скучной, а в темноте она и вовсе навела тоску. Я в тот день прибыл сюда с новым пополнением.

— Комбат в этом блиндаже, — сказал связной.

Я постучал и вошел.

В блиндаже сильно натоплено, железная печь пышет жаром. В углу, сидя на корточках, дремлет молодой ефрейтор, видимо, ординарец. Над столом, сколоченным из снарядных ящичков и покрытым куском плащ-палатки, склонился над картой пожилой, суровый на вид человек. Я сразу узнал в нем комбата. Связной батальона по дороге рассказал мне фантастические истории об этом отважном командире. Сейчас он, усталый, задумчивый, больше походил на учителя географии, чем на прославленного командира.

— Так, так, — сказал комбат, строго оглядывая меня карими глазами. — Откуда родом?

— Из Чувашии.

— Так, так.. Возраст?.. Образование?

— Девятнадцать лет... Образование семилетнее.

— Комсомолец?

— Нет еще, — смущенно ответил я.

Майор начал постукивать карандашом о стол.

— Так, так... с какого фронта к нам прибыли?
Я окончательно смутился:

— Впервые на фронте, товарищ майор.

Он перестал стучать карандашом. «Не нюхал еще пороху, молокосос», — говорили его карие глаза. Вслух он сказал:

— Так, так... Батальон наш отдельный, имеет свое знамя, ордена Ленина батальон. Солдаты как на подбор! Так, так... Можете идти.

Прямо скажу: такой прием не обрадовал меня, сильно задел.

Но это были еще цветочки...

Следующей ночью была учебная тревога. Я задержался на нарах, замешкавшись с обмотками.

— Интеллигенция! — крикнул мне старшина. — Марш в строй!

Я выбежал, засовывая обмотки прямо в карманы.

С этой ночи я оказался у старшины на подозрении. Будто только и дело было у него — наблюдать за мной. Каждый раз что-нибудь да обнаружит: то пуговица у меня оторвана, то хлястик болтается, то звездочки нет...

Старшина Гончарук был старым кадровиком. Образования небольшого, но от природы сметлив и умен. Моя нерасторопность и небрежность выводили его из себя. «Интеллигенция! — кричал он мне. — Котелок не умеете чистить».

Я не попал в действующую армию вместе со своими ровесниками — служил в запасных полках, в глубоком тылу. А теперь на фронте мне пришлось очень туго. С телефонным аппаратом я быстро освоился. В землянке, на учебе, не отставал от других, а выйду в поле, на линию, — ничего не получается. Без тренировки здесь, как старшина говорил, и образование не поможет. На счастье, товарищи оказались хорошие.

Я крепко подружился с двумя бойцами в своем отделении. Оба рядовые, оба мне ровесники, но считаются «старыми фронтовиками». В батальоне их называли братьями.

Один из них, казах Курмангалиев, до войны работал где-то около Алма-Аты садовником. Он мог бесконечно рассказывать про прививку, окулировку и разную такую премудрость. Другой, Ворончихин, — коренной ленинградец, из рабочей семьи.

Все время мы проводили в поле, учились налаживать связь. Взвалишь на спину полупудовые катушки и давай чесать по полю, разматывать кабель, — то бежишь, то ползешь на животе. Никак не ладилось у меня дело. Не было навыка закреплять кабель на земле или на жердях, когда проводил линию через канавы и дороги. Оттого мою линию всегда обрывали машины и танки. Я прямо с ума сходил.

Вернешься в землянку, только сунешься к нарам, а старшина тут как тут:

— Чей это автомат не чищен? Астров!..

Услышу свое имя — душа уходит в пятки. Я был не из робкого десятка, но перед старшиной трепетал. Ведь мечтал стать героем, когда ехал на фронт. Какой уж там герой... Даст тебе героя Гончарук! Словом, не встречал я еще человека такого строгого; казалось, и родился-то он, чтоб непременно быть старшиной. Конечно, плохому солдату любой старшина не мил, но у меня нашлась еще причина, чтоб бояться Гончарука.

Однажды мы весь день подбирали в поле трофейный кабель. Вечером, только вернулись в землянку, заходит к нам Гончарук. Улыбается, покручивая свои рыжие усы:

— Ну, Астров, терпи — атаманом будешь!

«Что же еще неладно у меня?» — думаю тревожно. Но старшина не сделал никаких замечаний, ушел, не переставая крутить усы. Я ничего не понял. Пошел за ужином — и вдруг...

Из-под навеса, где помешалась наша походная кухня, раздалась старинная чувашская песня:

Не гнись, орешник, не гнись,
Не гнись, орешник, не гнись,
От слабого ветра не гнись!..

Ушам своим не верю. У кого из наших бойцов такой нежный, девичий голос и кто в батальоне, кроме меня, может знать чувашскую песню?

У походной кухни стоит девушка в длинной шинели и белом фартуке поверх. Орудует в котле большим ковшом и все напевает. Из-под ушанки выбились крутые завитки волос; запомнилась мне одна прядь около левого уха. Лицо разругмянилось, а в черных глазах отражается огонь. Ресницы — как крылья ласточки, вот-вот взмахнет ими и улетит...

Меня бросило в жар. Стою, очарованный, не могу сдвинуться с места. Беда не является одна, — в это время подходит к котлу старшина и вдруг как брякнет:

— Знакомьтесь, товарищ ефрейтор, вот он — ваш земляк. Лучший хлопец в батальоне!

Девушка подошла ко мне, ласково улыбаясь.

— Очень рада, — сказала она, подавая мне руку. — Зовите меня просто Лизой.

Видно, и она смутилась, щеки у нее еще больше зарделись, и такой красавицей показалась она мне!

Я совсем растерялся, схватил свой полный котелок и бросился вон из кухни.

— Дуже добрый солдат! — услышался вслед голос старшины.

Лег спать, да сон не идет. «Не гнись, орешник, не гнись!» — подбадриваю себя. Да согнуло вот! Два раза вскакивал, чистил автомат, вытер телефонные аппараты, до блеска надраил золой пуговицы гимнастерки. Как бы товарищи не заметили! А от них разве что скроешь?

— Астров, познакомь же меня с ней, окажи услугу, — пристаёт Курмангалиев.

— Ну, Петенька, заживешь теперь лихо! — подшучивает и Ворончихин.

Какая уж там лихая жизнь! Еще хуже стало...

Правда, на другой день старшина спозаранок вывел нас на осмотр, проверил мой автомат, катушки и перед всем батальоном объявил мне... благодарность.

Лиза стояла неподалеку, приветливо улыбаясь мне.

Не посмел я пойти за завтраком, послал Курмангалиева. А он — язык-то у него без костей! — успел передать Лизе от меня привет. За обедом решил идти сам, а то кто их знает, что могут ей наговорить от моего имени. Нарочно пошел позже всех, когда на кухне никого не было.

— Петя, — упрекнула Лиза, — почему не приходил утром, или я чем-нибудь обидела тебя?

Уж не помню, что я там наплел. Думаю, получу обед — и ходу. Но Лиза взяла мой котелок да завела разговор:

— Порадовалась за тебя сегодня на осмотре, Петя...

Эх, Лиза! Что бы ты сказала, если бы все знала обо мне!

Тут вблизи раздался голос старшины, и я пустился наутек.

Как говорит Курмангалиев, бог нарочно посылает орехи беззубому. Какая девушка могла бы обратить на меня внимание? Я еще живого фашиста в глаза не видал, а кругом в батальоне прославленные воины...

Спокойно проходит день, другой. Что-то замечает за мной Гончарук, но еще терпит. А на третий день разразилась гроза...

Трофейный кабель мы намотали на железные катушки. Я занес их в землянку и, не обтерев как следует, положил под нары. За два дня мои катушки покрылись ржавчиной. Увидел это старшина и, даже не допытываясь, кто это сделал, закричал на меня:

— Астров!

Сердце у меня так и зашло. «Пусть что угодно, лишь бы не послал на кухню чистить картошку».

Но, как говорит Курмангалиев, слепому нет дела до того, что свечи подорожали. Что старшине до того, что его боец самовольно влюбился! Только успел я так подумать, мой Гончарук как рявкнет:

— Мар-р-рш на кухню! — и подергивает рыжий ус.

На кухне работают двое: Лиза и один старый боец. Когда я пришел туда, бойца не было, он пошел за водой.

Увидев меня, Лиза удивилась:

— Петя, что ты так рано? До ужина еще далеко.

— Пришел помочь вам, товарищ ефрейтор, — рапортую, козыряя по уставу, как и велел мне старшина. А самому так неловко, что хоть провались на месте.

— Очень рада! Впервые вижу, чтоб у фронтовика столько было свободного времени. Садись, садись, — сказала девушка, придвинув мне опрокинутое ведро вместо стула.

Я начал было объяснять ей, почему очутился на кухне, но она перебила:

— Знаю, знаю. Видела же, как старшина объявил тебе благодарность. Значит, отпустил погулять. Я очень рада!

Что же было возразить? Снял шинель и сел напротив.

Молчу. Чистим картошку. Неловко мне. Не смею голову поднять.

Вдруг Лиза запела ту чувашскую песню, без слов. Будто не она, а сердце мое запело.

— Астров! — донеслось вдруг со двора.

Гром ли среди ясного неба? Нет, старшина Гончарук.

— Астров, — приказал командир взвода, — приготовься, пойдешь на передовую.

— Есть идти на передовую, товарищ старшина!

Бегу обратно в землянку, надеваю шинель.

— Куда, Петя? — спрашивает Лиза. Сразу стала серьезной. — Берегись, будь осторожен... — говорит она, провожая меня.

Скоро мы вышли на дорогу — Курмангалиев, Ворончихин и я. На передовой перестрелка. Сердце у меня так и скачет: лиха беда начало. Но держусь, да и друзья будто не замечают моего страха.

— Петенька, — говорит Курмангалиев, — как это у вас в песне: «Не гнись, орешник, от слабого ветра»? Как раз для нас, гвардейцев... Научи нас, Астров, всю ее петь. Начни-ка!

Только я запел, как прямо над нами просвистел вражеский снаряд. Я растянулся на снегу.

— Не гнись, орешник! — сказал Курмангалиев, протягивая мне руку.

— От слабого ветра не гнись, — продолжил Ворончихин, подхватывая меня за другую.

Обозлился я на себя, сжал зубы: «Не гнись, батыр!»

Пришли в полк. Две катушки кабеля на спине — нелегкий груз. Мы сильно устали. «Вот придем на место, накормят, и завалимся спать», — размышлял я. Но из штаба нас с Виктором отправили в батальон. Курмангалиев остался дежурить у коммутатора.

Командир стрелкового батальона расположился в передней траншее. Из окопов слышен тихий разговор солдат. Прямо перед нами вражеский город.

Уж давно стемнело. Стало холодно.

— Ну, Петенька, пока линия целехонька и немцы не беспокоят, давай приляжем, отдохнем, — говорит Виктор.

— Разве тут есть блиндаж?

— Какой уж там блиндаж! — усмехается друг. — Вот раскидаем здесь, на дне траншеи, хворост — и будет как у тещи на перине, а если лечь друг к другу спинами — будет тепло, как у печки.

Много ли нужно солдату! И на куче хвороста неплохо отдохнешь... Однако я всю ночь дрожал от холода. У Виктора тоже зуб на зуб не попадал, но он надо мной еще и подшу-

чивал. Лишь к рассвету я чуть задремал, да разбудил меня Курмангалиев.

— Эй, Петр-богатырь! Вставай кушать! Пожалуй, курсак¹ у тебя семь раз пустой?

— Курсак большой, котелок маленький, — ответил Виктор, немедленно вытаскивая из-за голенища ложку.

До чего же хорошо после морозной ночи, поставив котелок на колени, хлебать горячие ши!

— Астров, тебе от Лизы большой салам! — вдруг говорит Курмангалиев.

Хлеб чуть не застрял у меня в горле.

— Что?

— Ешь, ешь! Привет передала, говорю. Принесла в термосе обед и все про тебя расспрашивала: что да как?

— И ты что?

— А что я? Так и сказал, что ты воюешь здесь, как батыр. Обрадовалась. Разумеется, за тебя. Потому и салам посылает... Я прямо сказал, что ты не можешь жить без нее...

— Эх, Курман! Что же она подумает, если узнает обо мне правду? Я же вон какой солдат...

— Не горюй, — говорит Виктор. — И мы с Курмангалиевым так начинали. Ведь солдатом никто не родится. Из тебя выйдет хороший связист. Вот увидишь. А мы поможем, чем можем, будь уверен.

Прошло несколько дней. Курмангалиев в сутки дважды приносил нам обед и каждый раз передавал привет от Лизы. И так согревали меня в промерзшем окопе эти слова!

Однажды Курмангалиев пришел и ни слова не говорит о Лизе.

— А где же салам? — посмеиваясь, спросил Ворончихин. Казах посмотрел на меня и ничего не ответил.

— Курмангалиев, не томи! — взмолился я.

Ответил он нехотя:

— Не передавала... Только спросила: «Скажи-ка, Курман, правда, что Астров самый плохой солдат в батальоне? Почему вы скрываете это от меня?» Так печально смотрит, что и сам растерялся.

У меня даже ложка выпала из рук. Виктор тоже перестал есть.

¹ Курсак — живот (казахск.).

— Гончарук наговорил! — выпалил я.

— Нет, Петенька, ошибаешься, — возразил Ворончихин. — Гончарук не такой, чтобы поносить за глаза. Он человек правильный. Лиза случайно могла это услышать, но только ничего не узнала, иначе не расспрашивала бы Курмангалиева.

— Что теперь она скажет, ребята?

— Не гнись, орешник, не гнись! — запел веселый казах, размахивая ложкой.

— От слабого ветра не гнись, — подхватил и Виктор.

— Что ж, попробуем...

Мы дежурили в штабе по очереди. На следующий день очередь была за мной. Но я не пошел. Дал себе клятву не видаться с Лизой, пока не стану настоящим связистом. Попросил Ворончихина — он согласился.

Но все же встречи с Лизой не миновал. На другой день она сама явилась к нам. Прыгнула прямо в траншею, где я сидел один, — Курмангалиев был на линии. Была она в широком полушубке, в белой ушанке, в ватных шароварах и валенках — до чего хорош паренек! Вся в снегу, мокрая. Волосы растрепались, а та озорная прядь возле левого ушка так и вьется в колечко.

— С трудом разыскала вас, — сказала Лиза, устало присев на дно траншеи. — Попала под пулеметный огонь, продвигаться пришлось ползком... Погляди, Петя, — показала она мне свой термос.

Термос был пробит пулей.

— Лиза, — говорю я, испугавшись, — зачем ты сюда пришла? Ведь тебя могли ранить или...

А она наливает суп в мой котелок и лукаво улыбается.

— А знаешь, Петя, что мне вспомнилось? Весенний сев в нашем колхозе... Брат мой был трактористом, а я вот так же ходила в поле к нему с обедом. Сяду, бывало, перед ним и не нарадуюсь, разговариваем, шутим... Теперь нет уже его. Танкист был, погиб в Карпатах...

В траншею прыгнул Курмангалиев.

— Э-э! Чувашстан в сборе! Салам, салам! — поприветствовал он девушку. — Слава Аллаху за твои гостинцы. Недаром сказано: повар выше ламы. А то у меня желудок совсем пустой, семь раз пустой... Жизнь налаживается, Лиза, — болтает он, усаживаясь на куче хвороста. — Вот и перина пухо-

вая, и дом новый — недели нет, как построили. Да и жена молодая, — показал он на свою винтовку.

— Курман, это ты вчера дежурил у комбата?

— А в чем дело, Лизонька?

— Да нет, ничего, так... Значит, тебя похвалили в штабе полка...

— Нет, не меня. Вечером у комбата дежурил Петя, — перебил ее Курмангалиев.

«Неправда!» — хотел я сказать, но тот не дал мне и заикнуться, начал шуметь о другом.

Поверила ли ему Лиза? Глаза ее опять заблестели. Уходя, она посмотрела на меня долгим взглядом и крепко пожала руку:

— Счастливо оставаться, Петя. Смотри, будь осторожен...

На другой день мы пошли в наступление. Наши полки взяли немецкий город и погнали фашистов на запад, занимая ежедневно по несколько деревень. Едва успеешь наладить связь, как опять кабель на катушки — и вперед, на запад! некогда поспать, отдохнуть, высушить портянки! Наши тылы отстали от нас. Около недели не видел я Лизу. Не сказать словами, как стосковался.

Неужели такая мне судьба — влюбиться, когда кругом кровь льется? Ведь того и гляди, шальная пуля оборвет хоть какую любовь.

— Война, конечно, есть война, — говорил по этому поводу Курмангалиев. — Но все же влюбленному и тут легче. Любовь сильнее смерти. Это я не от себя говорю, так поют акыны в нашем Казахстане.

С каждым днем я все больше свыкался с фронтовой жизнью. Свист пуль и разрывы мин уже почти не пугали меня. Мог даже вздремнуть во время артподготовки. Но дело у меня все еще не очень ладилось.

— Связистом быть, — говорил Курман, — что стихи писать: у кого получается, а у кого и нет. А ты не унывай. Дерево только в молодости гнется, говорят казахи.

Мы дошли до сильно укрепленного городка. Здесь враг готовил нам контрудар. Наши выдвинули для обороны даже саперный батальон.

— Будешь держать связь между командным пунктом дивизии и саперами, — объяснил мне задачу командир взвода.

— Ну, Петенька, — сказал на прощанье Ворончихин, — пришло время и тебе показать себя. Смотри, не гнись...

— От слабого ветра, — закончил Курмангалиев.

Саперный батальон окопался в низине. Недалеко от передней траншеи, у самой речки, стоял большой каменный дом. Комбат расположился там в подвале.

— Ну, связист, — сказал он мне, — будь начеку! Чтоб связь была бесперебойная.

— Здесь нас атакуют по три раза на день, — объяснил мне связной комбата.

Стало боязно: управлюсь ли один? Будь здесь Виктор или Курмангалиев, с ними пошел бы в огонь и воду! А тут и посоветоваться не с кем...

Двое суток не стихал бой. Я без отдыха бегал по линии, устраняя повреждения. На третий день, утром, когда немного стихло, я зашел в подвал комбата, присел в темном углу и задремал.

Вдруг затрещали автоматные очереди. Кто-то истощным голосом крикнул в окно подвала:

— Немец окружает!

— Все наверх! — приказал комбат и первый бросился к выходу.

Мне еще не приходилось так близко видеть фашистов. В зеленых шинелях, они бежали к нашему дому под прикрытием «тигра». Их было около роты. Положение опасное — они все ближе и ближе. Вдруг вражеский танк остановился в облаке черного дыма: его подбили с прямой наводки наши артиллеристы. Но фашисты все шли вперед. Еще минута — и они ворвались бы в наш двор. В этот момент из окошка каменного сарая застрочил станковый пулемет.

Гитлеровцы залегли, стали обстреливать сарай. Затем снова вскочили и бросились вперед. Мы ждали, но «максим» молчал.

— К пулемету! — приказал комбат.

Трое из нас кинулись к сараю. Двое замертво упали еще во дворе, я успел заскочить внутрь. На широком подоконнике стоял заряженный пулемет, пулеметчик лежал на полу в луже крови. Я прильнул к пулемету и нажал на гашетку. Ряды наступающих поредели. Фашисты залегли и начали отползать назад. Тут наши поднялись в атаку... Пришла на помощь стрел-

ковая рота. Через час враг был отброшен, и саперный батальон теперь остался во втором эшелоне. Мимо наших траншей потянулись обозы. Двинулся и батальон связи.

Связисты, как только увидели меня, заорали «ура». Даже старшина удовлетворенно покрутил свои пышные усы.

— Молодец, Астров! О тебе мне все подробно доложили.

— Молодец! — тепло сказал и наш комбат. А ведь прежде только сердито повторял: «Так, так...»

— Отдохни, Астров, сегодня вместо тебя на линию выйдет другой, — сказал мне взводный.

Все с уважением смотрели на меня. Эх, были бы здесь Виктор с Курманом! Была бы Лиза... Счастливый, я сел на кучу дров и заснул глубоким сном.

И снится мне, будто я лежу на пуховой перине. В роскошно убранной комнате тепло и тихо. На столе в бронзовом подсвечнике горит свечка. На окнах тяжелые бархатные гардины. Стены завешаны дорогими коврами. У моего изголовья сидит девушка и гладит мои жесткие волосы. Не могу разглядеть лица ее, но узнаю нежный и ласковый голос. «Петя», — шепчет она, наклонясь ко мне. Завитки волос щекочут мне лицо... Самый непокорный завиток у левого уха. Девушка целует меня.

Я открываю глаза и минуту не могу прийти в себя. В самом деле, я не на куче дров, не во дворе, а в комнате, на пуховой перине. Гардины, ковры, свечка в бронзовом подсвечнике... И самое главное — у моего изголовья сидит Лиза. На ней гимнастерка, перетянутая широким солдатским ремнем, на груди гвардейский значок...

— Лиза?

— Спи, Петя, спи, — говорит она, укрывая меня шинелью.

— Кто перенес меня сюда?

— Старшина Гончарук. Он тебя и раздел, и уложил. Не велел будить до утра. Вот выпей это и снова ложись, — говорит девушка, подавая мне фляжку.

— Водка? Откуда? Ведь я еще утром выпил.

— Старшина дал... свою.

Я был всем этим ошеломлен. Хлебнул водки и, видимо, сразу опьянел на голодный желудок. Задремал. Снова показалось, что Лиза целует меня. Открываю глаза, та же комната... гардины... свечка... Но в комнате ни души.

И снова заснул. Проснулся на следующее утро от крика Гончарука.

— Подъ-ем! — орал он. — Ты что это, как фон-барон, валяешься в постели? Мар-рш умываться!

Вот тебе и на! Неужели он вчера ухаживал за мной? А может, Лиза? Но ведь она даже не взглянула на меня во время завтрака! И я не посмел расспросить ее. Так и не узнал, что вчера было во сне, а что наяву.

После завтрака командир взвода послал меня в полк, к своим друзьям.

— Э-э, Петр-богатырь пришел! Салам! — обрадовался мне Курмангалиев.

Ворончихин обнял меня за плечи:

— Поздравляю, Петенька! Ты уже прогремел на всю дивизию. Читай, что пишут о тебе в дивизионной газете!

Дрожащими руками взял я газету. Там подробно были описаны мои вчерашние дела. Кто же это? А-а, замполит...

«Отважный связист», — крупными буквами выведен заголовок. Отважный связист!

С того дня моя солдатская жизнь пошла совсем по-иному. Я стал гвардейцем. Скоро меня приняли в комсомол. Словом, жизнь наладилась. Но хоть и назвали меня «отважным связистом», а перед девушкой оставался по-прежнему робким. Встречу Лизу — не знаю, о чем говорить. Так и проходили недели.

В феврале здесь уже снег тает, не то что у нас в Поволжье. Идут дожди.

Однажды был солнечный, теплый день. В поле таял грязный снег. На фронте установилась тишина. Нас троих вызвали с передовой в штаб дивизии, чтобы вручить награды. Я получил медаль «За отвагу». Моя первая награда!

Вечером, на ужине, поздравила нас Лиза. Она была очень рада за нас. Мы втроем начистили ей картошки, наготовили дров. Уже к полуночи, закончив работу на кухне, устроились в сарае на пахучем сене.

— Ой! — говорит вдруг Курмангалиев. — Совсем забыл: старшина же мне работу задал!

Вскочил и скрылся в темноте. За ним поднялся и Ворончихин.

— Мне замполит приказал «Боевой листок» выпустить.

Знаю, какие там листки! Лиза, наверное, тоже догадалась. Сидим, переговариваемся тихо.

— Заглянуть бы теперь в родную деревню... Ты кем собирался быть до войны?

— Агрономом. Да и теперь думаю о том же. Вернусь из армии, пойду учиться в сельхозтехникум.

Лиза вздохнула.

— Доброе дело! Я сама бы хотела на агронома... В колхозе я была не из последних. И на сенокосе, и на жатве... В районной газете про меня однажды писали... Петя, знаешь, что я придумала? Сказать? Ты говоришь, у тебя родные умерли давно, никого не осталось... А мы живем с матерью... Колхоз у нас богатый...

Девушка умолкла, и сердцу моему стало тесно в груди.

— Лиза, я давно хотел сказать... спросить у тебя...

— Спрашивай.

— Помнишь ночь в имении? Мне там сон приснился...

И рассказал ей все.

— Было это, Лиза?

— Нет, — шепнула она, — все тебе приснилось.

Я замолчал.

— Ты огорчен, Петя?

Так искренне сказала она это... Я чуть наклонился вперед, в темноте волосы Лизы коснулись моей щеки, я чувствовал рядом ее дыхание...

— Курмангалиев, Ворончихин! — тут же раздался во дворе голос старшины. — Эй, линейщики! Кто там есть? Курмангалиев! Ворончихин!.. — орал старшина, но моего имени почему-то не назвал. — Линия генерала оборвалась.

Я вскочил.

— Куда, Петя? — с тревогой спросила Лиза.

— Я быстро, Лизук!

— Смотри, береги себя, Петя... Жду, — шепнула девушка.

Я вышел во двор.

— Товарищ старшина, я пойду на линию!

— Астров! Ну, лети, орел! — Он передал мне телефонный аппарат.

Я взял кабель, протянутый по земле, и побежал. Скорей бы найти повреждение, восстановить связь и вернуться к Лизе. Сегодня скажу ей все. Сегодня или никогда...

Впереди вдруг возникли черные тени. Я остановился. А-а, это кусты. Чего это я? Ведь до передовых траншей не меньше километра. Все же я крепче сжал автомат. Вот кабель стал болтаться свободней, значит, линия оборвалась где-то недалеко, в кустах. Странно! Здесь же не проходили ни танки, ни автомашины.

Наконец нашел повреждение. Озираюсь вокруг: все чудится, кто-то притаился в кустах. Тьма кромешная, тишина, только на западе вспыхивают и гаснут ракеты. Где-то тарыхтит наш «кукурузник». Осторожно наклоняюсь к земле, протягиваю руку, ощупью нахожу на земле другой конец кабеля... И вдруг трое набросились на меня, трое с трех сторон. Я успел нажать на спусковой крючок автомата. Один свалился прямо мне под ноги, другой мелькнул в кусты; но выскочивший сзади схватил меня за шею и бросил через себя на землю. Во время падения я изо всей силы размахнулся автоматом и ударил его. Он упал вместе со мной.

Я был не из слабых. В батальоне никто не мог побороть меня. Но и враг силен. Дважды подмял меня. Глядим друг на друга с ненавистью, душим, вот уже начали хрипеть. Немец, видно, выпил для храбрости: так и разит от него спиртом и чесноком. Вот он отпустил руки.

И тут что-то кольнуло меня в спину, прожгло левый бок, затем правую руку. Трижды вонзил гитлеровец кинжал в мое тело, но спасла меня от моментальной смерти толстая ватная фуфайка.

Фашист стал звать третьего, но никто не откликнулся, тот, наверное, убежал. Решив, что я без сознания, немец отпустил меня, а я, собрав силы, двинул его ногой в живот. Он сразу обмяк, затих.

Я взял свой автомат, отобрал заодно и у немца, дополз до места, где был обрезан кабель. С трудом, одной рукой и зубами, соединил концы провода, включил аппарат в линию, повернул ручку телефона.

— Молодец, Астров! — послышался в трубке голос комбата.

— Товарищ майор! Я ранен... рядом немец...

Рука у меня задрожала, трубка выпала... Боли будто нет, а силы уходят. Прилечь бы, перевязать раны. Тут приподнялся с земли фашист.

— Руки вверх! — крикнул я, левой рукой направив на него автомат.

Немец поднял руки.

Сидим так, лицом к лицу. Он немного ожил, а я вот-вот потеряю сознание. Немец не шевелится — ждет, видно, пока я сам не свалюсь, не истеку кровью. Как в дремоте, руки и голову клонит вниз. Держусь из последних сил, лишь бы не показать врагу свою слабость. «Может, пристрелить его...» — смутно мелькает в голове. «Нет, дождусь... Сейчас друзья придут. Меня ведь не бросят, как тот немец своего...»

Перед глазами повисла черная завеса, уж почти не вижу врага, но все еще целюсь в проклятого. Так и сидим в трех шагах друг от друга. Немец все не шевелится, ждет.

Минуты — как часы. Как во сне слышу: «Петя! Астров!» Кто-то подходит... Кто-то схватил за раненое плечо, и я от страшной боли потерял сознание.

Больше двух месяцев пролежал я в госпитале. Пока выздоравливал, добирался до своих, война с Германией закончилась.

В свой батальон я попал к вечеру. Связисты расположились в большом лесу, у речки. Как только показались их землянки, сердце забилось сильнее. Что делают сейчас мои друзья, что делает Лиза? Ждет ли она меня?

Друзья издали узнали, выбежали из землянки навстречу и начали обнимать, тормошить меня. На шум прибежал сердитый Гончарук. Но, заметив меня, забыл все свои наставления и уставы, бросился, хотел обнять, но посмотрел на своих подчиненных и, покашливая, степенно пожал мне руку.

— Все же вернулся к Гончаруку? — сказал он, удовлетворенно крутя свой ус. — Очень рад! Такие хлопцы мне ко двору.

Старшина потрепал меня по плечу, сказал деловито:

— Подкормить придется тебя. Похудел без меня... интеллигенция.

Сердце у меня не на месте. Разговариваю, а сам все поглядываю на кухню. Не выбежит ли оттуда девушка в гимнастерке? Но нет, никто не выходит...

— С дороги чайку бы выпить, — говорю друзьям и направляюсь к кухне.

Вместе со мной идут Виктор и Курман. Как только увидел незнакомого повара у очага, сердце упало. Сразу понял: Лизы нет! Креплюсь и спрашиваю, словно шутя:

— Где же моя землячка?

Друзья меня обняли.

— Не гнись, орешник!..

Лизу, оказывается, перевели в штаб армии, как только кончилась война. А куда потом она делась, никто не знает. Вернулась, пожалуй, домой, предположили друзья.

— Все от тебя писем ждала. Не писал ты...

Да, не писал. Был на волосок от смерти, думал, останусь калекой, вот и не решался. А теперь куда же писать? Но я найду ее...

Снова началась беспокойная солдатская жизнь. Нас отправили на Восток. Прошел я всю Маньчжурию с катушкой за спиной. В боях меня еще раз ранили. Стал младшим командиром. Постепенно и с горем своим свыкся. Старшина раздобыл мне Лизин адрес. Писал я много, но ответа не получил. Письма идут долго, путь-то далекий: пятнадцать тысяч километров!

Ничего не осталось у меня на память о Лизе. Только песня. В батальоне ее знали все. Неразговорчивый комбат — и тот, говорят, напевает ее, когда один. А Гончарук, как только начнут солдаты петь, требует, чтобы спели и «Орешник».

И фронтовые дни, и боевая дружба, и первая любовь для меня навеки связаны с этой песней...

3

Астров прервал свой рассказ:

— Пароход, братцы, пароход! — радостно закричал он, вскакивая.

Все посмотрели на море. Там из утреннего тумана показался силуэт океанского судна.

Солдаты задвигались, заторопились. Поднялись и друзья Астрова. Земляк мой тоже стал собирать вещи.

— Но вы не закончили своей повести, — напомнил я ему.

— А на этом, собственно, кончается пока повесть, — сказал он, обернувшись ко мне. — Что будет дальше, и сам не знаю.

Он вынул из кармана треугольник письма.

— Вот она прислала весточку. Вернулась из армии и зовет меня в гости. В письме призналась, что то был не сон тогда... Нам с вами по дороге. Хотите, заедем вместе к Лизе, там и доскажется моя повесть. А теперь...

Тут появился богатырь-гвардеец.

— А-а! — воскликнул он. — Вот где они, три мушкетера! Еле разыскал вас. — И сразу обнял всех троих. Я догадался, что это и есть Гончарук. — Так, значит, расстаемся, хлопцы? Сколько тысяч верст прошли вместе... Не забывайте Гончарука, не поминайте лихом. От всей души старался, чтобы из вас вышли настоящие... Ну-ка, Ворончихин... Курмангалиев... Астров!...

Старшина снял с пояса флягу и достал из кармана брюк алюминиевый стаканчик.

— Ну, орлы мои, сынки! На прощанье по одной гвардейской...

— Зорко береги, батько, нашу границу. Смотри, не гнись от слабого ветра! — сказали в один голос три друга.

— А вы хорошо работайте там, на родине!

Старшина расцеловался с друзьями и стал беспощадно дергать свои рыжие усы. Синие глаза его увлажнились. Он сердито смахнул рукавом гимнастерки непрошенную слезу и потом уже молчал.

Когда наш пароход выходил в море, в порту раздался выстрел. Это Гончарук салютовал нам из пистолета. Он стоял в стороне от толпы, на высоком каменном утесе, и долго-долго махал нам пилоткой.

Порт-Артур скрылся за сопкой.

Над волнами Желтого моря понеслась наша песня.



МИГУЛАЙ ИЛЬБЕК

(1915—1981)

Мигулай Ильбек (Николай Филиппович Ильбеков) родился 19 мая 1915 года в с. Трехизб-Шемурша Шемуршинского района Чувашской Республики.

Первоначальное образование получил в Шемуршинской школе-восьмилетке, затем окончил Батыревское педагогическое училище, Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева.

Работал учителем, редактором Чувашкнигоиздата, ответственным секретарем правления Союза писателей Чувашии.

Осенью 1937 года был призван в ряды Красной Армии. Принимал участие в походах по освобождению Западной Украины и Западной Белоруссии. В годы Великой Отечественной войны прошел путь от рядового солдата до редактора дивизионной газеты. Демобилизовался из армии в звании майора. Награжден боевыми орденами и медалями.

Начало творческой деятельности М. Ильбека относится ко времени учебы в пединституте.

В послевоенное время М. Ильбек показал себя мастером-рассказчиком, прекрасным очеркистом, публицистом, маститым романистом, талантливым переводчиком, видным исследователем творчества чувашских писателей. Им издано более двадцати книг. Самое весомое и известное произведение — роман «Черный хлеб», посвященный дореволюционной жизни чувашского народа. В нем достоверно описаны революционные события 1905—1907 годов, на фоне которых наглядно показаны классовые противоречия в деревне и рост самосознания двух народов — чувашей и татар. Писатель с большим знанием крестьянской жизни рисует в нем не только быт, нравы, обычаи чувашского народа, но и также его важнейшие духовно-нравственные качества.

ва, как трудолюбие, нестяжательство, милосердие, сострадание.

За выдающиеся заслуги в развитии чувашской литературы ему присвоено почетное звание народного писателя Чувашской АССР.

Умер 12 апреля 1981 года в г. Чебоксары.

Черный хлеб*

Роман

(В сокращении)

Жизнь прожить — не поле перейти.

ПРОЛОГ

Изда приземиста, сутула, ветха. Перед ней стоит вяз, величавый и пышный, словно богатая невеста в свадебном наряде. Густая листва плотной зеленой чадрой нависла над соломенной крышей, надежно укрывая ее от солнечных лучей. Кровля еще не совсем потеряла свой первоначальный золотистый цвет.

Два подслеповатых окошка покривились. Одно искоса, как будто с недоверием, всматривается в домишки на противоположной стороне улицы, другое тупо уставилось в низенькую завалинку.

Крыльцо красивое, осанистое, с горделиво вскинутым коньком, карнизы узорчатые, перила покрыты замысловатой резьбой. Кажется, что старый, истрепанный кафтан из домо-тканого сукна на груди залатали куском дорогой красивой материи...

Чтобы попасть в дом, нужно пройти через небольшие сени, тесно заставленные разной хозяйственной утварью, и подняться по нескольким ступенькам.

В избе сумрачно. Свет с трудом проникает сквозь мутные оконные стекла. В оконце, прорубленном во двор, стекла выбиты, и оно завешено черной замусоленной тряпкой.

Душно. Воздух сырой, затхлый...

Люди тесно толпились в переднем углу. Стоят понуро, дышат осторожно, украдкой. Гнетущую тишину нарушают только надоедливая возня бесчисленных тараканов и хриплое, прерывистое дыхание старика, лежащего на низкой деревянной кровати.

* Перевод А. Толмачева.

Старого Сямаку разбил паралич. Родные сразу поняли, что дни его сочтены, и покорно примирились с этим: на все воля божья, да и вышел, видать, старику срок. Но очень их волновало и огорчало, что он умирает, лишившись речи. Они надеялись услышать от Сямаки в последний час такие слова, которые сразу бы изменили жизнь всей семьи.

Стараясь исцелить старика от немоты, родственники побывали в дальних деревнях у самых опытных и прославленных юмозей¹, не скупилась во время чукления², усердно молились всемогущему Пюлеху³.

Но сколько ни бесновались мутноглазые ворожеи, сколько ни трясли взлохмаченными головами, сколько ни брызгали пенистой слюной, бормоча самые сильные заклинания — Сямака так и не заговорил. Только правая рука и нога стали немного двигаться.

И вот лежит он, беспомощно запрокинув голову на потемневшую от пота подушку. Лицо обескровленное. Короткая клочковатая борода за время болезни стала совсем белой, сваялась и торчит, как пучок кудели.

Давно уже не было ни крошки во рту у Сямаки, но старик все время пожевывает, почмокивает, словно хочет размягчить заочевенный язык.

Узкие глаза смотрят из-под густых ершистых бровей удивленно и вопросительно. Кажется, Сямака никак не может припомнить, где и когда видел он окруживших его людей.

А стоят перед ним два сына — Шеркей и Элендей — да жена Шеркея Сайде с тремя детьми — дочерью Сэлиме и сыновьями Тимруком и Ильясом.

Сноха и внучка все время вытирают оборками фартуков покрасневшие глаза, судорожно вздрагивают, пытаются сдерживать рыдания. Любимец дедушки семилетний Ильяс, пугливо прижавшись к матери, с опасливым любопытством озирается по сторонам: ведь вот-вот, по словам взрослых, должна прийти смерть. Сердце мальчика леденеет от страха, но посмотреть на смерть хочется нестерпимо — какая она?

Тимруку скучно. Он то разглядывает носки своих лаптей, то пересчитывает сучки на грязных, густо затоптанных половицах.

¹ Юмозь — ворожея, колдунья.

² Чукление — жертвоприношение.

³ Пюлех — главное божество чувашской религии.

Время от времени он шмыгает носом — притворяется, что плачет.

Шеркей скрестил на груди тяжелые волосатые руки и как будто окаменел. Элендей же часто наклоняется к постели, всматривается в лицо отца, прислушивается, нетерпеливо переминается с ноги на ногу.

— Так, значит, ни словечка и не сказал? — неожиданно спрашивает он, подозрительно вглядываясь в глаза брата.

— Ни одного, шоллом¹, ни одного...

Неожиданно еле слышно заскрипела кровать. Все вздрогнули, порывисто подались вперед, всматриваясь в больного.

Сямака неуклюже согнул правую ногу и начал медленно подтягивать к груди руку. Вдруг пальцы его резко скрючились и сразу же расправились. Казалось, Сямака подзывает кого-то к себе.

Шеркей и Элендей, переглянувшись, одновременно склонились над постелью.

Синевато-серые, словно присыпанные золой, губы отца едва заметно шевелились. Но как ни напрягали слух братья, ничего разобрать не смогли.

Исхудалая, обтянутая тоненькой дряблой кожей рука Сямаки дернулась, скользнула по перине и беспомощно свесилась с кровати. Напряженно вытянутый указательный палец почти касался пола.

— Куда, куда показывает он? Посмотри! — жарко выдохнул Шеркей в побледневшее лицо брата. Но вместо ожидаемого ответа услышал:

— В землю-матушку, вот куда. Иль не видишь? Последняя судорога была.

Женщины заплакали в голос, запричитали, сорвались с места, заметались, закужились по избе.

А Элендей быстрым движением засунул громоздкую руку в карман синих отцовских штанов и выдернул оттуда затертый до блеска грязно-желтый кисет. Он оказался тощим. Быстро пересчитав деньги, Элендей злобно швырнул их вместе с кисетом на кухонный стол. Засаленные бумажки рассыпались веером, прикрыв хлебный нож с бронзовым ободком на рукоятке.

— Шестьдесят два рубля! Только-то!

Гневно поблескивающими глазами Элендей требовательно

¹ Шоллом — братишка.

глядел на отца, словно надеялся, что тот сейчас воскреснет и все разъяснит. Затем Элендей рывком отодвинул кровать и стал с другой ее стороны, напротив Шеркея.

— Послушай, тедэ!¹ — рявкнул он. — А твои руки чисты? Протяни же их над покойным отцом. Скажи, не расходовал ли ты отцовских денег тайком от меня?

— Подумай, подумай, что ты говоришь... Зачем, зачем обижаешь в такой час? — ответил брат, вытягивая руки над кроватью. — Иль ты забыл, каков наш отец? Не то что к карману — к одежде своей близко не подпускал. Бери мою руку. Чиста она, чиста. Не то что к деньгам, к лотку мучному не подпускал он меня...

Элендей подошел к столу, бережно собрал деньги. Послюнявил коричневые от табачного дыма кончики узловатых пальцев и еще раз внимательно пересчитал. Половину денег отдал Шеркею, свою долю запихал поглубже в карман.

Затем опять взял кисет и тщательно его вытряс. На столе выросла небольшая кучка медных и серебряных монет, среди них — заржавелый крючковатый гвоздик и маленький ключ. Мелочь Элендей разделил тоже поровну. «Мне-то почти медяки подсунул», — недовольно подумал Шеркей, сгребая со стола свою долю.

Ключ очень заинтересовал Элендея. Он долго вертел его в руках, глубокомысленно рассматривая со всех сторон: подходящего замка в доме не было. Правда, покойный отец никогда не проходил мимо самого пустякового предмета — поднимет и упрячет. «Откомя вещи, все в дом тащи, в хозяйстве сгодится», — любил говаривать Сямака. И этот ключик, наверное, был найден им где-нибудь в дорожной пыли, но мало ли что... И Элендей крепко зажал его в кулаке.

— А ты себе гвоздик возьми на память о родителе, — заботливо предложил он брату.

— Какой, какой мне прок в нем? Да и потеряется сразу, — ответил тот.

— Кисет тогда бери. Всегда при тебе будет. Чуть что — глянешь и отца вспомнишь, — упорно настаивал Элендей, боясь, что брат попросит у него ключик, а сам тем временем запихивал в карман и ключ, и гвоздь.

¹ Тедэ — обращение к старшему, в данном случае — к старшему брату.

Да, скудное наследство оставил старый Сямака своим сыновьям. Не того они ожидали. Но ничего не поделаешь, такова судьба...

Разная молва ходила в округе о роде Сямаки. Одни говорили, что он испокон веков был бедным, захудалым, едва концы с концами сводил. Другие же считали его не только зажиточным, но и очень богатым. По их мнению, Сямака был себе на уме и бедствовал только из-за своей жадности, которую словами и описать невозможно.

Эти люди любили рассказывать о том, как не то дед, не то прадед Сямаки караулил ночные дороги — занимался разбоем. Был он хитрым, удачливым. Не одна увесистая купеческая мошна перешла в его сдружившиеся с тяжелым кистенем руки, не один обоз с красным товаром угнали его лихие сподручные в дремучие, непроходимые чащобы.

Но что бы ни говорили в народе, каждому было ясно, что знаменитый караульный ночных дорог не велел внукам своим идти по его кровавым следам, а завещал добывать хлеб насущный праведным крестьянским трудом.

Семьдесят с лишним лет топтал землю Сямака. А много ли было за это время таких дней, когда тело не ныло от усталости? По пальцам перечесть можно. То он в поле, то на огороде, то лес рубит за гроши, то возчиком наймется. Ни днем ни ночью не знал покоя Сямака, не щадил себя в тяжелой работе, был расчетливым, бережливым, не имел привычки тешить измученную душу горьким зельем. Но, несмотря на это, только беды и напасти знали дорогу в его дом, а долгожданный достаток так ни разу и не пожаловал, даже мимоходом не заглянул.

И в будни, и в праздники ходил Сямака в домотканых штанах и длинной холщовой рубахе. Изо дня в день жевал хлеб с луком, хлебал яшку¹ из борщовника, смаковал картошку. Мясом даже детей не баловал.

Но в разговорах с односельчанами Сямака частенько многозначительно намекал, что, мол, не так он беден, как это кажется. Дескать, есть у него причины до поры до времени скрывать свое богатство. Вот настанет срок — тогда уж он развернется, покажет, как жить нужно. Если не он сам, то сыновья.

¹ Яшка — похлебка.

Невыразимо тяжело бывает человеку, когда на склоне дней своих он вдруг поймет, что все его труды и старания пропали даром. И не у всякого хватит силы признать себя неудачником.

Родные Сямаки, видимо, поняли это, и никто не упрекнул многострадального старика. «Да будет земля тебе пухом», — сказали они от чистого сердца.

И только Элендей глядел на лежащего в гробу отца с обидой и укором. И... и не верил!

Того не насытила беда, кто не ел
черный хлеб.

Чувашская пословица

И будь благословенен
Хлеб ржаной, просоленный потом.

Василий Митта

1. Тихое утро

Сквозь тонкую пелену облаков просочился рассвет. Первым возвестил о нем звонкоголосый петух во дворе Хведера Шембера, что живет на Нагорной улице, рядом с мостом. И сразу же, как по команде, приветствуя новый день, торжественно запели петухи во всем Утламыше.

Воздух на редкость чист, прохладен и звонок. Приветливо смотрят на утреннюю улицу оконца домов. Слышится нетерпеливое мычание коров, хлопанье дверей...

На дне оврага [...] тускло поблескивает чешуйчатými струйками мелкая — воробью по колено — речушка. Весной она становится многоводной, шумит на весь Утламыш, как подгулявший мужик, безжалостно подгрызает рыхлые берега. Как сойдут полые воды, она сразу же успокаивается.

Поплутав по оврагу, речушка весело выбегает на зеленую поляну и вскоре впадает в более глубокую речку — Карлу. Широкая низменность, раскинувшаяся на полевой стороне, недалеко от устья называется Керегаськой. Местные жители приходят сюда задабривать жертвами зловредного Ереха¹.

Тимрук с детства полюбил эти места: привольно, всегда можно разыскать какую-нибудь диковинку, найти увлекательное занятие. Сегодня ночью он пас лошадь в Глубоком овраге.

¹ Ерех — злой божок.

Но, возвращаясь домой, не утерпел и заехал сюда. И до двора таким путем доберешься скорее. Спустишься в овраг, проедешь немного и сразу поднимаешься прямо к дому, который стоит в конце переулка, почти у самого косогора. Тем более Тимрук сегодня спешит: отец велел пригнать лошадь пораньше. Собирается ехать на базар и обещал взять с собой сына.

Большая это радость для Тимрука — поехать на базар. Отец, конечно, ничего ему не купит, но наглазеться на всякую всячину можно вдоволь. Тимрук уже дважды был на базаре, и каждый раз поездка казалась ему сном, путешествием в сказочную страну...

Громко хлопнув дверью, Шеркей вошел в избу. Сайде в это время доставала из подпола кислое молоко.

— Ты, что ли, тут все раскопал? — недовольно спросила она, протягивая мужу крынку.

— Где? В подполе? Что ты болтаешь?

— Ну да. Все шиворот-навыворот перевернул.

Шеркей побледнел от волнения. Он торопливо поставил крынку на стол, заглянул в подпол. В темноте ничего не было видно. Тогда он взял из-под печника лучинку, зажег ее, опустился на колени и вновь посмотрел вниз. Действительно, весь подпол перекопан.

— А картошка, картошка где? — вскрикнул Шеркей.

Перепугавшаяся Сайде быстро спустилась по лестнице, картошка была последняя, только бы до нового урожая дотянуть.

— Тут она, цела! Землей ее засыпало! — слышалось через минуту из темноты.

Шеркей зажег вторую лучину и торопливо полез в подпол. Все было засыпано свежевырытой землей. Присмотревшись, Шеркей заметил следы босых ног. Но чьи они? Разве угадаешь? Ведь и Сайде топталась тут без обуви. Да и сам Шеркей разут.

— Придется перебирать картошку, — огорчилась жена.

— Да, да... Перебирать... — откликнулся Шеркей. — Но кто, кто мог натворить такое? И зачем? А вчера все в порядке было, все?

— Не знаю. Не лазила я сюда. У дяди весь день пробыла.

— Тогда не иначе как ребята напроказили. Хорьков, ви-

дать, искали...— задумчиво проговорил Шеркей и выбрался наверх.

Вслед за ним поднялась и жена.

— Позови, позови-ка сюда ребятишек. Я проучу их, чтобы не своевольничали.

Сайде разбудила сладко спящих Сэлиме и Ильяса, позвала со двора Тимрука, который уже успел запрячь лошадь.

Детвора сразу почувствовала недоброе: отцовская рука держала сплетенный из кудели пояс. Отец никогда не брался за него понапрасну, для острастки.

Шеркей наказывал детей редко, но делал это обстоятельно, прилежно, как и всякую другую работу. Но самое страшное было то, что он не велел плакать: мол, умеешь проказить — умей и ответ держать. Плаксам доставалось больше всего. А попробуй не зареви, если пояс жгучий, как огонь.

— Ну-ка, ну-ка, озорники вы этакие, — строго, но не повышая голоса, обратился Шеркей к детям, поудобнее устраиваясь на стуле с кожаной подушкой. — Кто из вас вчера был в подполе?

Дети молчали.

— Что, онемели, онемели сразу?

Сэлиме смущенно закашлялась и призналась:

— Я лазила вчера утром.

Но отец ожидал, что скажут другие. Сэлиме этого не делает. Мальцу Ильясу это дело не под силу. А вот Тимрук... Своевольным растет. Чуть недогляди — сразу набедокурит.

— Так, значит, кроме Сэлиме там никого не было? Кто же тогда взворошил все? Может, ты, Сэлиме?

— В подполе? — изумилась дочь.

— Говорю же — в подполе. Весь перепахали.

— Не знаю. Я картошку доставала. А рыть мне ни к чему... Другие туда совсем не спускались.

— А Тухтар не приходил, когда я был в лесу?

— Нет, папа. С позавчерашнего дня не видно его. Мы все время неотлучно дома. Выходили только на огород картошку пропалывать.

«Ну и шутка... Прямо чудеса какие-то», — подумал Шеркей, поднимаясь со стула.

Он подпоясался, расправил складки на длинной, до колен, рубахе, поддернул штаны, которые и без того чуть прикрывали

загорелые обветренные икры. Пригладив ладонями встопорщенные волосы, начал медленно расправлять усы. Чувствовалось, что Шеркей проделывает все это машинально. Мысли его были сосредоточены на загадочном происшествии. «Может быть, правда, хорек завелся... Этак всех кур передушит... Или Тимрук напроказил, а признаться боится? Вот задача... С ума сойти можно. Да еще с картошкой придется возиться...»

Его размышления прервал Тимрук:

— Мы ведь на базар собирались! У меня все готово. По-едем, что ли?

— Нет. Другим разом как-нибудь, — раздраженно отмахнулся отец. — Иди распрягай. Потом картошку перебирать будешь. А тебе, тебе, дочка, сегодня на просяное поле идти. Слышишь, Сэлиме? Да позвать бы Тухтара надо... А мать? Пусть травы для лошади накосит.

Встревоженный Шеркей зашагал из угла в угол. Он был так расстроен, что даже отказался от кислого молока.

Ильяс побежал звать Тухтара.

2. Надежный подарок

Тухтар, сын Туймеда, одиноко жил в крохотном, перестроенном из старой бани домишке, который прилепился на макушке пригорка, что высился на самом краю деревни.

Соорудить жилище Тухтару помог Шеркей. Нехитрым делом было для него передвинуть баньку на новое место, залатать ее наспех, обомшить. Но все при каждом удобном случае он напоминал об этом. Тухтар всякий раз смущался и почтительно благодарил: «Спасибо, Шеркей йысна¹. Всю жизнь помнить буду». И он действительно не забывал своего благодетеля: пахал его поле, огород, косил сено, заготавливал дрова, ухаживал за скотиной — делал все, что велели, никогда не требуя за свой труд ни платы, ни благодарности.

Безрадостной была жизнь Тухтара. С малых лет рос он в чужих людях. Отец его умер в девяносто первом голодном году. Тухтар не помнит его живым. Память сохранила только похороны. «Поплачь, поплачь, сынок, — надрывно просила плачущая мать. — Ведь без отца ты теперь остался». Но Тухтар так и не заплакал. Глядя на вздущееся синеватое лицо

¹ Йысна — дядя.

покойника, пятилетний ребенок не испытывал ни жалости, ни скорби. Страх заглушил все чувства.

А через год на деревню набросилась холера и унесла мать Тухтара. Как ее хоронили, сын не видел. Он тоже болел, лежал без сознания. Но смерть пощадила его. Судьбе было угодно, чтобы Тухтар сполна изведal горькую сиротскую долю.

Малыша приютил старый Тимма, пастух. Окрепнув, Тухтар стал помогать ему пасти стадо и быстро освоил всю эту премудрость. Старик очень привязался к смышленому, старательному, ласковому мальчику, заботился о нем, оберегал как родного сына.

В свободные минуты, уютно устроившись на луговой травке, Тимма любил глубокомысленно поговорить о жизни. Смысл всех витиеватых и причудливых рассуждений деревенского мудреца сводился к тому, что нужно жить правдой, и Тухтар навсегда запомнил это. Своему воспитаннику старик уверенно предрекал счастливое будущее. Да! Но жить только правдой.

Через несколько лет старик умер, оставив в наследство Тухтару длинный с резной рукоятью кнут. Тухтар до сих пор бережет его как самую дорогую вещь.

Желающих наняться в пастухи было много, и Тухтар остался без дела. Вот тогда-то и позаботился о нем Шеркей.

У сироты был надел земли на одну душу, но не было ни лошади, ни сохи. Шеркей сжалился над беднягой и предложил обрабатывать землю исполу. Тухтар с благодарностью согласился. Весь урожай Шеркей хранил у себя. Он даже хотел, чтобы Тухтар поселился у него в доме. Но сирота не пожелал тушить огонь в родительском очаге. Позднее он передумал и согласился перейти к Шеркею, надеясь, что так легче будет выбраться из все глубже засасывающей нужды. Но теперь уже Шеркей не желал этого. Он сообразил, что у Тухтара, кроме надела в поле, есть еще приусадебный огород. Какой же резон терять его — места в кладовых хватит и для двух урожаев. Гораздо выгоднее, если подопечный будет считаться самостоятельным хозяином. И Шеркей помог Тухтару на месте развалившегося родительского дома поставить избенку. С тех пор, по словам Шеркея, Тухтар крепко встал на ноги.

Быстро течет время. Уже двадцать лет исполнилось в этом году Тухтару. Но счастье, которое пророчил ему добрый Тимма,

все еще не приходило. Люди говорят, что уже наступил новый век, а в жизни Тухтара все оставалось по-старому. По-прежнему гнул он спину на Шеркея, частенько приходилось помогать и его брату. Но работать у Элендея Тухтар не любил. Не нравился ему этот резкий в обращении человек. Чуть что — сразу рывкает, будто цепной пес.

Тухтару, который так мало видел ласки, был больше по сердцу Шеркей. Мягкий, обходительный, он никогда не приказывал, а только просил пособить по возможности, точно говорил не со своим батраком, а с добрым соседом. Шеркей не бранился даже тогда, когда Тухтар по каким-либо причинам не приходил на работу. Только спросит, слегка насупив брови: «А чем же ты занимался?»

Жил Шеркей ни богато, ни бедно — как говорится, середка наполовину. В деревне его все уважали за степенность, трудолюбие, благодравие...

Сегодня, как обычно, Тухтар поднялся по старой пастушьей привычке с восходом солнца. Можно было бы и отдохнуть, но Тухтар не любил сидеть без дела. Всегда найдет какое-нибудь занятие: то кадку старую починит, то красивый алдыр¹ из березового корня вырежет — да такой, что все дивятся. Да мало ли что можно сделать, было бы только желание.

Сейчас Тухтар с увлечением мастерил гусли...

Налюбовавшись гуслиями, Тухтар вышел из избы и присел на скамейку у завалинки.

Одет Тухтар неказисто. Пестрая рубаха выцвела, побурела. Штаны коротки и узки, того и гляди расползутся по швам. На коленях большущие заплатки. Чтобы штаны носились подольше, предусмотрительный Шеркей велел жене залатать их на этих местах. Заплаты порвались и топорщатся бахромой. И все же нетрудно было заметить, что Тухтар весьма хорош собой. Фигура статная, ловкая. Выразительно очерченное лицо очень украшают глаза — черные, такие, что и зрачки отличишь не сразу. Кроткие, с затаившейся в глубине печалью. Волосы густые, черные, как смоль.

Взгляд Тухтара устремлен вдаль. С пригорка, на котором стоит домик, видна вся деревня с окрестностями.

¹ Алдыр — большой ковч.

Утламыш лежал как на ладони. Деревня невелика, всего дворов двести. В ней три большие улицы: Нагорная, Средняя, Нижняя. Есть еще одна маленькая, улочка-односторонка — Дальняя. На ней и живет Тухтар, но избышка его стоит на отшибе, в конце деревни. Вплотную к ней подходит огород самого богатого утламышца Кандюка.

Живут в Утламыше некрещеные чуваши. Они очень гордятся, что не поддались церкви, к своим крещеным собратьям относятся пренебрежительно, свысока и никогда с ними не роднятся...

А живетя некрещеным нелегко. Власти на них посматривают косо, подозрительно, всячески притесняют, даже податями облагают в двойном размере.

Когда-то на месте Утламыша шумели дремучие, непроходимые леса, в которых было полным-полно медведей. Теперь леса синеют на севере. О делях напоминают только кражистые полусгнившие пни, торчащие по берегам Юман-озера. Да в долине Сен Ыр, где приносят жертвы, сохранились еще заросли ивняка и бобовника...

На юг и на запад от Утламыша расстилаются поля. Бесчисленные разноцветные клочки напоминают безалаберно вытканый сурбан¹.

По соседству с деревней поблескивают, точно голубые глаза, озера Юман и Карас. Густыми ресницами трепещут вокруг них заросли высоких камышей. Старожилы считают воду озер целебной. Если, мол, слепец промоет ею глаза на восходе солнца, то в скором времени прозреет. Но все это, видать, досужие выдумки. Много раз стройненькая, как козочка, Менюк приводила к озерам своего слепого брата Ильку, но так и не увидел он белого света. Наведывались и другие слабые зрением, но все без толку.

Вдали сквозь утреннюю дымку виднеются захудалые чувашские деревушки Коршанги, Шигали. Их домики жмутся к берегам Карлы. В стороне от них, на холме, раскинулся мижерский² аул...

Тухтар заметил Ильяса только тогда, когда мальчик подошел к нему совсем близко и сказал:

¹ Сурбан — головной наряд замужней женщины.

² Мижеры — мещеряки (татарская народность).

— Тухтар тэдэ, тебя папа зовет.

— А? Папа, говоришь? Сейчас?

— Сказал, чтобы сразу шел.

Тухтар вышел вместе с мальчиком на улицу. Дверь избушки осталась распахнутой. Кто польстится на старый глиняный горшок, в котором Тухтар варит себе немудреную пищу, на деревянное ведро и миску с ложкой? А если и найдется такой, пусть берет на здоровье, — долго ли смастерить себе новые...

Шеркей ожидал на крыльце, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Поздоровавшись, он с притворным равнодушием спросил:

— Ты вчера дома, что ли, у себя был?

— Дома.

— Верно, что-нибудь делал?

— Да так, кое-что... За огородом забор поставил. Хочу еще яблони посадить, ямки приготовил. Уже шесть штук вырыл.

— Загородил, значит... Это ты хорошо придумал. А то туда козы повадились. Я сам как-то выгонял. Растоптали бы картошечку нашу. Что деревья посадил — неплохо, неплохо. С яблочками будем. А к нам ты вчера заглядывал?

— А что, работа была какая?

— Работа-то... — Шеркей запнулся, испытующе взглянул на Тухтара. — Хотел я, видишь, справиться, не был ли ты у нас. Подпол кто-то весь изрыл... Может, ты зачем туда лазил?

— Какой подпол? — недоуменно спросил батрак. Шеркей подробно рассказал о случившемся.

— Нет, Шеркей йысна. Я прихожу, только когда велите. В подполе же вашем сроду не был. Честно говорю.

— Ну да что там, что там... Это я так просто, к слову пришлось. Дело не в том. В воскресенье собираюсь я на базар в Буинск, не откажи — накоси травки.

— Невелико дело. А с какого поля?

— Откуда хочешь. Сходи пешком, а вечером за травкой съездишь. Я думаю, не стоит два раза лошадку-то гонять. Иль как думаешь?

— Конечно, что ей силы зря тратить.

— Ну вот и хорошо.

— Куда ты его гонишь? Тухтар еще, верно, не завтракал, — слышался из избы голос Сайде.

Шеркей недовольно поморщился, но сделал вид, что ему хочется чихнуть.

Через минуту Сайде вынесла пестрый узелок, в котором были хлеб и сырник:

— Бери, бери. Кто же на пустой желудок работает...

— Ведь это кто как любит, — ввернул Шеркей.

Тухтар поблагодарил хозяйку, взял косу и, вскинув ее на плечо, быстро зашагал со двора.

По узенькой тропе он поднялся на бугор, где раскинули широкие крылья две ветряные мельницы, и вышел на большак, обсаженный с двух сторон белоствольными березами. Между деревьями с нежным шелестом колыхались волны колосащейся ржи. Кое-где из нее выглядывали синеглазые васильки. Хорошо в этом году взошли яровые! Редко выдаются такие. Густые, ровные — глаз не отведешь. Овес уже такой рослый, что меж не видать. Светло-голубая полба начала идти в трубку. Посеянные позднее вика и горох уже выкинули по седьмому-восьмому листку...

Впереди показался человек. Он быстро шел навстречу. Вскоре уже можно было разглядеть, что это мужчина. Высокий, плечистый. Рубаха белая, рукава закатаны по локоть. На голове картуз. Ноги до колен обмотаны белыми портянками. «Вроде эрзя какой-то вышагивает, — предположил Тухтар. — Они всегда так пеленаются».

Вот путник уже совсем близко. У него узкое бледное лицо с высоким выпуклым лбом. Под глазами темные круги. Короткие черные усы. Через левую руку перекинут городской пиджак. Ботинки красивые, дорогие. Вот так эрзя.

Подходя к Тухтару, мужчина приветливо улыбнулся:

— Добрый человек взялся за работу?

Говорил он по-чувашски свободно, чисто. Чувствовалось, что его родной язык. Тухтар еще раз взглянул на лицо незнакомца, потом, посмотрев на его ноги, покосился на шегольской пиджак и оробел: кто же таков встречный, как его приветствовать?

— А не рано ли еще выходить с косой? — поинтересовался тот.

— Да я так, для лошадки малость... — несмело пояснил Тухтар.

— В хозяйстве и это дело нужное, — согласился мужчина,

внимательно приглядываясь к узелку в руке Тухтара. Тухтар хотел было двинуться дальше, но прохожий задержал его.

— Послушай, молодой человек, — после некоторого колебания смущенно проговорил он. — Не найдется ли чего перекусить у тебя?

— Перекусить? Есть. Хлеб вот... — Тухтар положил косу и начал поспешно развязывать узелок.

Мужчина устало опустился на траву около молодой чечевицы.

— Отдохнем-ка немного. А? Садись рядом, коли тебе не к спеху.

Тухтар пристроился по соседству на корточках. На стареньком выцветшем платке разложил незатейливую батрацкую снедь.

— Спасибо, добрый человек. Мне много не надо. Так только, червячка заморить, — сказал незнакомец. Но видно было, что человек этот сильно голоден.

— Ты и сырник бери. И вкусней, и сытней будет, — ободрил его Тухтар.

— Можно и сырника попробовать. Откровенно говоря, стосковался я по домашней пище. Уж ты извини меня, дорогой.

— Ешь, ешь на здоровье. А куда же ты путь держишь? Из каких краев к нам?

— Домой, браток, возвращаюсь, в Чепкасы. Палюком меня зовут. Сандоровым Палюком. Может, слышал? Утламышские должны меня знать.

Тухтар вздрогнул и чуть не вскочил с места.

— Сиди, сиди, — громко рассмеялся Палюк. — Нагнал я на тебя страху. Что, испугался острожника? Чуть наутек не пустился, как заяц. Иль похож я на злодея?

— Не так уж... — еле выдавил парень. Он с испугом и любопытством разглядывал того, кто назвался Палюком.

А Палюк тихо говорил:

— Не бойся. Такие люди, как я, не враги тебе. Не грабители мы, не убийцы, хотя и подметаем кандалами дороги российские. В позапрошлом году в третий раз меня упрятали в тюрьму. Отдохни, говорят, голубчик, хватит тебе бегать. Выделим тебе светелку отдельную, чтоб никто не беспокоил.

Тихо, прохладно. Денег за квартиру не возьмем. Харч тоже наш. Живи только. Чем дольше, тем лучше. Так-то... А теперь вот домой возвращаюсь... Со вчерашнего дня макового зернышка во рту не было. Аж подташнивать стало...

От быстрой еды он подавился, закашлялся. Отдышавшись, пошарил в кармане, достал несколько монет:

— Бери. Это тебе за угощение. Еще раз спасибо.

Тухтар наотрез отказался от денег:

— Не нужны они мне, Палюк тэдэ. Ни копейки не возьму. Не обижай. А ты и мой кусок бери, не стесняйся. Мне не захочется, совсем недавно поел. Да и домой скоро вернусь.

Палюк от хлеба не отказался, но его огорчило, что Тухтар не взял денег.

— А чей же ты будешь? Кое-кого из утламышских я знал раньше.... Кандюков, например...

Тухтар усмехнулся:

— Нет, наверно, в округе человека, какой не знал бы их. Если кто не видел, то слышал.

— Нет, браток, я с ними, к сожалению, не понаслышке знаком. С Нямасем весьма близко. Это он меня определил на царские хлеба. Заботливый, ничего не скажешь. Сколько лавок теперь у них?

— Одна вроде...

— Это в Утламыше. А в Буинске?

— Не знаю.

— Конечно, — согласился Палюк. — Откуда тебе все знать? Нямась там в позапрошлом году надругался над девушкой. Она в тот же день повесилась. На каторге бы мерзавца сгноить надо. Да вывернулся. С отцом ее сговорился как-то. Откупился, видать. Замяли дело... Так что Нямася я знаю... А все-таки чей будешь?

— Сын Гуймеда я, Тухтаром зовут.

— Нет, Гуймедов не знаю.

— Сирота я. В работниках живу у дяди Шеркея.

— Это у какого, у сына Сямаки? С братом его, с Элендем, мы одногодки. Вместе солдатскую лямку тянули. Царю и отечеству верой и правдой служили. Да, царю... Хороший мужик... — Палюк улыбнулся. — Не царь, конечно, а Элендей... Постой-ка, а ты тот малец, что ходил в подпасах у старого Тиммы?

— Ну да, — обрадованно подтвердил Тухтар, которому почему-то стало очень приятно оттого, что Палюк знает его. — Погоди-ка, погоди... Ведь это вроде ты подарил мне шапку. Тогда там... Помнишь, у озера Карас?

— Какую шапку?

— Ну, такую... с длинными ушами...

— Пеструю? Сибирскую малахайку? Линялую? Вот как... А я уже забыл про это.

— А я вот нет. Добро нельзя забывать. Так учил меня дедушка Тимма. — Голос Тухтара дрогнул. — Три зимы носил я твою шапку. И каждый раз, когда надевал, спасибо тебе говорил. Каждый раз вспоминал тебя, как родного человека.

— За это-то? — Палюк похлопал парня по плечу. — Не стоила шапка такой благодарности... Ну, а как же теперь проживаешь, Тухтар?

— Живу-то? Да как сказать...

— Понятно, Тухтар, без слов понятно. Живешь, как эта чечевица у дороги. Кто ни пройдет — всяк топчет. Так, что ли?.. — Немного помолчав, он вздохнул, заговорил: — Так-то вот и живем мы все, родненький. Все счастья ожидаем. Вот, мол, явится, вот, мол, явится... И эдак его ждать нужно, счастья-то? Эх... Ну да ладно. Встретимся еще — поговорим. Гора с горой не сходятся...

Он поднялся. Встал и Тухтар.

— Ну а чем же отблагодарить тебя? Оставил бы башмаки, да шагать еще восемь верст — ноги отобьешь. Э-э, стойка, дружок... — Взгляд Палюка остановился на пиджаке. — Отдам я тебе вот эту штуку. Мне ее мой хороший товарищ подарил. Да не пришлась одежда бродяге по костям, тесновато, потрескивают ниточки на швах. А тебе наверняка в самую пору.

Тухтар отрицательно покачал головой. Но Палюк не обратил на это внимания и накинул на плечи парня пиджак.

— Носи на здоровье. Ну-ка, надень его при мне. Посмотрю, каков ты будешь.

Тухтар не пошевелился. Тогда Палюк стал одевать его, как своенравного ребенка...

Застегнув последнюю пуговицу, он отступил на несколько шагов. Лицо его просияло от удовольствия:

— Как на заказ шили. У поставщика его императорского

величества. Теперь, парень, любую невесту выбирай! Все твои. Не женат еще?

— Нет, — еле слышно пролепетал покрасневший от смущения Тухтар.

— Ну, у тебя все впереди. А пока — прощай. Да смотри, не проговорись, что встретил беглеца Палюка. Не видел ты меня и не слышал. Понял? — Палюк крепко пожал Тухтару руку, одобрительно хлопнул увесистой ладонью по спине и размашисто зашагал по большаку.

Тухтар был так ошеломлен происшедшим, что даже забыл поблагодарить и попрощаться. А когда он немного пришел в себя, Палюк был уже далеко... Фигура ушедшего с каждой минутой делалась все меньше и меньше. Вскоре она скрылась за мельницами, потом мелькнула белым пятнышком у самой деревни и наконец затерялась в зелени огородов.

Тухтар поднял косу и осторожно, словно пытаясь убедиться, что дело происходит не во сне, погладил полу пиджака. Сукно было ласковым, мягким. Ни у одного деревенского парня нет такого дорогого красивого пиджака. Да что там парни — у самого Нямыся хуже. Тухтар опять взглянул в сторону деревни. Но Палюк больше не появлялся. Только дорожная пыль еще хранила четкие следы.

Тухтар глубоко вздохнул, вскинул косу на плечо и свернул с дороги влево. На глаза ему попался безжалостно растоптанный кустик молодой чечевицы. Память сразу подсказала: «Так и живем мы все». Тухтар невольно несколько раз повторил эти слова. Но почему Палюк сказал «мы»? Да еще добавил: «все»? Ведь он не безрадостный батрак. Как же понимать такое? Странно... Размышляя над этим, Тухтар вдруг ясно представил себе лицо Палюка, его улыбку, глубоко запавшие глаза, услышал грудной голос. Стало легко и радостно. Значит, есть люди, которые уважают бедняков...

3. Встреча с бедой

Чувашские дети с малых лет приучаются к труду. Шестилетние уже присматривают за меньшими и остаются в доме за хозяев, когда взрослые во время жатвы уезжают в поле. Восемилетний мальчуган берется за серп, учится плести лап-

ти, а девочка такого возраста вяжет чулки. Пятнадцатилетний подросток делает в хозяйстве все, что необходимо. И нет большей радости, чем видеть, что их дети не боятся труда, растут прилежными, хозяйственными. Сэлиме в этом году исполнилось восемнадцать лет. Она вполне могла заменить хозяйку дома. Дни ее до краев были заполнены хлопотами и заботами. За что бы не принималась Сэлиме, все получалось у нее ладно. Была она ловкой, старательной, и чувствовалось, что работа доставляет ей удовольствие.

Сэлиме скромна и, как всякая девушка-чувашка, очень стеснительна. Чуть взгляни на нее попристальнее — и сразу же опустятся ресницы, а щеки покроются густым румянцем. Со старшими почтительна и никогда не вмешивается в их разговор. Слово родителей для нее закон.

Зимой девушка бывает у дальних родственников на посиделках, где усердно прядет кудель до тех пор, пока не заболит пальцы. Сэлиме любит водить хороводы. У нее хороший голос, и поет она красиво, но еще ни разу не была запевалой: нет у Сэлиме желания выделиться среди подруг, показать себя перед людьми.

Еще с позапрошлого года многие парни всячески старались привлечь к себе внимание Сэлиме, но она относится к ним равнодушно и нисколько не гордится тем, что нравится...

Благосклонно посматривали на дочь Шеркея самые строгие ценители девичьих достоинств — женщины, имеющие взрослых сыновей. Разве плохо привести в дом такую сноху: и красивая, и работящая, и уважительная — все при ней. По их мнению, девушка пошла в свою мать.

Окружающие считали Сэлиме подготовленной для самостоятельной жизни. Но только внешне выглядела она взрослой. Сэлиме еще смотрела на мир наивными детскими глазами, и он казался ей уютным, как горница в родном доме. И не хотелось думать о том, что в жизни много горя и несправедливости. Все в таком возрасте считают, что счастье дается человеку вместе с жизнью...

После разговора с отцом Сэлиме торопливо позавтракала и сразу же отправилась в поле...

Ох, до чего же хорошо идти ранним утром босиком по густой траве! Из-под ног во все стороны разлетаются росинки

и опадают на землю жемчужной россыпью. Воздух свежий-свежий, словно родниковая вода, не надышишься! Сэлиме и не заметила, как дошла до своего поля. Вот он, знак ее рода: две маленькие межи, соединенные посредине невысокой насыпью...

Не теряя даром времени, Сэлиме подоткнула красный фартук и принялась за дело. Ее маленькие руки ловко выдерживали перепутанные плети вьюнов, ветвистые кустики васильков. Работа продвигалась быстро.

За оврагом раскинулось ржаное поле. Взглянув туда, девушка очень удивилась: там ходила скотина, кажется, два теленка. Кто же это пустил их на озимь? Сколько теперь потопчут... Полевой сторож, видать, здесь и не появляется. Похрапывает где-нибудь, пригревшись на солнышке. Сэлиме укоризненно покачала головой и вновь начала полоть. Надо постараться, чтобы ни одной травинки не осталось. Проса посеяли мало, но если хорошо ухаживать за ним, пшена будет вдоволь, на всю зиму хватит...

На лице Сэлиме засверкали капельки пота. Одеревенела поясница. Надо малость передохнуть. Сэлиме разогнула спину, подняла голову — и сразу же попятилась. Прямо на нее бежали два волка. Вот тебе и телята! Девушка в ужасе прикрыла лицо черными от налипшей земли руками, отчаянно закричала.

Крик остановил волков. Они воровато огляделись, принюхались: опасности не было — и звери спокойно двинулись к девушке. Какой прок кричать в безлюдном поле! Сэлиме судорожно схватила комок земли, но он сразу же рассыпался; схватила второй — он тоже превратился в пыль. Не помня себя от ужаса, Сэлиме выдернула кустик с желтым цветочком на макушке и выставила его перед собой, словно он мог защитить ее от волков.

Хищники подошли вплотную. Сэлиме слышала их возбужденное дыхание. Влажно поблескивали желтоватые клыки.

Вот один волк покрупнее прижал острые уши и, жадно втягивая воздух, медленно потянулся мордой к Сэлиме. Но в этот миг послышалось громкое «орьях высс!»¹

Девушка, точно подкошенная, упала на землю.

¹ Воскликание, которым отгоняют волков.

4. Спасение

Увидев Тухтара, волки неохотно отбежали от девушки. Он ринулся на них, замахиваясь косой. Звери отпрыгнули в сторону и трусливо бросились наутек. Быстро перебежали овраг, нырнули в рожь.

Тухтар несколько раз погрозил им кулаком и склонился над девушкой.

— Это ты, Сэлиме? — изумленно спросил он.

Она ничего не ответила. Ее побледневшие губы часто вздрагивали, правая щека дергалась, выбившиеся из-под платка перепутанные пряди темно-русых волос прилипли к влажному лбу. Глаза смотрели тускло, зрачки их были сильно расширены.

Сэлиме поднялась с помощью Тухтара с земли.

Он стал ласково уговаривать ее:

— Ну чего ты боишься, успокойся...

— А волки? Где они?

— Говорю же, не бойся. Прогнал я их. За тебя испугался, не побежал за ними. А то бы отведали моей косы. Ну чего, чего ты? Не придут они больше.

— Тухтар?.. Это ты, Тухтар? — Глаза Сэлиме прояснели.

— Ну, а кто же еще? Конечно, я. Иль не узнала?

— Ох, узнала...Теперь узнала... — Рука девушки доверчиво прикоснулась к его плечу. — Это всемогущий Пюлех послал тебя ко мне. Думала, умру от страха. — Она оправила фартук, платье, убрала со лба волосы, вытерла ладонью лицо.

— Ты себе лицо испачкала, — шутливо заметил Тухтар.

Она вспомнила про свои грязные руки и смущенно посмотрела на парня. Вдруг глаза ее стали удивленными.

— Ты что? — встревожился он и огляделся по сторонам.

— Постой, постой-ка... — ответила она, не отводя внимательного взгляда. — Что это на тебе? Пиджак?

— Разве плохой?

— Нет, очень хороший... Просто загляденье! — Она провела ладонью по рукаву. — Такие, наверно, только барские дети носят. А почему ты в таком? Чей он?

Тухтар улыбнулся.

— Как чей? Известное дело — коль на мне, значит, мой.

— Ой, ой, ой! Так я тебе и поверила. Такой вещи не най-

дешь и на Буинском базаре. А если и отыщешь, то знаешь, сколько денег за него отвалить нужно? Чей же он? А? Скажешь мне?

— Ладно, ладно... В другой раз как-нибудь расскажу, — уклончиво пообещал Тухтар и стал расспрашивать о волках.

— Ой! И вспоминать жутко. Просто не верится, что все так хорошо обошлось. Но как ты здесь очутился? Иль ты знал, куда я пошла?

Тухтар объяснил, как все произошло.

— Неужели я кричала? — удивилась Сэлиме. — Ничегошеньки не помню. Нет, правда, хотела крикнуть, только голоса не было. Знаешь — как во сне...

Услышав, зачем девушка приходила в поле, Тухтар с укором сказал:

— Кто же полет до празднования синзе¹?

— Да я совсем и не полола. Так только, попробовала от нечего делать. Думаешь, меня на празднике окатят за это холодной водой? Но ты ведь не скажешь? Правда? Иль подведешь меня? А? — Сэлиме окончательно пришла в себя. Щеки порозовели, глаза смотрели весело.

— Не скажу, если ты мне pomoжешь накосить травы, — пообещал Тухтар.

— А ее можно косить? Ведь тоже грех, — сверкнула белоснежными зубами девушка.

— Да ведь для лошадки только, самую малость...

— Ну, коли не выдашь, тогда пойдем. Умоюсь заодно. Страшна я, наверно, сейчас? Как пугало огородное. Да? — она притворно смутилась.

— Нет. Что ты! Ты очень... — Тухтар растерянно замялся, потупился, затеребил на пиджаке пуговицу.

— Что очень?

— Ну... Ну, очень чистая, говорю.

— А-а! — очень серьезно произнесла она. — Куда чище. Точно из печной трубы вылезла.

Стараясь не помять проса, они медленно двинулись к оврагу. Сэлиме опустила голову, задумалась...

Немного погодя он снова услышал ее тихий-тихий голос, как будто она говорила сама с собой:

¹ Син зе — чувашский обрядовый праздник.

— Знаешь, Тухтар... Тебя, видно, сама судьба посылает ко мне на помощь в трудную минуту. Второй раз ведь ты спасаешь меня от смерти.

— А ты считать не разучилась? Когда же еще был такой случай?

— Не притворяйся, что забыл. Не ты ли вытащил меня из колодца, когда я была маленькой? Еле откачали тогда.

— Эка вспомнила! Я уже давно позабыл об этом.

— А я вот не забыла... — Девушка вскинула голову и, глядя Тухтару прямо в глаза, спросила: — А коли еще раз попаду в беду, спасешь? А? — На губах ее играла лукавая улыбка, но глаза были серьезными.

— Пусть лучше никогда не будет этого. Не хочу я, чтобы ты попадала в беду.

— Разве тебе меня жалко?

— Еще бы. — Тухтар опустил голову.

— Спасибо, Тухтар. — Сэлиме приостановилась и, немного подумав, добавила: — Я тоже жалею тебя. Знаешь... как родного. Иногда мне кажется, что ты мне брат. Сама не знаю почему. Кажется — и все.

Он с недоверием и надеждой взглянул ей в лицо.

— А ты... вправду это? Не шутишь?

Его смушила улыбка.

Сэлиме погасила ее и, не переводя дыхания, твердо произнесла:

— И луной и солнцем клянусь... А еще хочется мне преподнести тебе подарок, чтобы ты помнил меня... Всегда, всегда...

Она печально вздохнула и пошла впереди Тухтара. На платке, словно ягодка, красная божья коровка. Тухтар хотел смахнуть ее, но не осмелился...

...Тухтар косил размашисто, забирая широко, но движения его тела были такими непринужденными и легкими, что со стороны казалось, будто он не работает, а забавляется. Нравится парню слушать, как посвистывает коса, — вот он и помахивает ею.

— Ох, здорово! Ох, здорово! — восторженно шептала Сэлиме при каждом взмахе.

Она и сама косила неплохо, не всякая сверстница могла потягаться с ней в этом деле, но, беря у Тухтара косу,

девушка заволновалась: не хотелось ей показаться перед ним неловкой, неумелой.

— Хватит, пожалуй. Воз уже есть, — сказала она, закончив свою полосу, и вытерла оборкой фартука разгоряченное потное лицо.

— Умаялась? — заботливо спросил подошедший Тухтар. — Оставим до следующего раза. Придешь еще со мной? Волков не побоишься?

— С тобой мне ничего не страшно, — ласково взглянула она в его глаза.

— А может, ты просто так, для забавы говоришь?

Девушка отрицательно покачала головой.

Некоторое время они молча стояли друг против друга. Сэлиме, потупившись, перебирала пальцами кончики платка, Тухтар внимательно разглядывал на ладони крохотную царапину.

— Тухтар! А кто же за нас траву сгребать будет? — спросила девушка и тихонько рассмеялась... — Ну-ка, давай приниматься за дело. Этак мы до самого вечера не управимся.

Трава слегка пахла медом и парным молоком. Возиться с ней было очень приятно. Работа продвигалась быстро.

Домой возвращались по узенькой межевой стежке. Шли медленно, молчали. Сэлиме задумчиво покусывала травинку. Сколько парней в деревне, но ни к одному не лежит душа. Только к Тухтару. Почему так? Особенный он какой-то, не похожий на всех. Другие парни только «гы-гы» да «гы-гы», руки в бока, грудь колесом, нос к небесам — вот, мол, мы какие, любуйся. Выбирай, не зевай, не упускай своего счастья. Откажешься — жалеть будешь. Мы себе цену знаем. А ей смотреть на таких противно.

Тухтар совсем другой. Ласковый, заботливый, скромный. А на нее всегда смотрит, как ребенок на какую-нибудь красивую диковинку. Кажется, что если бы можно было, то взял бы Сэлиме бережно-бережно в руки и спрятал за пазуху, к самому сердцу.

Такой никогда не обидит, беречь будет всю жизнь, жалеть, ни одного грубого слова не скажет. Давеча увидел, что она устала, — сразу забеспокоился, опечалился. Ругал себя за то, что дал ей косу. А вот отец только и ворчит на мать: «Бездельничаешь, бездельничаешь». Еле на ногах она порой

держится, а он знай свое: «Дела не вижу». Да и другие женщины от мужей доброго слова не слышат, только попреки да оскорбления. А иные и с синяками иногда ходят.

Нет, Тухтар не такой, как все, не такой. Посмотрит — и сразу на душе весело становится, как в солнечный весенний день. И Сэлиме будет его беречь. Будет ласковой-ласковой...

Задумчиво шелестела трава. Ласково льнули к ногам ромашки, осыпая икры золотой пылью. На розовых цветах клевера покачивались бархатистые важные шмели. Весело порхали разноцветные мотыльки.

— Тухтар, а почему ты никогда не бываешь на хороводе? — неожиданно спросила Сэлиме.

Парень смутился и ничего не ответил...

С детских лет Тухтар чувствовал себя чужим среди людей. Ему казалось, что каждый хочет его обидеть. Так уж лучше быть подальше ото всех. А песни Тухтар очень любит. По вечерам, усевшись на скамейке у своего домика, с наслаждением слушает, как поют девушки и парни, тихонько вторит им. Когда молодежь проходит по его улице, он сразу же прячется в избу. Как-то живущий по соседству Михук пригласил его вместе пойти на хоровод. Тухтар сперва согласился, но вечером переменял свое решение. Рядом с нарядным Михуком он выглядел огородным пугалом. Михук ушел, а Тухтар едва смог сдержать слезы...

— Что же ты молчишь, Тухтар?

— Я стесняюсь, — неохотно проговорил он глухим голосом.

— А чего стесняешься? Ведь все там бывают.

— То все, а то я... — Голос его стал еще глуше, задрожал. — Кому я нужен такой?..

— Мне. Вот кому. Приходи сегодня обязательно. Слышишь?

— Видно будет... Подумаю...

— И думать нечего, волков не боишься, а хоровода испугался. К тому же теперь у тебя такой пиджак есть. Да, а когда же ты мне расскажешь, откуда взял это?

Тухтар окончательно растерялся. Вспомнил наказ Палюка: «Смотри, не проговоришься. Не слыхал и не видал». Разве можно подвести такого человека — дорогого пиджака не пожалел он для Тухтара, но и Сэлиме обманывать нехорошо. Никто не относится к нему, как она. Сказала, что я ей словно брат.

И поклялась даже солнцем и луной. «Нет, такая девушка не выдаст», — решил Тухтар и подробно рассказал Сэлиме о встрече с беглым острожником.

— Да, он, наверно, неплохой человек, — задумчиво сказала Сэлиме, выслушав необыкновенную историю, и успокоила: — На меня надейся. Слова никому не пророню.

5. Высокое приглашение

Вряд ли найдешь в Утламыше человека хлопотливее, чем Шеркей. С утра до вечера он чем-нибудь занят. Если нет стоящего дела, то хоть веревочку из кудели совет. А как же можно жить иначе: ведь богатство собирается по крупичкам — без гроша рубля не бывает, без зернышка закром полным не назовешь. Если бы Шеркею запретили работать, это для него было бы самым тяжким наказанием — наверняка заболел бы и умер. «Двужильный, — говорили о нем в деревне. — Точный Сямака».

Каждый вечер, перед тем как заснуть, Шеркей старательно припоминал все, что сделал за день. Ворочился, раздраженно скреб затылок, подмышки, упрекал себя, шпынял: «Мало, мало. Даром, даром день пропал».

Пытаясь успокоиться, начинал пересчитывать все дела по пальцам: может, пропустил какое? Но итог оставался прежним.

Прикидывал, что сделано домашними, — опять неутешительная картина. «А чем, интересно, занималась Сайде, когда я уходил к соседям?!» Толкал локтем в бок давно уснувшую жену, спрашивал.

Та, не открывая глаз, сонным голосом путанно объясняла, потом заботливо говорила:

— Спи, спи. Отдохни. Умаялся ведь.

— Вам бы все спать да спать, — недовольно фыркал муж и, отвернувшись к стенке, начинал сосредоточенно обдумывать, что нужно сделать завтра.

Но как ни старался Шеркей, богатство не шло ему в руки. Очень неудачливо складывались дела. Куда ни кинь — везде клин. Растил телку — околела. Пришлось продать свою дряхлую, почти беззубую корову, добавить деньжонок и купить молодую. А какая выгода от этого? Новая корова взяла, как назло, и осталась яловой. Из шести овец только две прино-

сят ягнят. Остальные из года в год не дают приплода. Точно заколдовали их.

Дом обветшал. Скоро жить нельзя будет. А как поставить новый? Правда, Шеркей припас немного хлеба на продажу. Но вырученных денег все равно будет для такого дела мало. Вот если бы добавить зерна из урожая нынешнего года, то тогда, пожалуй, можно постриться. Но кто знает, что принесет жатва.

Скоро, конечно, будет полегче. Тимрук почти взрослый, еще немножко — и настоящим работником станет. Ильяс тоже подрастает.

От Сэлиме помощи ждоть нечего. Сегодня она в родительском доме, а завтра ее нет. Иногда Шеркей подумывает, что хорошо было бы выдать дочь за богатого, но мысли эти он считает несерьезными. Не слышать от людей, чтобы кто-нибудь разбогател за счет зятя. Но зато есть пословица: «Богач, выдавший семь дочерей, становится нищим». Слава богу у Шеркея осталась в живых всего одна дочь...

Когда Сэлиме и Тухтар пришли домой, Шеркей подправлял телегу. Девушка сразу подбежала к нему и начала взволнованно рассказывать о своем приключении, на все лады расхваливая Тухтара.

Из избы вышли Сайде с Ильясом. Мать заахала, прослезилась, стала благодарить парня. Ильяс смотрел на него с восхищением и завистью, будто на сказочного богатыря.

Шеркей к рассказу дочери отнесся равнодушно. Спас так спас. Да и волки в эту пору сытые, на людей не бросятся. Шеркея интересовало другое.

— А что это, что это у тебя, Тухтар, через руку перекинуто? Кажись, пиджак? Иль чудится мне? — спросил он, подавшись всем телом вперед, к батраку.

— Пиджак.

— А-та-та-та... Ведь правда, правда, пиджак. Не ошибся, не ошибся я... а пошел-то ты в рубашке. В рубашке ведь? Ну вот, опять я не ошибся. Откуда же он взялся? — Шеркей подошел вплотную, взял пиджак в руки, стал рассматривать его со всех сторон, то поглаживая и щупая сукно, то шелковую подкладку. Подышал на пуговицу, протер ее, пощелкал по ней ногтем, удовлетворенно хмыкнул. — Ай какой гладенький да красивенький! Англицкий, верное слово,

англицкий, — тихонько приговаривал он, вспомнив, что некогда видел такой пиджак в Симбирске на каком-то очень важном и представительном барине. — Ну, а где же ты взял его?

— Да нашел...

Хозяин вытаращил глаза, всплеснул руками, заприседал, ослабил:

— Нашел! Вот счастье-то, вот счастье-то! Видать, с неба, с неба стали падать такие штуки. — Шеркей огляделся, словно тоже хотел найти пиджак.

— Не с неба. Шел по Алатырской дороге, гляжу: лежит...

— Лежит, лежит, — как эхо, откликнулся Шеркей. — А ведь такие вещи не лежат на дороге.

— Ну да. А перед этим телега проехала. Я кричал, да уже далеко отъехала она, не услышали.

— Не знаю, как это порядочный человек может потерять такую вещь. Пьяный если только...

— Ну, конечно, пьяный, — подтвердила эту догадку Сэлиме, пытаясь помочь Тухтару.

Отец молча взглянул на нее, сердито подвигал усами. В глазах его были недовольство и удивление: никогда еще не вмешивалась дочь в разговоры старших, пока ее не спрашивали.

Девушка вместе с матерью и братишкой ушла в избу.

Шеркей похлопал Тухтара по плечу:

— Ты малый честный, честный. За это и люблю я тебя, люблю. Ничего никогда не таишь от меня. Другой бы нашел и припрятал. А ты принес. Это хорошо... Но куда же запропастился этот шатун Тимрук?.. Ведь примерить пиджачок надо.

Тухтар побледнел, губы его обиженно задрожали. «Почему я не пошел сразу домой? — упрекнул он себя. — Вот тебе и подарок».

Шеркей еще раз оглядел пиджак, тщательно обшарил все карманы, даже вывернул их. Приласкал ладонью сукно, попробовал, прочно ли пришиты пуговицы, вешалка. Все было в порядке. Прищелкнув от удовольствия языком, он медленно заговорил тягучим медовым голосом.

— Да, Тухтарушка, да... Ведь если сказать по правде, то эта одежда для нас с тобой не подходит. Мы с ней, браток, словно цыплята в индюшиных перьях. Хе-хе-хе. Да и одно мученье с ней. Руки и то не поднимаешь. Рукавички узенькие,

гляди-ка какие. А ведь маленькую вещь не сделаешь большой, не расширишь. Нам нужно, что попроще, посвободней, потеплей да попрочней. Да и нехорошо, право, хе-хе-хе, нехорошо получается: пиджак-то и прореху у штанов не прикрывает. Хе-хе-хе... А ты уж взрослый, — Шеркей игриво подмигнул, — жениться пора, а прореха-то на виду. Засмеют, засмеют девки. Вот я уж тебе сделаю осенью ватный. Теплый — печки не надо. И длинный, длинный, как положено, чтоб прореха не сверкала... Хе-хе-хе... — Зная стеснительность Тухтара, Шеркей особенно упорно напирал на последнее обстоятельство. Наконец он закончил свои разглагольствования и вопросительно поглядел на батрака.

— Нет, Шеркей йысна, — тихо, но твердо сказал Тухтар, решительно забирая пиджак из рук Шеркея. — Ты сам не раз говорил, что находку нельзя отдавать другому человеку.

— Нельзя, нельзя, — захлебнулся словами Шеркей. — Но только чужому. А разве Тимрук тебе чужой? Он мой сын, и ты тоже... не чужой. — Он хотел сказать «сын», но не осмелился.

— Спасибо, дядя Шеркей, спасибо. Но я тоже хочу надеть хорошую вещь. Хоть раз в жизни... хоть разочек. — Тухтар порывисто прижал пиджак к груди.

— Так? — с угрозой произнес хозяин. — Понятно, понятно... А я-то считал тебя своим человеком. Кормил, одевал, заботился как о родном. Значит, рубишь сук, на котором сидишь?

— Я никогда не ел даром твоего хлеба, Шеркей йысна. Или не работал я на тебя? А? Все делал, никогда не отказывался, не перечил ни в чем.

Шеркей вздыбился, как остановленный на всем скаку конь. Хотел что-то сказать, но не смог: поперхнулся, захрипел, закашлялся. Ему никогда и в голову не приходило, что Тухтар может сказать такое, всегда он был ниже травы, тише воды — и вдруг... Не иначе это Элендей воду мутит, подзуживает. Ну, конечно, в последнее время Тухтар стал больше работать у него. В прошлом году косил сено, нынешней весной пахал, боронил, сеял. Да и Элендей как-то заводил разговор, чтобы парень перешел жить к нему. Шеркей еще сказал тогда: «Значит, я крошу, а ты, братец, подъедаешь?» Вот народ пошел, никому доверять нельзя, даже брату родному.

Если же Тухтар уйдет, то прощай тогда и надел в поле, и огород, и участок луга — всем завладеет Элендей. Нет, не выйдет. Придется приласкать заартачившегося Тухтара: сухая ложка рот дерет.

— Ну вот уж и обиделся, — залезбил Шеркей, стараясь прогнать с лица недовольство.— Ведь я купить хотел пиджачок-то. Да... А ты бог знает что подумал. Хе-хе-хе... Недогадлив, недогадлив ты, браток... А коль не желаешь продавать, то воля твоя.

— Не хочу, — жестко подтвердил Тухтар.

— Носи на здоровье, носи. А Тимрука, я знаю, ты не обидишь. Тоже при случае дашь надеть. На гулянку когда там... Дело-то молодое. Да он и пониже тебя. Пиджак-то все, что надобно, прикроет. А ты подумай, подумай об этом. Не позорься перед девками...

— Ладно, Тимруку буду давать. Мне не жалко, — поспешно согласился Тухтар, обрадовавшись, что смог отстоять подарок Палюка.

В эту минуту у ворот появился высокий, неказисто сложенный человек. Смуглое, точно копченое лицо безжалостно изъедено оспой. Большие, выпученные мутно-серые глаза расставлены так неестественно широко, что, кажется, будто они смотрят в разные стороны. Рот полуоткрыт, над мясистой, безобразно вывернутой нижней губой топорщатся редкие кривые зубы.

«Идол, настоящий идол. Откуда только взяли такого?» — подумал Шеркей. Так думал каждый, кто смотрел на этого человека.

Это был Урнашка, подручный Каньдюков. Днем он помогал Нямасю в лавке, ночью сторожил ее. Настоящее имя Урнашки — Хведюк, но и стар и млад звали его по кличке, и он нисколько не обижался.

Лет пять живет Урнашка в Утламыше, но никто толком не знает, откуда его привезли, чем занимался он раньше.

В деревне Урнашку не любили и несколько побаивались. Урод имел пристрастие к разным пакостным проделкам. Бывали случаи, что он бросал в колодцы кошек и собак. Один колодец так осквернил, что им не пользуются до сих пор.

Однажды ночью кто-то перевернул в огородах все ульи, выбросил из них соты и растоптал. Вскоре выяснилось, что

это натворил Урнашка. И с целью: у Нямяся никто не покупал отсыревший сахар; когда же люди остались без меда, им волей-неволей пришлось брать порченный сахар.

Наказать бы надо хорошенько зловредного урода, но не осмелились. Попробуй-ка решишь на такое дело, если Каньдюки в своем помощнике души не чают, горой стоят за него.

Правда, старики попробовали добром вразумить Урнашку, но он только скалил зубы, вращал глазищами и нахально гыкал, брызгая слюной. Урнашка не стал заходить на двор. Облокотившись на жердину, безобразно ослабил, поманил хозяина дома длинным крючковатым пальцем.

Шеркей неторопливо подошел, поздоровался.

— Шеркей пичче¹, пойдём к нам.

— Зачем, зачем это?

— Тебя дед Каньдюк зовет.

— Для чего же? — Шеркей заволновался.

— Этого я не знаю.

— Говоришь, сам Каньдюк?

— Сказал же, сам.

— Старый, значит?

— Ты оглох, что ли? Видать, пыли в уши надуло.

— А как же, как же он сказал? — не унимался опешивший Шеркей.

— А так вот и сказал: поди-ка, говорит, Урнашка, позови многоуважаемого Шеркея, очень мне хочется повидать этого славного человека, соскучился я по нем.

— Куда же идти? В лавочку?

— Да нет, прямо домой. К нему гость приехал. Тебя тоже пригласили.

— А кто же приехал, приехал?

— Из волости, начальник. Так ты побыстрей.

— Я разом, разом. А ты зайди в избу, обожди, пока я соберусь.

Урнашка пренебрежительно отказался от приглашения.

Шеркей вбежал в дом, начал торопливо переодеваться. Надел черные шаровары, светло-синюю рубаху, поплевав на ладони, пригладил непослушные волосы, надвинул на них валянную из шерсти узкополую шляпу.

¹ Пичче — уважительное обращение.

— Что это ты всполошился? — поинтересовалась жена. — Вырядился, словно на свадьбу собираешься. Небось, в гости куда хочешь идти?

Шеркей, как гусак, вытянул шею, многозначительно вздернул к потолку палец, таинственно зашептал:

— Каньдюк, понимаешь, сам старый Каньдюк меня в гости пригласил!

Сайде хотела расспросить обо всем поподробнее, но муж досадливо отмахнулся и выскочил из избы.

«Рехнулся, право дело, рехнулся», — думала Сайде, глядя, как он чуть не вприпрыжку бежит к воротам.

6. Пир у Каньдюка

Шагая рядом с Урнашкой по Средней улице к центру деревни, Шеркей ломал голову, зачем же его пригласил Каньдюк. Догадка сменяла догадку. Шеркей от волнения то и дело поправлял черный с бахромой поясок, ерошил на затылке космы, передвигая с места на место неказистую шляпчонку. Шуточное ли дело — быть приглашенным в гости к такому человеку!

Каньдюк известен на много-много верст вокруг. Весной, как только подсохнут дороги, на базаре в Буинске появлялись всадники с длинными палками, на концах которых болтались варезки. Эти люди — посланцы Каньдюка. Подняв палки повыше, они, не жалея глоток, оповещали купцов, что в Утламыше есть продажный хлеб. Только недавно торговцы из Шаймурзина и Буинска купили у Каньдюков по пятьдесят возов зерна.

Своей земли у Каньдюка мало, всего на три души, но он арендует поля у какерлинских мижеров, скупает наделы у обедневших хорноварских и чурноварских мужиков.

А коров, овец у него!.. У Шеркея в доме столько тараканов не наберешь. Почти на каждой лесной опушке встретишь стадо, принадлежащее Каньдюку. Раздобревшую на вольных кормах скотину загоняют в деревню поздней, черной осенью.

Лошадей у Каньдюка восемь. Все, как один, породистые, гладенькие, блестящие. Особенно хорош вороной жеребец, который всегда приходит первым на скачках. Не конь — огонь, только в сказках бывают такие.

У Каньдюка два сына. Старший, вдовец Нямасть, которому уже перевалило за тридцать, торгует в лавке, младший — Лискав — учится в Казани. Две дочери ожидают выгодных женихов.

Шеркей шел, точно во сне. Завидев издали дом Каньдюка, он замедлил шаги.

— Ты что, еле плетешься? — спросил Урнашка.

— Значит, значит, и начальство там?

— Ага, на тройке прикатило. Тарантас на пружинах, блестит весь...

— Та-та-та! — Шеркей вытер вспотевшее лицо...

Дом у Каньдюка огромный, составленный из трех изб. С одной стороны сделал пристройку Нямасть. Но не долго пришлось ему наслаждаться семейными радостями — через год жену схоронили.

Вскоре Каньдюк расширил свое жилище и в другую сторону. Бедняк сосед, спасаясь от нужды, задумал ехать искать счастья в Сибирь и за бесценок продал свою усадьбу. Каньдюк снес наштипованную тараканами избу соседа и поставил на ее место впритык к своим хоромам новую, красивую, щедро украшенную резьбой.

Дом горделиво поглядывает на улицу высокими светлыми окнами. Они сделаны на городской манер — створки открываются. На улицу выходят два высоких крыльца. Ступени широкие, чистые — хоть языком лижи. На дверях ярко сияют большие медные ручки. Их каждый день старательно натирают мелом.

— Куда же входить? — робко прошептал Шеркей.

— Куда впустят.

— Наверно, вот в эту калиточку?

— Нет, это для работников, — пренебрежительно ухмыльнулся Урнашка. По тону его можно было понять, что себя он работником не считает.

— Бисмилле!¹ И на что столько дверей нужно! Запутаешься.

Шеркей с Урнашкой уже подходили к середине дома, когда в одном из окон появилось курносое лицо Каньдюка. Он молча ткнул пальцем, показывая, куда входить, и сразу же скрылся за красиво расшитой занавеской.

¹ Боже мой.

Шеркей не понял этого жеста и неуклюже затоптался на месте. Но тут распахнулась дверь парадного крыльца. Из нее важно выплыл Нямась.

— Шеркей теде! Что же это ты мимо прошел? Иль знаться с нами не желаешь? Вернись, друзей мы вот с этого крыльца пускаем. — Голос у Нямася был с довольно сильной гундосинкой и хрипотцой.

— Да разве узнаешь, разве узнаешь... Вон ведь какой домина! Как в городе, как в городе!

Расправив складки рубахи и поддернув шаровары, Шеркей неуверенно двинулся к крыльцу.

— Иди же, иди же, дорогой наш гость, — подбадривал Нямась. — Кого же, как не тебя, пускать через парадный вход!

— Не много ли чести такому, как я... — пролепетал Шеркей. Он поглядывал то на свои растоптанные лапти, то на свежeweмытые, поблескивающие охрой ступени. Наконец решился — шагнул, но сразу же споткнулся на правую ногу. «Ох, к беде!» — И Шеркей затоптался на месте, стараясь споткнуться и на левую, что, по его мнению, сулило удачу. Зацепиться левой ногой нужно дважды. Первый раз для того, чтобы обезвредить спотыкание на правую ногу, второй — ради будущего счастья. Но все старания оказались безуспешными. Шеркей вспомнил, что не один, что его ждут, и отказался от своих попыток.

Наблюдавший за его ухищрениями Нямась едва сдерживал смех и, чтобы спрятать улыбку, покручивал тоненькие усы. Он, как всегда, был в ярко-красной рубахе. Ворот расстегнут, видна грудь, густо заросшая кудрявыми черными волосами — хоть ножницами стриги. Пояса Нямась не носит — так меньше заметен жирный живот. Лицо большое, круглое и почти такого же цвета, как рубаха. Кажется, надави на щеку пальцем — и сразу брызнет кровь. Нос с горбинкой, точно у беркута. На приплюснутом лбу блестят крупные капли пота. Нямась никогда не стирает их, считая, что они придают лицу особую значимость и важность. На темени, в гуще жестких черных волос, — широкий зазубренный шрам. Нямась очень гордится им: это память об удалой разгульной молодости.

Нямась почтительно поздоровался с Шеркеем за руку, распахнул дверь настежь, провел гостя в просторные свет-

лые сени, пол которых был устлан зеленой с красной каймой дорожкой. Шеркей не осмелился пройти по ней и попытался пробраться вдоль стенки по доскам. Но Нямась заставил его ступить на ковер.

— Рехмет, рехмет¹, — бормотал Шеркей, неуклюже переступая подгибающимися от волнения ногами.

Нямась небрежно откинул прикрывающий дверь красивый чаржав², и они очутились в комнате.

Едва Шеркей переступил порог, как к нему, грузно переваливаясь, подошел сам Каньдюк:

— Наконец-то ты пришел, братец Шеркей!

— В добром ли здоровье, почтенный хозяин дома?

— Рехмет, пока Пюлех не обижает. И здоровы мы, и добрых людей есть чем угостить. Проходи, проходи, заждались тебя. Только поэтому и не начинаем. Да.

Шеркей все еще продолжал раскланиваться, бормотать приветствия и благодарности, но не знал, куда деть шляпу. Хозяин догадался, в чем дело, уважительно взял ее из рук гостя и бережно водрузил на гвоздь, затем он почтительно провел Шеркея к столу.

За столом сидел староста Элюка, как всегда подперев подбородок. У сельского начальства непрестанно болели зубы. Рядом с ним расположился полевой сторож Мухид. Важно восседал Узалук — лесоторговец, второй после Каньдюка богат в Утламыше.

Гость из волости стоял у стены и, лениво посапывая, глядел в окно. Широкая бугристая спина туго обтянута пиджаком из тонкого сукна. Над воротником навис красивый складчатый загрибок. На широко расставленных ногах сверкали щегольские остроносые ботинки.

Шеркей подал руку односельчанам, потом робко покашлял и протянул ее приезжему. Шеркей нисколько не обиделся, наоборот — он проникся еще большим уважением к человеку, приехавшему на пружинном тарантасе: сразу видать, что начальство. Будь Шеркей на его месте, он тоже подавал бы руку не всякому, а с разбором. Прежде всего нужно самому себя уважать, тогда и другие будут относиться к тебе с уважением.

¹ Спасибо.

² Чаржав — занавес.

— Ну, — обратился Каньдюк к присутствующим. — Давайте-ка откушаем по-дружески, по-братски. Ты, братец Шеркей, усаживайся рядом с Нямасем. А тебя, бесценный наш Сътапан Иванча, прошу занять место посередине стола. Ведь ради твоего приезда собрались мы тут. Нет для нас дороже и почетнее гостя. Прими же наше уважение.

Приглашая к столу Степана Ивановича, Каньдюк согнулся в полупоклоне, угодливо наклонив голову, глаза его смотрели заискивающе, голос звучал умирительно. Если бы у хозяина был хвост, то он наверняка повиливал бы им сейчас, как выпрашивающая кость собака.

«Да, видать, не простая птица к нам залетела», — подумал Шеркей, внимательно наблюдавший за поведением Каньдюка.

Степан Иванович повернулся и, ни на кого не глядя, подошел к столу. Но сел он не посередине, а рядом с Элюкой. Стул натужливо застонал. Был Степан Иванович весьма тучен. Маленькие глазки его заплыли жиром, меж выпуклых лоснящихся щек затерялся маленький, похожий на желудок, носик.

Устроив поудобнее свои громоздкие телеса, Степан Иванович, отдуваясь, точно после тяжелой работы, проговорил:

— Нет уж, с краю мне повольготней будет. Да-с. В середине и повернуться толком нельзя. Ни до чего не дотянешься.

— Да зачем же тянуться? Мы все подадим. Не извольте беспокоиться.

— Нет уж, лучше я сам. Эдак надежней будет.

— Как угодно. Воля твоя, Сътапан Иванча, делай все, как душенька твоя пожелает, — пропел Каньдюк и сел на хозяйский стул, на спинке которого полукругом шла резная надпись «Тише едешь — дальше будешь».

Шеркей внимательно осматривал комнату, обстановку, по несколько раз ошупывал взглядом каждую вещь, стараясь определить ее цену: «Вот, оказывается, как настоящие люди-то живут». И он с трудом удерживал завистливые вздохи.

В комнате появилась хозяйка, проворная, как трясогузка, и болтливая, словно сорока, Алиме. Муж что-то шепнул ей. Она быстро закивала головой, потом радостно всплеснула руками:

— Боже мой, да ведь это же Шеркей! Вот радость, вот радость! А что же без Сайде? Как семья? Все здоровы? И не знаю, как благодарить, что пришел.

Шеркей едва успевал отвечать на вопросы хозяйки...

Алиме, поболтав еще с минуту, отошла. Остальные на Шеркея внимания не обращали. Он чувствовал себя неловко. Да и обстановка смущала. Стол казался высоким, неудобным. Кошма, которой была покрыта скамья, все время сползала. Особенно стесняли руки — заскорузлые, в шершавых мозолях, ссадинах, под ногтями черная, как сажа, грязь. Как он ни будет прятать их под стол, но пить-есть придется. Как он будет принимать чаплашку от Каньдюка или его супруги? Не руки, а грабли, такими только навоз разгребать. Со стыда умереть можно. «Балда, дубина, — ругал себя Шеркей. — С песком бы оттереть надо. Но ведь второпях собирался». Дочери Каньдюка вместе с матерью хлопотали вокруг стола, представляя обильное угощение...

Чуваши — народ гостеприимный. Последней крохи не пожалеют. Иной после приема гостя всей семьей целый месяц голодает, но уж зато сердце его спокойно: уважил человека.

Каньдюк же, несмотря на богатство, хлебосольством не отличался. Но уж если приглашал кого в гости, то пир шел горой: мол, знай, как живет Каньдюк бабай.

И сейчас стол ломился от всякой снеди. Посредине на деревянном ывозе¹ аппетитно поблескивал подрумяненной корочкой большущий, пышный, как пуховая подушка, хуплу². На тарелках желтели комки свежесбитого масла, громоздились горками вареные яйца, темнели куски жареного мяса. Блестела прозрачным жирком коричневая тушка жареного, наливного, точно яблоко, индюка. Да и не перечислить всех блюд, выставленных перед гостями. Дух захватывало от их приятательного вида и вкусных запахов.

Было чем и горло промочить, чтобы пища шла легко и приятно, как санки по укатанной дорожке. Краснели сургучными головками бутылки с водкой, пестрели цветастыми наклейками бутылки с вином. Алиме торжественно поставила на стол объемистую баклагу с керчеме³.

¹ Ывоз — блюдо, поднос.

² Хуплу — пирог с мясом.

³ Керчеме — сорт пива, медовка.

Каньдюк радостно потер ладони, многозначительно посмотрел на гостей и взялся за чапашку:

— Вот господин землемер Сътапан Иванча! Сейчас уж я тебя угощу. Из лучшего гречишного меда приготовлен он. С позапрошлого года хранили в дубовой бочке с двенадцатью обручами. Под землей держали, чтобы света белого не видела. И вот в твою честь открыли!

С этими словами хозяин наполнил янтарной духовитой влагой большую чайную чашку...

Вот уже выпили Мухид и Узалук, настала очередь Шеркея. Он при случае не против нескольких чарочек, но сейчас стал отказываться.

— Нет уж, Шеркей пичче, — уговаривал Каньдюк. — Нельзя так. Иль ты хозяев не уважаешь, иль не по душе они тебе?..

Заворковала голубкой подоспевшая на помощь Алиме. На разные лады стала расхваливать Шеркея, его семью, здравствующих и давно умерших родственников. Особенно восхищалась хозяйка Сэлиме: «Ну прямо картинка дочка твоя! Как встречу — люблюсь не налюбуюсь! Жениха ей богатого надо, чтоб как царица жила».

— Подыщем, подыщем, — пообещал Каньдюк. — Такого найдем — пальчики оближешь. Пей, братец, пей! За счастье своей дочери!

И польщенный Шеркей сдался. Стараясь не глядеть на свои грязные руки, принял от Алиме чашку и, несколько раз пожелав хозяевам всех возможных на этом свете благ, выпил.

Вот уже чашка обошла второй, третий круг. В комнате стало шумно. Гости возбужденно рассуждали о том, как надо жить, наперебой хвастались своей смекалкой в делах. Шеркей жадно ловил каждое слово. «Так, так, понятно... Вот, оказывается, в чем дело. Век живи — век учись...»

Степан Иванович по-прежнему отмалчивался. Его привлекала еда. Он быстро справился с огромным куском индюшатины, облупил порядочно яиц, не оставив без внимания и остальные кушанья...

Нямась осушил подряд две чашки, схватил большой ком масла и начал старательно размазывать его по волосам и лицу.

— Вот как надо! Слова отца для меня превыше всего!

Все одобрительно рассмеялись. Молодой Каньдюк чувствовал себя героем.

Смех разбудил Степана Ивановича. Он огляделся и остановил маленькие сонные глазки на лоснящемся лице Нямася.

— М-да... — благосклонно улыбнулся землемер, — вы живете, как купцы.

— Верно, очень верно изволил заметить, дорогой Сътапан Иванча, — подхватил засиявший от похвалы Каньдюк. — Не уступим купцам! Не уступим! И благодетелей своих уважать умеем. Да! Ты нам копейку, а мы за это тебе рубль. Да! Такой у нас обычай! Правду я говорю, земляки?

Земляки старательно закивали головами.

— А богатство свое, — продолжал вдохновенно разглагольствовать Каньдюк, — мы честным трудом наживаем! Да бережливостью! Верно я говорю, братцы мои родные?

Братцы подтвердили и это.

— Уж если говорить о бережливости, — вставил свое слово Узалук, — то надо учиться у Собата Афанасия из Красных Пыльчуг. Тот стал богатым потому, что хлеб всегда заперти держал. Затвердеет, точно камень, а он грызет. Такого много не съешь. Вот и разбогател.

Степан Иванович, громко икнув, потребовал лошадей.

— Уже покинуть нас собираешься? Аль чем не угодил? — встревожился хозяин.

Каньдюк поспешно встал, шаркая валянными из белой шерсти калошами, подошел к землемеру:

— Ведь вы сказать что-то хотели. Так мне помнится. Иль запомнил я?.. Стар стал, голова, как решето, ничего не держится в ней.

— У вас здесь... Ну, это самое... Яйца, яйца есть сырые?

— Яйца сырые, говорите? Как не быть! Сколько душеньке угодно! Кемельби, собери-ка побольше. Да покрупнее выбирай. А лошадок сейчас Урнашка запряжет. Нямась уже сказал ему. Не извольте беспокоиться. Все в лучшем виде будет.

Степан Иванович слегка покачнулся. Нямась поддержал его под руку:

— Вы, Сътапан Иванча, приезжайте к нам синзе праздновать, — лебезил Каньдюк. — Всем семейством, с супругой, с детками. Не пожалеем. Окажите нам такую честь! Другим пивом угостим, «управа» называется. Выберите время, не обидьте, пожалуйста.

— А когда это, когда будет?

— На будущей неделе. Нямася пришло за вами...

— Ладно, так и быть — приеду, — наконец решил Степан Иванович. — А сказать я вам вот что хотел... — Он перевел взгляд на Каньдюка. — Все уладил я. От озера... ну, как его... Кр-кр... Куржанок, что ли, и до самого Утламыша вся земля твоя теперь. Да-с. Валяй, паши. Никто слова не скажет. Все в ажуре, комар носа не подточит. Только деньги надо в банк внести. Нямася знает сколько. Тогда земля навечно твоей будет. В земстве мой брат, он так говорит. Дело тонко знает. Можно сказать, собаку съел. Да-с.

Каньдюк чуть не подпрыгнул от радости:

— Ай да господин землемер Сътапан Иванча! Вот уважил! Рехмет, рехмет! По гроб рабом твоим буду. Алиме! Ты слышала? Ублажим нашего благодетеля чаркой в честь вечной дружбы!..

За окном загремел тарантас, заржали лошади.

— Яйца только не забудьте, — глухо напомнил Степан Иванович сквозь прижатую к лицу холстину.

Нямася позвал Урнашку. Поднатужась, они кое-как приподняли землемера со стула. Каньдюк почтительно, но напористо начал подталкивать почетного гостя в спину. Вслед, с трудом переставляя отяжелевшие ноги, двинулись остальные. Преодолев высокое кольцо, процессия наконец добралась до тарантаса. Заскрипели, сжимаясь до предела, рессоры. Рядом с седоком поставили укрытое платком лукошко с яйцами.

— Не знаю, как отблагодарить тебя, Сътапан Иванча! Счастливого пути! Ждем на праздник!

— Не забывайте нас, господин землемер!

— Супруге кланяйтесь, деткам!

В ответ раздавался громкий храп.

Ямщик ухарски вспрыгнул на облучок. Сивые холеные кони рванули. Степан Иванович покачнулся в сторону лукошка. Раздался треск.

— Вот и сварил яйца, — с досадой сказал Нямася...

У крыльца закручивал ногами кренделя Шеркей.

— Оставайся у нас, братец! Отоспишься, потом опохмелишься. Свежей огурчика станешь! — предложил Каньдюк.

— Не-ет, не-ет. Спасибо, спасибо... — слышалось в ответ косноязычное лепетание. — Меня... меня к Тухтару проводите... Через огород, через огород... Не считите за труд... Про-

стите, что обременяю. Я так люблю, люблю вас... Жизни, жизни не пожалею... Только к Тухтару... Простите за беспокойство... В глаза стыдно смотреть...

— Да какое тут беспокойство! Сделаем все, как просишь. Для нас слово гостя — закон.

— Рехмет, рехмет, дедушка Каньдюк. — Шеркей потянулся к хозяину, чтобы поцеловаться, но едва не упал.

Нямась крикнул Урнашке:

— Доставь-ка дорогого гостя!

Приказчик нагнулся, и Шеркей кое-как с помощью хозяев взгромоздился ему на спину.

— Держись за шею покрепче, братец Шеркей, — поучал Каньдюк. — А ты, Урнашка, ноги его не выпускай. Ну, с богом!

Урнашка крикнул, затряс головой и, заржав, поволок свою ношу через двор к огороду Тухтара...

9. Именитые люди

Помощники Мигалья установили высокий столб и укрепили на его макушке белый флаг, сделанный из платка. Площадку вокруг столба окружили оградой из жердей. На верхних перекладинах развесили сурбаны, льняные полотенца, цветастые чаржавы, длинные куски холщового полотна. Все эти вещи будут вручены отличившимся участникам агадуя.

Вокруг сразу же столпились любопытные. Разглядывали подарки, обсуждали их достоинства, прикидывали цену.

Неподалеку кружился хоровод. Пока в нем были только одни девушки, они двигались очень медленно, плавно и пели вполголоса. Постепенно хоровод становился все многолюдней, в нем появились парни. Песня зазвучала громче. Вот уже вокруг первого хоровода поплыл второй, потом третий, четвертый. Со стороны казалось, будто на лужайке вдруг распустился огромный белый цветок, лепестки которого нежно колышутся под ветерком.

Ослепительно блестят на солнце мониста. У некоторых девушек они в несколько рядов, а последний ряд сплошь состоит из серебряных рублей старинной чеканки. При каждом, даже самом осторожном движении, низки переливаются и журчат веселыми ручейками.

Нелегко достались девушкам наряды и украшения. Много пота пришлось пролить ради них, работая с зорьки дотемна на чужих нивах.

Вот хоровод остановился. Парни поставили посредине круга ящик и усадили на него музыкантов — скрипача Едикана и свирелиста Пассию. Началась пляска. Один за другим вылетали танцоры, выделывая самые причудливые коленца. Люди смотрели и диву давались. Просто не верилось, что человек может творить такие штуки.

Едикан весело притоптывал в такт музыке, его новые лапти выбили ямки чуть не до щиколоток. Пассия задорно поводил плечами — того и гляди сам пустится в пляс. Уже пот льет ручьями с музыкантов, но отдыхать некогда. Танцоры только еще входят во вкус. Один старается перещеголять другого. Что есть силы поет скрипочка, соловьем заливается свирель, выбивают частую дробь новые липовые лапотки, залихватски звучат такмаки — веселые удалые частушки. «А ну еще! А ну поддай!» — доносятся со всех сторон азартные голоса зрителей.

На площадке около столба появились люди в чалмах и с красными повязками на руках. Это судьи.

Начинается состязание борцов.

Первых победителей награждали куском мыла или несколькими яйцами, за следующие победы вручали уже более ценные подарки. Если борец одолевал трех-четыре противников, то ему давали платок и разрешали немного передохнуть. Иной парень обвешивается столькими платками и полотенцами, что становится похожим на базарного разносчика. Люди относятся к нему с большим уважением: чуваши очень ценят силу и ловкость.

Зрители расположились в несколько рядов. Пришедшие первые сидят на земле у самой ограды, во втором ряду пристраиваются на корточках, в последующих — стоят.

Все с нетерпением ждут, когда выйдут на площадку опытные борцы — батыры, которые выступают в самом конце состязаний.

Главный утламышский батыр — Ширтан Имед. Слава о нем идет по всей округе. Уже несколько лет подряд он не уступает первенства на агадуе. Утламышские надеются, что их любимец окажется победителем и в этот раз. Шеркей с

Пикмурзой пришли сюда только ради того, чтобы полюбоваться на Имеда.

Пожаловали деревенские богатеи: Каньдюк, Эпелюк, Савандей, Ильдиер. Мигаля поставил два пустых ящика, положил на них доску и усадил на нее, как на скамейку, местную знать.

Зазвенел бубенчик. Подкатили два тарантаса. На одном из них восседал землемер Степан Иванович, на другом — дьяк. Элюка разместил прибывших рядом с Каньдюком.

Настала очередь батыров. Борец из Хорновар уложил подряд пятерых. Помериться с ним силами вышел Миша — сын деревенского кузнеца Ивана Капкая. Миша без особого труда справился с хорноварцем. Молодой кузнец принимал участие в агадуе впервые, и все очень удивились его успеху. Поэтому судьи сразу выдали Мише платок.

Хорноварцев огорчило, что их борца победил какой-то новичок. Они выслали нового батыра, но он тоже потерпел неудачу.

На площадку вразвалку вышел шигалинский силач Степан, кряжистый, точно матерый медведь. По сравнению с ним Миша казался щуплым подростком. По рядам прошел неодобрительный ропот: не к лицу известному борцу выходить раньше времени и показывать свою удаль в схватке с неопытным противником.

Судьи о чем-то пошептались с Мишей, наверное, предлагали отказаться от борьбы. Но Миша отрицательно покачал головой и подошел к Степану. Противники обменялись рукопожатиями и начали бороться. Зрители замерли. Не хотелось им, чтобы Миша потерпел поражение, очень любили в деревне этого русского парня и его отца. К тому же побаивались, как бы не покалечил Степан Мишу: какой из него тогда работник?

Рядом с Ильясом, устроившимся на траве у самой ограды, присел аккуратно одетый белокурый голубоглазый мальчонка лет девяти-десяти. Это был братишка Миши Володя.

— Ух, еле пробрался через толпу! — заговорил он почувашки с еле заметным акцентом.

— Что, боишься, видать, за брата? — поинтересовался Ильяс.— Не надо бы ему связываться с таким силачом. Гляди-ка, как он Мишу ломает. Аж смотреть страшно.

— Ничего, — послышался уверенный ответ. — Не сломает. Все равно Миша победит.

Соседи переглянулись, недоверчиво заулыбались. Уж слишком неравными казались силы борцов.

— Эх, — неожиданно пронеслось по толпе. Степан приподнял Мишу для броска. Казалось, исход боя очевиден. Но вот брошенный со страшной силой, он все же ухитрился встать на ноги. Толпа облегченно вздохнула.

Степан попытался поднять противника вторично, но тот сделал какое-то едва заметное для глаз движение и выскользнул, словно рыба. Прошло еще несколько напряженных минут. И вдруг долина огласилась восторженными криками: «Миша! Миша! Наш Миша!» Громче всех приветствовал молодого борца Ширтан Имед. Степан лежал на земле пластом.

— Ну что, разве неправду я говорил? — звонким от радости голосом спросил Володя своего соседа.

— Правду, правду! — подтвердил Ильяс. — Ох, какой брат у тебя!

— Я никогда не ошибаюсь! Знаю толк в этом деле.

Миша схватился с какерлинским мижером. Но на этот раз предсказания Володи не оправдались: брат потерпел поражение. Соседи успокаивали огорченного мальчика: Миша и так добился очень многого — в первом же агадуе сравнялся с лучшими батырами, а это не шутка.

Мижер, одолев еще одного борца, самодовольно прохаживался по площадке, приподняв правую руку. Никто не решался помериться с ним силами.

— Кто еще желает бороться? — несколько раз крикнул главный судья, но ответа не последовало.

— Что же, выходит, твой черед настал, дядя Имед! Как думаешь, дядя Имед?

Зрители оживились: наконец началось самое интересное. Почтительно расступились, пропустили на площадку своего любимого батыра.

Походка у Имеда легкая, пружинистая. Он высок, плечист, широкогруд, но не громоздок, не грузен. Фигура собранная, подтянутая. В молодости Имед был солдатом, на всю жизнь сохранилась у него бравая гренадерская выправка. Он и бороться научился на военной службе.

На батыре белая полотняная рубашка, перетянутая таким

же пояском с зеленой бахромой. Шаровары надеты на выпуск, из-под них виднеются аккуратно сплетенные семижильные лапти. Одежда сидит на Имеди очень ловко, словно влит он в нее. Обычно Имед носит солдатскую фуражку, но сегодня он не надел ее, и теплый ветерок нежно перебирает подернутые сединой волосы.

В прошлые годы перед агадуюем борец всегда отдыхал неделю, занимался только мелкими домашними делами, но в нынешнем году поднакопить силенок не пришлось. Имед только вчера вернулся из дальней деревни, где работал пильщиком. Из тела не ушла усталость. Это беспокоило борца: вдруг не справится он с противниками, подведет своих земляков, уронит честь родного села?

Но сомнения оказались напрасными. Как ни был силен какерлинский батыр, пришлось подниматься ему с земли при помощи Имеда.

Легко разделался утламышский богатырь еще с двумя опытными, опасными борцами. Каждая его победа вызывала бурю приветственных возгласов.

В ожидании новых противников Имед, широко расставив мускулистые ноги, стоял в центре площадки и молодецки подкручивал длинные рыжие усы. Несмотря на его бравую позу, чувствовалось, что он очень устал, нелегко далась ему победы. Круглая грудь тяжело вздымалась под потемневшей от пота рубахой, влажно поблескивало лицо.

— Есть еще желающие? Кто хочет бороться?

Никто не отзывался. Судьи еще несколько раз повторили приглашение и, не услышав ответа, начали совещаться.

Зрители еще глубже вздохнули, чтобы огласить окрестность приветствиями в честь Имеда, но неожиданно послышался ехидный голос Каньдюка:

— Не надо торопиться, дорогие судьи! Есть еще желающие помериться силами с Имедом! Есть!

Сидевшие в первых рядах с удивлением посмотрели на Каньдюка: не сам ли он хочет бороться, не иначе как рехнулся старик?!

Но из-за спины Каньдюка поднялся нарядно одетый незнакомец. Пока он пробирался к площадке, его сумели оценить по достоинству. «Добрый батыр», — загудела толпа. Но восхищение быстро превратилось в беспокойство за Имеда.

Незнакомец лениво снял малиновый камзол, небрежно кинул его к ногам Кандюка.

— Ты, что ли, борешься? — нерешительно спросил один из судей.

Батыр ничего не ответил. Пренебрежительно улыбаясь, он натирал ладони каким-то белым порошком.

— Он борется, он! — объяснил подбежавший Мигаля. — Он татарин, говорите с ним по-ихнему.

— Кто ты такой, откуда? Нам надо знать! — настойчиво потребовали судьи. — Мы уже совещались и можем не допустить тебя к борьбе.

Батыр будто и не слышал. За него ответил Мигаля:

— Касымом его зовут.

Наступила такая тишина, что можно было подумать, будто долина вдруг обезлюдела. Стоявшие рядом с навесом лошади удивленно насторожились, перестали жевать траву.

Судьи пошептались, после чего один из них объявил:

— Имед борется с Касымом!

Тяжело переступая кряжистыми ногами, Касым направился к Имеду. Не доходя нескольких шагов, остановился, попробовал прочность полотенца. Имед уважительно протянул татарину руку, но она повисла в воздухе: Касым не ответил на приветствие.

— Ладно, — вполголоса проговорил Имед. — Мы люди не гордые. Но все-таки из каких же краев ты будешь?

— Из Казани, — буркнул Касым.

— Ого! Из самой Казани к нам пожаловал, — удивился Имед и, обращаясь к судьям, добавил: — А вы, уважаемые, не забывайте своих обязанностей, передышка мне положена.

— Да чего там отдыхать, — захихикал Мигаля. — Положи его — и делу конец!

— Языком-то оно просто.

— Струсил ты, вот что я скажу! Увиливаешь! Хе-хе-хе! Ишь, ловкач какой!

— Правильно! Нечего хитрить! Бороться надо, коль батыром назвался! — поддержала распорядителя компания Кандюка.

С Кандюком не поспоришь, и судьи не разрешили Имеду отдохнуть.

Батыры развернули полотенца. Ни тот, ни другой не осмеливался напасть первым. Зорко присматривались, прицеливались. Наконец схватились.

Казанский борец был в более выгодном положении, чем утламышский. Касым видел, как боролся Имед, и в какой-то мере изучил его приемы, узнал, в чем он слаб, в чем силен. Имед же совершенно не представлял, каков в борьбе противник, чего от него можно ожидать. А бороться вслепую — рискованное дело. Кроме того, татарин вышел на поединок со свежими силами, а Имед — после некоторых упорных схваток, и даже передышки ему не дали.

Имед сразу понял, что Каньдюк заманил его в западню, но что было делать: взялся за гуж, не говори, что не дюж.

Касым боролся осторожно, стараясь вымотать из противника последние силы. Борцы, сцепившись, обошли уже два круга. Имеду приходилось нелегко, было заметно, что он с каждой минутой слабеет. Один раз он с трудом поднял Касыма, но бросить не смог: не хватило сил. Татарин все выжидал, он хотел действовать наверняка, расправиться с утламышским батыром красиво.

Зрители напряженно следили за каждым движением борцов.

— Держись, Имед! Не поддавайся! — летели со всех сторон ободряющие возгласы.

Какой вроде толк от слов, но, слыша их, Имед чувствовал себя уверенней, ему даже казалось, что возгласы земляков вливали силы в уставшие мускулы.

Напряженно пригнувшись, борцы прошли еще два круга. Имед уже не пытался делать бросков, берег силы, ведь вот вот противник должен перейти в решительное наступление. Такое поведение Имеда обмануло Касыма, он подумал, что противник окончательно выбился из сил, и решил действовать, как намечал. Татарин резким рывком оторвал Имеда от земли и начал быстро кружить.

Один оборот, второй, третий...

— Все, — пронеслось по толпе.

Шестой, седьмой... Касым напрягся и изо всех сил швырнул Имеда к середине площадки, но и сам не удержался на ногах, отлетел в противоположную сторону, упал навзничь.

— Касым! Касым победил! — во все горло заорал Каньдюк.

— Касым! Касым! — словно эхо откликнулись приятели богатея.

Но борцы поднялись одновременно. Судьи не знали, кому присудить победу, и предложили продолжить борьбу. Разъяренный неудачей, Касым, забыв про осторожность, сразу же ринулся на Имеда. Но тот, изловчившись, вскинул его, перевернул вниз головой. Касым упорно старался вырваться, но все попытки оказались напрасными — хватка у Имеда была мертвая. Касыму казалось, что утламышский борец стянул его туловище железным обручем.

Напрягаясь под тяжелой ношей, Имед медленно зашагал вдоль ограды. Его противник, громко сопя, мотал головой, смешно взбрыкивая ногами в щегольских сапогах.

Имед обошел круг и остановился против Кандюка, тяжело дыша.

— Ну... вот и приехали! — сказал он. — Принимайте дорогого гостя!

И Касым живописно распростерся в ногах своих друзей и почитателей.

С минуту, а может быть, и дольше, стояла тишина. Потом воздух потряс многоголосый торжествующий крик:

— И-ме-ед!

Люди из передних рядов бросились к нему, стали пожимать руки, обнимать, некоторые даже целовали.

Из-под навеса вышли две девочки и преподнесли батыру на белоснежном полотенце большой каравай. Имед поцеловал девчурок в лоб, затем нежно прижал губы к хлебу.

— Спасибо, братцы! Спасибо, родные! — растроганно проговорил он, низко кланяясь ликующим землякам. — Одним хлебом мы все вскормлены, одним!

Люди подхватили Имеда на руки и, высоко поднимая его над головами, обошли вокруг арены, затем поднесли к столу, где лежал почетный приз.

По старинному обычаю батыра встретила невеста, свадьбу которой должны играть в нынешнем году. Она держала перед собой вытканый собственными руками сурбан. Распорядитель агадуй торжественно облачил Имеда в новый пиджак. Девушки запели хвалебные такмаки, невеста пришила к пиджаку разноцветный конец сурбана. После этого батыра снова начали качать...

Агадуй всегда завершается скачками. Мигалья уже давно отправил всех участников на Чаткаские холмы. Оттуда по команде помощника распорядителя всадники помчатся к Кергасьской долине. Скакать нужно четыре с лишним версты.

Толпа расступилась на две стороны, чтобы дать дорогу конникам. Мигалья разложил на столе подарки. Разыскали девушек, которые должны вручать награды. Самый большой узел Мигалья передал Сэлиме:

— Это тому, кто придет первым. Поняла? Смотри, не забудь!

Дочь Узалука Мердень недовольно скривила губы, лицо ее побавровело. В прошлом году лучший джигит принял приз из ее рук. Она нисколько не сомневалась, что и в этот раз будет так же. Вручать награду — высокая честь, ее удостоиваются самые красивые девушки, и к тому же из богатых семей. А тут вдруг дочь какого-то замухрышки Шеркея... Мердень презрительно посмотрела на неожиданную соперницу, оценивая ее наряд. Он не шел ни в какое сравнение с ее собственным. У Мердени одни жемчужные бусы чего стоят! Сэлиме и не снились такие. И вот — пожалуйста... Не иначе, как до этого балбес Мигалья додумался. Надо пожаловаться на него отцу.

Узнав, зачем она понадобилась, Сэлиме растерялась и начала отказываться.

— Нет, нет, это дело не для меня. Поручите кому-нибудь еще. Я и порядка не знаю...

Она хотела возвратить сверток, но Мигалья так гаркнул на нее, что сердце екнуло у Сэлиме от страха.

— Хватит тары-бары разводить! Сказал — и кончено. Некогда мне с тобой возиться. И так с ног сбился. Делай, что приказал!

Поперек дороги натянули красную ленту. Дежурные следили, чтобы никто не вылезал вперед и не загораживал путь всадникам. Шеркей и Пикмурза с радостью вызвались наблюдать за порядком — ведь это позволяло стоять в первом ряду и видеть все подробности скачек. Нашли удобное местечко и для Элендея.

Над Чаткаским холмом взвился клуб пыли. Он быстро вытягивался в длину, словно дымок из трубы в ветреную погоду.

— Едут! Едут! — прокатилось по толпе.

Вскоре можно было разглядеть передних коней, задних укрывала плотная пыльная пелена.

— Вороной! Вороной самый первый! — разглядел кто-то самый зоркий.

— Ну, значит Нямясь!

— Кому же больше!

Каньдюк довольно переглянулся с приятелями.

Всадники пересекли большак и помчались по лугу. Пыли стало гораздо меньше, и все ясно увидели: вперед вырвался наездник на вороном коне. Скоро убедились и в том, что это был Нямясь — по посадке угадали.

За вороным шел гнедой, потом сивый и опять вороной. Немного погодя разглядели и второго коня: он оказался вовсе не гнедым, а рыжим.

— Вроде лошадка Савиня...

— Похоже, что она.

— И сомневаться нечего!..

Рыжий уже настигал вороного. Вот он поравнялся с ним, хотел обойти, но конь Нямяся не дал ему дороги. Второй наездник начал отставать. Но когда до деревни оставалось совсем немного, он опять стремительно бросился вперед, обошел Нямяся стороной и помчался первым.

— Савинь! Савинь обогнал!

— А может, и не он. Не только у него рыжая лошадь!

Сколько люди ни вглядывались, как ни напрягали глаза, никто не мог угадать, кто же скачет на рыжем коне. Казалось, что лошадь несется без седока, так низко пригнулся наездник. Только белая рубашка трепетала на ветру.

— Послушай-ка, — шепнул Пикмурза Шеркею. — А не твой ли это конь?

— Да что ты, что ты, соседушка, — возразил Шеркей, хотя он сам подумывал о том же. — Я ведь запретил Тимруку ехать.

— Наша лошадь, точно. Даю голову на отсечение! — подтвердил Элендей.

— Шеркей, Шеркей едет! — раздался чей-то громкий голос.

— Не Шеркей, а Тимрук! Шеркея я тут видел!

— Тимрук, конечно, Тимрук!

Шеркей давно уже убедился, что первым идет его конь, но вслух своего мнения не высказывал, боялся сглазить. Толь-

ко когда стало ясно, что Нямась безнадежно отстал, Шеркей радостно захлопал ладонями по ногам, присел, торопливо приговаривая:

— Вот так Тимрук! Вот так сын! Та-та-та! Ай да лошадка!

Кое-кто начал злорадно подсмеиваться над Нямасем.

Чтобы получше разглядеть, кто же идет первым, низкорослый Мигаля вспрыгнул на ящик, но тот с треском развалился, и распорядитель со всего размаха ткнулся носом в траву.

— Кто? Кто обогнал? — нетерпеливо крикнул Каньдюк.

— Нямась! Конечно, Нямась! — заплевался землей распорядитель.

Едва лишь рыжий конь доскакал до толпы, как раздались крики:

— Тухтар это! Тухтар!

Действительно, на лошади Шеркея мчался он. Прижавшись к шее коня, Тухтар белой птицей пронесся мимо удивленных людей. Порванная красная лента сверкнула в лучах солнца, и ее половинки опустились на траву.

Через минуту, ласково теребя гриву лошади, Тухтар уже подъезжал к столу распорядителя. Мигаля оторопело смотрел на потемневшее от пыли и усталости лицо джигита: вот тебе и Нямась!

Тухтар заметил Сэлиме. Его счастливые глаза засияли еще ярче.

Мердень тихонько толкнула Сэлиме локтем, шепнула:

— Что стоишь? Вручай награду!

Не сводя взгляда от парня, Сэлиме взяла со стула узел, на мгновение прижала к груди, потом порывисто шагнула к всаднику.

— Обожди-ка! Не спеши! — резко остановил ее Мигаля.

К столу быстро подходил Шеркей.

— А ну-ка, где, где тут моя награда? — решительно двинулся он на распорядителя. — Моя ведь, моя лошадушка первой пришла!

Мигаля открыл было рот, чтобы возразить, но Шеркей властно отобрал у дочери узел. Приказал Тухтару спешиться и, взяв лошадь под уздцы, торопливо зашагал от стола.

Пока опешивший Мигаля хлопал глазами и раздумывал, как поступить, Шеркея уже поглотила праздничная толпа.

Отойдя на порядочное расстояние от стола, Шеркей остановился, несколько раз поцеловал коня в нос.

— Ох ты, моя умница! Умница-разумница!

Затем сел на него, горделиво вскинул голову, подкрутил усы. Млея под любопытными взглядами, несколько раз медленно проехался по кругу. Вслед за ним, понурившись, шагал Тухтар.

Шеркей внимательно огляделся и, убедившись, что вокруг никого не было, соскочил с коня. Присел на корточки, нетерпеливо развязал узел. Довольно закричал, зацокал языком. Дрожащие руки теребили, мяли, шупали, гладили вещи.

— Ох, лошадушка моя золотая! Красавица моя! Красавица ненаглядная! И ты, и ты, Тухтар, молодчина... Пиджачок-то какой, пиджачок-то! Та-та-та! Ох, коняшечка моя роденькая, овсецом бы, овсецом бы тебя кормить всегда, овсецом. Но ничего, ничего, дай срок. Будет это, будет. Блестеть вся будешь, как солнышко. И ты, Тухтар, славный малый, славный. Никогда тебя не оставлю без куска хлеба, никогда, хоть век живи у меня, хоть век... А я-то думал, Тимрук, Тимрук скачет, а оказалось, ты... Нямась-то, Нямась третье место занял, третье, хе-хе-хе... Ох ты, рыжая моя, гривастенькая! Рвет и мечет, поди... Ну, ничего, ничего. Нельзя ему обижаться. Скачки — такое дело... И вы с Тимруком умники. До чего додумались... Только что же мне-то не сказали?

— Да боялись, не разрешишь.

— Верно, верно — не разрешил бы... Кто же мог думать, что все так получится... А Нямась, Нямась не обидится. Ведь не я, не я обогнал, а лошадка. Моей вины тут нет.

Наконец Шеркей поднялся. В одной руке он держал черные шаровары, в другой — шелковый пояс.

— Держи-ка! Это тебе от дяди, от дяди. Он тебя никогда не забудет. Люб ты ему, люб, Тухтарушка.

Тухтар с благодарностью принял вещи.

— Носи, носи на здоровье! — приговаривал щедрый «дядюшка», старательно завязывая узел. — А пиджак-то пусть Тимруку будет. Сапожки же мне, мне. В память о лошадке... Ишь какие — точно зеркало сверкают. Поглядеться в них можно...

Тухтар спросил разрешения остаться на гулянье.

— Что там спрашивать — гуляй до ночи. Потом приходи к

нам, пообедаем вместе. В честь такого дела не грех и поесть чего-нибудь повкуснее. А лошадка-то, как думаешь, не надорвалась, ничего не случится с ней?

— Нет, — успокоил его Тухтар, и они расстались.

10. Зов сердца

...Шеркей проворно снял лапти, достал из свертка сапоги, начал примерять:

— Точь-в-точь! Как на меня шили!

Он попеременно выставлял вперед то правую, то левую ногу, шевелил острыми носками. Ему очень нравилось, как на глянцевой коже поигрывали зеркальные блики.

Сайде не выдержала.

— Зайди хоть в дом! Не срамись перед людьми, забавляешься, как ребенок.

— Не учи, не учи! Сам знаю, что делать! — обозлился Шеркей, но сапоги стянул...

Сайде вошла в избу. «Вернутся Сэлиме с Тухтаром, тогда уж узнаю всю правду», — подумала она.

А Тухтара в это время плотным кольцом обступили парни. Они смотрели на него с нескрываемым восхищением и завистью. Подумать только, на первых скачках — и обогнал всех наездников. Все знали, что Тухтар ездит на лошади очень хорошо, не раз в ночном бывали вместе, но одно дело — скакать ради забавы по лугу и совсем другое — мчаться во весь опор наперегонки. Тимрук, конечно, сделал правильно, что не поехал, далеко ему до Тухтара.

Парней особенно радовало, что Тухтар сбил спесь с Нямася: недолюбливали они лавочника.

Каждому хотелось знать о скачках все до мельчайших подробностей, и новая деревенская знаменитость едва успевала отвечать на сыпавшиеся со всех сторон вопросы. Не привыкший к людскому вниманию, Тухтар чувствовал себя очень неловко.

— А какую же награду тебе дали? — поинтересовался кто-то.

Тухтар показал шаровары и поясок.

— Только-то и всего?

— Нет, еще были вещи, но я их отдал Шеркею.

— И он взял? Да как у него рука поднялась?

— Чтоб отсохла она у него! Совсем совести нет!

— А с виду ведь добрый, говорит, точно кот мурлычет.

— Да, стелет мягко, а спать жестко.

Тухтар промолчал, он был рад, что хоть штаны ему достались. В самый раз они к новому пиджаку. Вот если бы рубашка еще была хорошая...

Сколько Тухтар мечтал о хорошей одежде! И вот она есть у него. Но страшно как-то надеть ее. Смеяться еще станут люди: вот, мол, нищий щеголять начал. А может, и не станут. Ведь никто не подсмеивается над ним после того, как он победил на скачках. Наоборот — все поздравляют, хвалят. Правда, наверно, Сэлиме, которая все время говорит, что Тухтару только кажется, будто его в деревне за человека не считают.

Парни предложили пойти домой с ними вместе, но Тухтар отказался. Ему хотелось побыть одному. Вспоминая все происшедшее за день, он шел по лугу. Шел неторопливо, степенно.

— Тухтар! — неожиданно послышался за спиной знакомый голос. — Ты что это один прогуливаешься? А мы уж думали, ушел ты давно.

К нему подошли Сэлиме и Елиса, ее подруга.

— Он теперь на нас и смотреть не захочет, — пошутила Елиса. — Теперь ведь Тухтар — человек знаменитый, только о нем везде и толкуют.

— А как же вы думали! — поддержал шутку Тухтар...

Сэлиме попросила Тухтара рассказать о скачках.

— А что тут рассказывать. Ведь не я бегал — лошадь.

— Но ведь и Нямась не сам бегал. И лошадь у него получше. Почему же так получилось? — допытывалась Елиса.

— Ой, тузум¹, — перебила ее Сэлиме. — Ты не видела, как рассердился Нямась. Чуть не избил Мигалю. Как зверь накинулся. Мы с Мерденью сразу убежали от греха подальше. Ты бы, Тухтар, показал хоть подарки.

— Иль ты не видела? В руках держала.

— Да ведь в платке они были завернуты.

Тухтар остановился, аккуратно развернул выделенные Шеркеем вещи. Девушки на все лады начали расхваливать их.

¹ Тузум — подруга.

— Ну вот и хорошо, — обрадовалась Сэлиме. — Теперь у тебя и пиджак есть хороший, и шаровары. Я тебе сегодня тоже преподнесу подарок.

— Какой?

— Потерпи малость, увидишь.

— А страшно, наверно, скакать на лошади, — не унималась любопытная Елиса.

— Чего же страшного? Посиживаешь себе — только и всего. Пыль, правда, в глаза лезет, — неохотно проговорил Тухтар...

Сэлиме предложила отдохнуть. Девушки сели на траву и начали плести венки.

— Быстро вы устали. Чуть прошлись, сразу ноги отнялись! — пошутил Тухтар, продолжавший собирать цветы.

Подруги тихонько запели.

Тухтар сел рядом и тоже принялся за венок. Никогда бы не занимался он такими пустяками, но не хотелось обижать девушек. Да и когда еще придется посидеть ему рядом с Сэлиме...

— Ты кого-нибудь любишь? — неожиданно с лукавой улыбкой спросила у него Елиса.

Сэлиме опустила глаза.

— Я? Люблю? Да мало ли что... — замялся парень и с еще большей старательностью стал разбирать красивые незабудки.

— Что же ты молчишь? Можно подумать, что и сам не знаешь, кого любишь.

— Почему не знаю? Луг вот люблю, поле, лес. Песни еще слушать люблю...

— А меня? — услышался тихий голос Сэлиме.

Тухтар вскинул на нее глаза. Так хотелось сказать правду!

— Любишь, любишь! — сказала Елиса. — И без твоих слов знаю!

— Как тебе не стыдно! Говоришь, сама не знаешь что!

— Знаю, что говорю! Все знаю! Знаю, знаю, знаю! — Елиса захлопала в ладоши.

Сэлиме прикрыла ей рот ладонью:

— Перестань! Слышишь? Перестань!

Девушка замолчала, только в глазах ее никак не могли погаснуть лукавые огоньки.

Сэлиме поправила волосы и надела венок поверх платка.

— Красиво, Тухтар?

— Очень.

Взгляды их встретились.

— Хочешь, я помогу тебе? А то ты со своим венком темно пропутаяешься, — предложила Сэлиме и, не дожидаясь ответа, придвинулась к Тухтару. — А у тебя веночек из одних незабудок. Это добрая примета.

— Почему?

— Значит, не забудешь, кого любишь.

Тухтар не выпускал венка из рук, и к ним часто прикасались тонкие легкие пальцы Сэлиме. Ему показалось, что свой веночек девушка плела гораздо быстрее...

Дали обволакивала вечерняя синева. В буераках за клубился туман. Робко замерцала первая звездочка. От реки потянуло прохладой, пахнуло тиной, камышами.

— Что ж это мы рассиживаемся? Опоздаем ведь на хоровод! — забеспокоилась Елиса. — Когда же ты закончишь? Он без тебя давно бы сплел. Нашлась помощница!

— Не волнуйся, успеем. Мы напрямик пойдём. И Тухтара возьмем с собой.

— Нет, я вас только провожу. А потом домой. Куда же мне со своим узелком тащиться?

— Занесем к нам, после зайдешь. Хочешь обмануть как в прошлый раз? Не выйдет! Пообещал прийти на хоровод — и не явился. Никуда сегодня не отпущу.

В этот вечер Тухтар впервые веселился вместе со всеми. Рядом с Сэлиме он чувствовал себя легко и уверенно. Только петь не осмелился, повторял песню про себя. Особенно приятно было держать Сэлиме за руку. Маленькая теплая ладонь девушки порой вздрагивала, будто птенец, и этот трепет волновал сердце, переполнял его нежностью.

Расходиться начали после первых петухов. Девушки шли впереди, вслед за ними шумной ватагой шагали парни. Перебрасывались шутками, то и дело раздавался смех.

Тухтар, Сэлиме и Елиса дошли вместе со всеми до дома Шеркея и остановились под развесистым тенистым вязом. Елиса сразу же распрощалась. Тухтар и Сэлиме присели на скамейку.

Тихонько шелестели листья, издали доносилось пение. Изредка вскрикивала какая-то ночная птица. От платья и во-

лос девушки веяло запахом луговых цветов. Тухтар вспомнил, что Сэлиме унесла его венки домой, хотя по обычаю венки снимают, когда входят в деревню, и вешают на колья оград.

— Да, Тухтар, мы совсем забыли про твои вещи, — нарушила молчание Сэлиме. — Подожди минутку, я принесу их.

Она встала и вошла во двор. Вскоре вернулась. Тухтар еще издали слышал ее легкие, почти бесшумные шаги, нежный шелест платья. В руках Сэлиме был не один сверток, а два.

— Что это?

— Подарок от меня. Разве ты забыл? Вчера только закончила. Бери же.

— Спасибо, Сэлиме, спасибо. — Он хотел развернуть платок, в котором лежал подарок, но девушка не позволила. — Не надо сейчас. Придешь домой — посмотришь. Если не понравится, то верни. Только в мои руки отдай, чтобы никто не видел. Ладно?

— Вот придумала! Как же мне может не понравиться твой подарок?

— Мало ли что... А сейчас не рассматривай. Увидит кто-нибудь — неудобно будет...

Прижав свертки к груди, Тухтар молча смотрел в лицо Сэлиме. Он так много хотел сказать ей...

Молчала и Сэлиме. Она догадывалась, о чем хотел сказать ей парень, и ей очень хотелось услышать эти слова. Но минута проходила за минутой, а Тухтар все молчал. Сэлиме это и огорчало и радовало: ей нравилась скромность парня.

— Ну что же, Тухтар... Пора домой. Поздно уже. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, Сэлиме. Но только не хочется мне, чтобы ты уходила.

— Почему же не хочется?

— Почему?... И сам не знаю. Так бы до утра и простоял. И утром бы тоже не ушел...

— И не знаешь, почему так?

— Нет.

— А я знаю.

— Ничего ты не знаешь.

— Сказать?

Он не ответил.

Сэлиме приблизила лицо к его лицу, в одно дыхание прошептала:

— Ты любишь меня. Не правда разве?

Тухтар опустил голову.

— Что же ты молчишь? Ну так слушай меня тогда. Я тоже люблю тебя. Люблю всем сердцем. Люблю. Вот и все. А теперь иди.

Сэлиме резко повернулась и вбежала в ворота. Заскрипели под частыми шагами рассохшиеся ступени крыльца. Дверь резко распахнулась... и медленно-медленно притворилась.

Тухтар порывисто вздохнул всей грудью, словно перед прыжком в воду. «Сэлиме», — хотелось ему крикнуть громко-громко, но он не решился на это и только несколько раз еле слышно прошептал имя девушки.

Не двигаясь с места, Тухтар долго смотрел на дверь, ему казалось, что она вот-вот откроется и из нее выбежит Сэлиме. А вдруг Сэлиме обиделась на его молчание? Если бы он первый решился сказать о своей любви. Но разве он мог надеяться! И сейчас еще не верится, что слышал от нее такие слова. Словно все это ему приснилось.

Тихонько загремел дверной засов, но дверь не открылась. Тухтар догадался, что ее только сейчас запирают. Значит, Сэлиме все это время была в сенях.

Тухтар постоял еще несколько минут и зашагал по залитой трепещущим лунным светом улице. С лица юноши не сходила улыбка. Поглядывая на щедро усыпанное звездным бисером небо, он повторял про себя все, что говорила ему Сэлиме. Старался точно вспомнить, как было произнесено то или иное слово, какое выражение лица было у нее в то мгновение, как смотрели глаза, как двигались губы.

Занятый своими мыслями, он и не заметил, как добрался до дома. Неказисто выглядела его хибарка, но сегодня она показалась Тухтару уютной, приветливой. У других и голову приклонить негде. Всю жизнь под чужой крышей спят. А у Тухтара какой-никакой, а собственный дом. И может, будет он жить в нем вместе с Сэлиме.

Силы и здоровье есть, лентяем он никогда не был, будет трудиться и обзаведется хозяйством. Купит лошадь, корову. Глядишь, и овечки заблеют в хлеву, куры закудахчут. А вокруг дома зацветут яблони. Несколько штук он уже посадил. Хорошо

принялись. Ребятишки любят яблоки, вот и будут похрустывать. Дети, конечно, будут похожи на Сэлиме... Заживет еще Тухтар, заживет! Все у него впереди, только вышел он на дорогу. Нет, не ошибся, видать, старик Тимма, предсказывая Тухтару счастливое будущее. Разве не счастье это, что Тухтара полюбила Сэлиме? Большого и быть не может.

Тишину нарушили петушинные крики. Близился рассвет. Но уходить не хотелось. Размечтавшийся Тухтар присел на скамейку и развернул узел с подарками. Сэлиме сшила для Тухтара рубашку. Белую-белую, из тонкого льняного полотна. Воротник и рукава украсила вышивкой. Узоры такие яркие и нарядные. Только руки Сэлиме могли сделать этакое чудо. И это Тухтару на память, чтобы никогда не забывал. Так сказала Сэлиме. Вот смешная! Как же он ее забудет, если она тут, в его сердце?

Всю жизнь свою отдаст он Сэлиме. Все смотрят на Тухтара свысока, а Сэлиме полюбила его, не побоялась, что он безродный бедняк. Нет, теперь он уже не сирота. Рядом с ним родная душа. И он сумеет отблагодарить ее.

Нет, Сэлиме, не пожалеешь ты, что полюбила Тухтара. Не пожалеешь.

15. Милые сердцу слова

После праздника синзе Тухтар и Сэлиме встречались каждый день. Они были вместе каждую свободную минуту. Но сколько бы времени влюбленные ни проводили наедине, им все казалось мало. Идя со свидания, они уже мечтали о следующем. Сэлиме всегда старалась заняться таким делом, в котором ей обязательно потребуется помощь Тухтара, а он находил причину почаще заходить к Шеркею и оставаться в его доме подольше. Разве это не счастье — перемолвиться словом, встретиться украдкой взглядами?..

Сайде быстро обо всем догадалась, но не показывала виду. Шеркей, занятый своими заботами, ничего не подозревал. Да и не могло ему прийти в голову, что его дочь, признанная всеми красавица Сэлиме, на которую даже сама жена Каньдюка не налюбуется, — и вдруг полюбит батрака!..

Тухтар полюбил Сэлиме давно. Поняв это, он постарался заглушить чувство, но ничего не получалось. Чем больше усилий прилагал Тухтар, чтобы погасить любовь, тем ярче она

разгоралась. В конце концов Тухтар понял бесполезность своих стараний и заботился только о том, чтобы невзначай не выдать себя. Но и в этом его постигла неудача: Сэлиме почувствовала, что таит он в душе.

С Сэлиме Тухтар был ласков и нежен. Она отвечала ему тем же. Девушке хотелось, чтобы любимый в полной мере получил то, в чем ему до сих пор отказывала жизнь.

И Тухтар менялся с каждым днем. Раньше он ходил как-то бочком, словно боялся помешать кому-то, голову втягивал в плечи, будто все время ожидал удара. Теперь в его походке появилась уверенность. Плечи расправились, взгляд стал смелей. Тухтар уже не робел в кругу своих сверстников, не считал себя хуже их...

Но теперь душа Тухтара переполнена мечтами. Все чаще стал задумываться он над тем, как изменить свою жизнь, что сделать для поправки хозяйства.

Сэлиме получила в подарок от Тухтара сундук. Тухтар смастерил его из еловых досок. Отбирал прямослойные, без единого сучочка, звонкие — хоть скрипку делай. Подогнал доски плотно-плотно — сколько ни разглядывай, все равно не заметишь, где они соединены. Покрыл сундук искусной резьбой, покрасил березовым отваром. Славная вещь получилась — глаз не оторвешь. Да и не удивительно это: все свое старание и умение вложил в работу, всю душу ей отдал.

Сэлиме даже ахнула, увидев подарок.

— Ой, господи! Никогда такого не видала. Как игрушка! Вот хорошо ты придумал, теперь у нас будет куда вещи складывать. — Она покраснела и лукаво взглянула на Тухтара...

Началась страда. Побитую градом рожь скосили и сгребли быстро. Не потребовал большого труда и загон, где посевы уцелели, был он совсем крохотным. Пока Тимрук с Ильясом возили снопы, Тухтар и Сэлиме вместе с другими парнями и девушками ходили жать по найму к богатым хозяевам. Работали с восхода дотемна, тело гудело от усталости, но влюбленные были счастливы: ведь они целый день не разлучались.

Однажды вечером, возвращаясь с поля, они, как всегда, задержались у дома Тухтара, никак не могли распрощаться.

— Сэлиме, — неуверенно сказал парень после короткого раздумья. — Ты бы поговорила с матерью, а? Чего же тянуть?

Она нежно взглянула на него и согласно кивнула головой.
— Мама-то, я знаю, не будет против. — Сэлиме погладила Тухтара по плечу. — А вот с отцом и не знаю, как быть?

Они задумались.

— Мы завтра Элендею помогать пойдем, может, его попросишь, чтоб уговорил отца? — посоветовал Тухтар.

— Ой, правда! — обрадовалась Сэлиме. — Он меня очень любит. И ты ему по душе, всегда тебя хвалит. Только, знаешь, неловко мне как-то говорить с ним об этом, стыдно.

— Осмелюсь уж как-нибудь. Ладно? Ведь только раз в жизни бывает такое. Соберись с духом.

— Пстой, пстой, придумала! Я поговорю с мамой, а она — с дядей! И все уладится!..

...Отца в избе не было. Сайде покормила дочь ужином. Пора было ложиться, но Сэлиме захотелось рассказать матери о том, как прошел день.

— А как же. Не богачи мы были. «Иди, — скажет, бывало, мать, бабушка твоя. — На платок хоть заработаешь». Ну, и отправляемся мы с братом, с дядей Педюком. Неделями не возвращались с чужих полей.

— С папой ты, наверно, там и встретишься?

— Нет. Мы в разных деревнях жили.

— А как же вы познакомились?

Мать засмеялась:

— Очень просто, доченька, когда вышла замуж, тогда и познакомилась.

— Как же так? Ни разу не видела человека — и вдруг стала с ним жить? — продолжала расспрашивать Сэлиме, хотя ей давно было известно, как выходила мать замуж.

— Родители за меня видели. Да и теперь так часто бывает. Парень с девушкой ничего не ведают, а об их свадьбе уже договорились. Свахи да сваты к нам отовсюду ездили. Каждый своего жениха расхваливал: и такой он, и этакий, и разэтакий. Но моему отцу больше всех понравился Шеркей. Вот и живем с тех пор. Стерпится — слюбится. Так говорят. Слыхала, наверно, эту поговорку?

— Слыхала. Но я бы ни за что не согласилась выйти так замуж.

— Э, милая, я тоже так думала... Да... — Сайде безнадежно махнула рукой, вздохнула.

— А я все равно выйду только за того, кто сердцу мил. Нелюбимого ни на шаг к себе не подпущу. Умру лучше.

Мать пристально взглянула на дочь.

— А кто же это мил твоему сердцу? Не Тухтар ли? — спросила она не то серьезно, не то в шутку.

Сэлиме промолчала.

Сайде повторила свой вопрос. Голос матери звучал ободряюще, и Сэлиме решилась:

— Ты ведь сама говорила, что он неплохой человек.

— Да я и не собираюсь корить его, доченька. Вижу я все. И думается мне, что жили бы вы с ним ладно, душа в душу. Но вот... — Сайде печально взглянула на дочь.

— Чего же ты замолчала? Договаривай.

— Боюсь, отец не согласится.

— Но ведь ты еще не говорила с ним.

— Страшно подходить к нему, доченька. Ходит сам не свой. То радуется неведомо чему, то чернее тучи станет. Сегодня чуть не целый день сидел все на лавке да вздыхал. Спросила, не заболел ли. Встал и ушел к соседям, только дверью хлопнул.

— Да, странный он стал в последнее время, — согласилась Сэлиме. — Сама не пойму, что с ним такое. Как-то убирала я посуду после обеда. Он еще за столом сидел. Глядел, глядел на меня да как стукнет изо всей силы кулаком себя по колену, и ушел сразу. Мне даже показалось, что слезы у него на глазах были.

— Заботы его, видать, замучили. Истерзался он. Дом собирается новый ставить. Обещались ему денег одолжить... Потерпи, милая... Не век же он таким будет — отойдет, успокоится. Тогда и поговорю с ним. Потерпи.

— А не лучше ли тебе сначала с дядей Элендеем поговорить? Отец, пожалуй, лучше его послушает.

Мать ответила не сразу. Задумалась, поглаживая шершавой ладонью лежащую на столе руку дочери. Потом взглянула Сэлиме в глаза.

— Не спеши, доченька. Молода ты еще, совсем девочка. Не торопись.

— Я и не тороплюсь. Просто мне хочется, чтобы ты знала обо всем. Вот и сказала я тебе.

Мать улыбнулась:

— Или ты думаешь, что слепая я?

— Ну так поговоришь?

— Вот тебе на! А только сказала, будто не спешишь! — уклонилась Сайде от прямого ответа.

На этом разговор закончился. Сэлиме так и не услышала ничего определенного. Лежа в постели, девушка долго гадала, выполнит или не выполнит мать ее просьбу.

Сайде в эту ночь так и не сомкнула глаз. Думы о судьбе дочери отгоняли сон. К утру она твердо решила поговорить с деверем и сделать это немедленно.

24. Отец и дочь

Долго заставил помнить о себе Элендей Урнашку. С той памятной ночи подручный Нямася так и не оправился. Каньдюки перестали доверять ему даже охрану лавки. Но он не уразумел этого и по-прежнему каждую ночь бродил около нее. Походка его стала еще более уродливой. Он шагал, сильно сгибая колени, точно приплясывал, руки болтались как плети, голова раскачивалась во все стороны, будто держалась на веревке. В разговоре тоже непорядок. То Урнашка говорит все к месту, а то понесет такое, что люди только диву даются.

Обозлившийся на Элендея Нямась подумывал о мести, но пока ничего не предпринимал. Не такой человек Элендей, чтобы легко дал себя обидеть. А Нямась был из тех людей, кто молодец среди овец, но на молодца — сам овца. К тому же после похищения Сэлиме односельчане стали поглядывать на Каньдюков особенно косо. Время же было неспокойное. Урядник как-то рассказывал, что даже в самом Петербурге бунтовали рабочие, а русские крестьяне частенько подпускали богачам красных петухов...

Весна взялась за свое дело дружно. Дни стояли один к одному — ясные, лучистые. В воздухе носился томный, волнующий запах почек. Зачернели бугры и быстро подернулись зеленью. Наперебой заливались скворцы...

В такое время, когда все в мире оживает, обновляется, готовится к цветению, только бы радоваться человеку, но на сердце у Шеркея было неспокойно. Никак не успевал он с делами. Только две руки у него, а работы — не перечесть, не измеришь. За домом смотри, скотину накорми, пахать,

боронить надо, сеять. А полевые работы проволочки не любят, весенний день год кормит. Шеркей купил десять загонов земли, но как обработать их? Покряхтел, пожался — и скрепя сердце нанял мижеров из соседского аула.

Не любил Шеркей развязывать свой гашник, но приходилось. «Уходят, уходят денежки... Как водичка, как водичка меж пальцев убегают», — вздыхал он, размышляя о хозяйственных делах. Успокаивал себя лишь тем, что хлеба теперь у него будет невпроворот, хоть пруд пруди.

Пытался Шеркей подыскать постоянного батрака, но такого трудолюбивого и безответного, как Тухтар, конечно, найти не смог. Люди говорили, что Тухтар теперь работает у Элендея и собирается скоро зажечь самостоятельно. Теперь его уж ничем не заманишь.

Элендей на брата и смотреть не хотел, когда доводилось ему проходить мимо дома Шеркея, он плевался и отворачивался. Но Шеркей был уверен, что Элендей сам придет к нему. Как только подведет брюхо, так сразу и поклонится, на коленях еще приползет. Вот тогда и рассчитается Шеркей за пощечины.

Самая тяжелая работа ложилась теперь на плечи Тимрука. Сын оказался молодцом, настоящим хозяином. Неизвестно, когда он ест, когда спит.

По дому хлопотала Утя. Но с нынешнего дня Шеркей решил доверять ей только уборку избы и дойку коровы. А кашеварить он будет сам...

...Сильный стук в окно прервал его размышления.

— Кого еще несет? Ходят все, ходят... Обувку бы хоть пожалели...

Стук повторился.

Глянул в окно и сразу заулыбался: пришла дочь Каньдюка Кемельби.

Сват и сватья просили зайти. Давно собирался навеститься к ним Шеркей, но как-то все времени не было. Чего стоило только подходящую землю купить! Всю округу обрыскал. Когда тут по гостям расхаживать — вздохнуть хорошенько и то некогда. Теперь же полегче малость стало, посвободней — можно и родственников навестить. Интересно, какой стала Сэлиме? Как барыня, наверно, живет. Кто бы мог подумать, что выпадет ей такой жребий!

Вот оно, знакомое крыльцо, начищенная до слепящего блеска медная дверная ручка. Вспомнилось, как он впервые поднимался по этим ступеням. Робел, дрожал, колени подламывались. А сейчас вот идет как ни в чем не бывало, точно в свой дом. Друзья здесь живут, свои, родственники.

Хозяин встретил у порога.

— Хорошо, что пришел. Да, — проговорил он глухим баском.

Шеркея поглядел в лицо Кандюка и насторожился. Хмуро смотрел сват, брови насупленные, глаза голодные. Сватья встретила тоже не ахти как ласково. Буркнула что-то под нос и отвернулась.

Сердце Шеркея замерло, охваченное недобрым предчувствием. Уверенности, с которой он входил в дом, как не бывало.

— Вот что, братец, надо тебе самому поговорить с ней, — продолжал Кандюк повелительным тоном, не пригласив Шеркея даже сесть. — Да. Самому. Ты родной отец. Поговори. И покруче. Сколько можно канитель тянуть? Чего же противится она? Иль калым не заплачен? Или мал он? А? Напомни ей про это.

— Что-то не возьму, не возьму я в голову, дорогой сват, о чем, о чем толкуешь ты. Прости уж мою недогадливость. — Глаза Шеркея смотрели недоуменно, бесхитростно, хотя он давно смекнул, в чем дело, и напряженно думал о том, как вести себя, чтобы не попасть впросак.

— Противится дочь твоя. Не подпускает к себе мужа. Извелся Нямась. Искусала всего, исцарапала. Да... Сегодня в Бунинск уехал он. Стыдно, говорит, по деревне ходить. Сплошь синяки кровавые.

Шеркея снова промямлил что-то невразумительное.

— Не годится с нами так поступать. Понял? Не выйдет.

Шеркея уловил в голосе Кандюка угрозу, вспомнил его намек на уплаченный даром калым и мгновенно все уразумел.

— Вот оно, оказывается, какие дела, какие дела... А я-то считал, что давным-давно они живут...

— Не приведи господь жить так. Хуже, чем кошка с собакой. Кемельби! Позови ее. Пусть придет. Скажи, что отец здесь.

Дочь пошла за Сэлиме...

Вернулась Кемельби:

— Не идет она.

— Ты про отца-то сказала ей?

— Не без памяти. И к самому царю, говорит, не пойду. А если отец, мол, пришел, то пусть сам явится. Договоришься с такой. Ишь, как понимает о себе! Почистище барыни.

— Ну, сват, теперь дело за тобой. Иди. Да не жуй жвачку, а постройте. Да.

— Тогда проводите. Постараюсь, постараюсь... Кого же ей еще слушать, кого...

Каньдюк вспомнил что-то и придержал Шеркея за рукав:

— Чуть не забыл. Мы тут пораскинули мозгами и решили не говорить ей про сватью-то, что того она... умерла. Зачем понапрасну печалить? Да.

— Ладно, ладно. Вам видней.

Прошли в заднюю избу. К двери комнаты, где жила Сэлиме, вели три ступеньки. Каньдюк пропустил Шеркея вперед, шепнул:

— Постучись-ка один. Вроде нет меня здесь.

Шеркей подошел к двери, прислушался, несколько раз тихо ударил согнутым пальцем по доске. Глубоко вздохнул, открыл рот, но не смог произнести ни звука. Постучал еще раз порешительней. Снова вздохнул и, стараясь говорить как можно спокойнее, с волнением произнес:

— Открой-ка, открой-ка, Сэлиме. Я это... Спишь, что ли?

— Папа?

Шеркей хотел ответить, но не смог, слова застряли в груди. Он отступил на шаг, большие узловатые пальцы слегка вздрагивали.

— Папа? Это ты? Что же ты молчишь? Отвечай!

Он весь напрягся и с трудом выдавил:

— Я, дочка, я, родная...

Толкнул дверь. Она не поддалась.

— Так и сидит все время запершись, — прошептал Каньдюк.

— Ты один? Только тебя впущу.

Каньдюк испуганно вытаращил глаза, застыл. Рот прикрыл ладонью. Потом на цыпочках вышел.

Несколько минут прошло в молчании. Наконец дверь открылась.

Шеркей стал боком, просунул в щель голову, выдохнул, выжал из груди весь без остатка воздух, втянул живот, поднатужился и кое-как ухитрился протиснуться в комнату.

В ней стоял зловещий полумрак. Давяще нависал почерневший от сырости и копоти потолок. В глубине комнаты чадил коптилка. В ее свете вздрагивала тень человека. Нет, не тень, это была сама Сэлиме.

Она заперла дверь и только тогда бросилась к отцу:

— Наконец-то! Отыскали!

Закрыла лицо руками, забилась в беззвучных рыданиях. Отец старался ее успокоить:

— Подожди-ка, дочка, подожди... Не надо, не нужно плакать...

Голос его дрожал, срывался. Еле сдерживая подступающие слезы, Шеркей взял дочь за плечи, притянул к себе поближе.

— Тихо, тихо говори! — предупредила она. — Они тут все время подслушивают, ходят. А я не хочу их тешить. Не хочу. И втихомолку все, втихомолку... А плачу и днем и ночью. Откуда только слезы берутся, откуда? Глаза все выжгли. Но никто меня не слышит. Никто. Научилась, я так научилась... — Шепот оборвался, потом опять послышался голос Сэлиме: — А вы-то сколько выстрадали! Истерзались, бедные! Ведь сколько времени не знали, где я. Еще бы немного и не дождалась я, ушла бы навсегда. В сырую землю ушла бы... — Лицо Сэлиме перекосилось, губы задрожали, она снова заплакала.

— Дочка...

— Сколько я вынесла тут мук! И сказать нельзя... Что стало со мной, что стало... — Она сдернула с головы шелковый розовый платок. — Гляди!

Шеркей отшатнулся.

— Сэ-ли-ме... Что это? Ты побелила их, побелила? — Его руки недоверчиво коснулись ее волос. — Ведь как снег они у тебя. Самый первый снег. — Дрожащие пальцы отца перебирали сплошь поседевшие волосы дочери.

Наконец Шеркей одернул руки и со стороны начал пятиться. Наткнувшись на стоявшую у стенки кровать, сел. Отводя глаза от лица дочери, проговорил:

— Как ты похудела! Ведь одни глаза остались, одни глаза. Совсем себя не жалеешь, не жалеешь...

— Кто? Я себя не жалею? — Плотнo окутывая голову платком, она кивнула в сторону двери: — Вот кто меня не жалеет. Там мои палачи. Как-то Нямасть с Урнашкой ворвались. Запор сломали. Насмерть билась я. Вережками скручивали. Вот! — Сэлиме засучила рукав. На тоненькой руке синели набухшие синие рубцы. — И везде такие. Везде. Не сочтешь всех моих ран. Смертным боем били. До потери сознания. За что? Какая моя вина? Хотят заставить жить с Нямаем. Не буду я его женой. В землю мне легче уйти, чем это. Десять раз смерть принять и то лучше... Расстроила я тебя? Успокойся. Теперь все кончилось... А как мама? Во сне я ее все вижу. Будто я маленькая, ходить только учусь, а она все манит к себе, манит... А братишка как? Ильяс, наверно, уже книги читает? Вот приду и меня научит.

Что может сказать Шеркей? Кругом идет голова, путаются мысли, в глазах туман, в горле ком. Убежать бы, спрятаться. Сжал руками голову, застонал, задвигал острым кадыком.

— Хватит, папа, хватит. Не смотри на меня. Ведь от радости плачу. Сколько ждала я этого часа! Теперь отмучилась. Успокойся, и пойдём.

— Сэлиме, — прохрипел Шеркей, не поднимая головы. — Видишь ли, видишь ли... Ты слушай, слушай... Лошадь теперь у нас вторая, лошадь... Они привели. И корову тоже... ведерную. Санки вместе с лошадей, сбруя... Да еще сто рублей... Вот какие дела, вот...

Дочь не поняла, о чем говорил отец. Ей подумалось, что он просто рассказывает о том, как сейчас живет семья.

— Папа, а где Тухтар? — чуть слышно спросила она. — Вернулся он в деревню?

— Тухтар? Шеркей скорбно вздохнул и еще ниже опустил голову.

Сэлиме почувствовала недоброе, порывисто подалась к нему.

— Поехал он в прошлый понедельник на базар в Убеи, да на обратном пути взял и свалился вместе с возом с Куржанковского моста. Да... Умер он. На другой же день схоронили мы его. Да будет земля ему пухом! Отмучился, бедняга, отстрадался, сиротинушка, отстрадался.

Шеркей сам испугался этой лжи и невольно поежился.

— Что ты говоришь! Не может этого быть! — затряслась всем телом Сэлиме.

— Нет, доченька, в этом нет ничего удивительного. Смерть-то она за плечами у каждого. Никто не минует ее. И неужели ты думаешь, что родной отец совет тебе? Так ты уж, родненькая, смирись. Не ропщи, не ропщи. Люблю я тебя, добра желаю. Иль не человек Нямась-то? А что вдовец он, так в этом ничего зазорного нету. И ты бы, и ты бы вдовой сейчас осталась, если бы за Тухтара замуж вышла. Но бог миловал, миловал. И он отмаялся. Отдохнет теперь.

«Значит, отец пришел не спасать меня, а уговаривать, — мелькнуло в голове Сэлиме. — Постой, а что он говорил перед этим? О корове, деньгах, лошадях, санках... Да ведь это калым, калым! Как я сразу не догадалась! Санки, санки... Но сейчас весна, сухо. Значит, еще зимой продали меня отец с матерью. А я-то ждала от них помощи, спасения... И мать обманывала: Тухтара защищала, а за спиной... Как она могла!»

— Повтори, повтори, что ты сказал, отец!

— Согласись, говорю, жить с Нямасем. Не мучай себя. Ведь больно мне видеть тебя такой. Больно. Родная дочь ты мне.

— Значит, и ты пришел измываться надо мной? А я-то обрадовалась... Пусть мама придет, скажи ей, передай мою просьбу. Иль она тоже не сжалится? Тогда хоть попросаемся. Пусть все равно придет.

Шеркей медленно поднялся с кровати.

— Что же ты молчишь? Что с мамой?

— Не придет она к тебе, дочка. Никогда не придет. Воля Пюлеха на то. В прошлое полнолуние сороковой день отметили. Сороковой уже...

Сэлиме закрыла глаза, прижала руки к груди.

— Да, скончалась мать, умерла. Рядом с твоим дедушкой положили ее ... Так ты уж смирись, дочка. Не перечь мужу. А?

Шеркей не заметил, как пошатнулась дочь, не успел подхватить ее — Сэлиме рухнула на пол...

Упал, как подкошенный, перед ней на колени, зашептал:

— Сэлиме, доченька, кровинка моя...

Она не пошевелилась.

Не зная, что делать, заметался по избе, опрокинул прятку,

повалил какие-то вещи, бросился к двери. Рванул за скобу, но открыть не смог. Вспомнил, что дочь заперлась. Но где же засов? Скобы были стянуты скрученным в жгут фартуком. Узел намочен. Впился в материю ногтями, потом зубами. Кое-как развязал. По лицу струился пот, колени подгибались. Зацепился за порог, упал:

— Сват! Сватья! Кто там есть! Скорее!

Голоса своего не услышал. Поднялся, набрал побольше воздуха, закричал что есть мочи. Без слов, точнее — завыл.

Наконец из передней избы вышел Каньдюк, за ним выползла Алимe.

— Что? Согласилась?

— И не говори, не говори, сват...

— Нет? А чего же тогда горло дерешь?

— Упала она. Без памяти. Голова под столом. Боюсь, не умерла ли...

— «Под столом, под столом!» — передразнил Каньдюк. — Не умирают от этого, если башка под столом. Поколоти хорошенько. В один миг очухается.

— Помолчи уж лучше! — оборвала его старуха. — Может, правда, при смерти, а ты знай свое долдонишь: поколотить, поколотить. Всю жизнь у тебя одно лишь на уме.

Вошли в комнату. Сватья сразу же наклонилась над Сэлиме, положила ей на грудь ладонь, прислушалась к дыханию, пощупала пульс. Наконец облегченно вздохнула:

— Дышит.

— Да говорил же я, ничего ей не сделается. Женщины они, как кошки, живучие. Да, да.

Шеркей с Каньдюком перенесли Сэлиме на кровать. Старуха расстегнула невестке ворот платья.

— Ой, в крови она! — испуганно вскрикнула Алимe.

— Ишь, задрожала! Из носу это. Иль не видишь? Умница! — оскалился на жену Каньдюк.

— Боже мой! Ведь она седая вся! — ахала сватья, сняв с Сэлиме платок. — Белей меня. Когда же она успела? Иль от роду так было?

Мужчины промолчали.

— Опять околели? Намочите какую-нибудь тряпку да дайте мне. На лоб ей положу.

Шеркей взял со стола чашку. Пустая, подошел к двери,

заглянул в ведро. Ни капельки. Подскочил Каньдюк, схватил стоявший рядом ковш, злобно сунул его в руки жене.

— Тряпку, тряпку давайте. Наказание мне с вами. Чисто пеньки безмозглые. И ведь целый век прожила с таким! Каково это!

Алиме явно мстила мужу за давешний разговор.

Обшарили всю комнату, но тряпки не нашли. Сорвать со скобы фартук не догадались.

— Век вас не дожدهшься! — И Алиме плеснула на лицо девушки прямо из кувшина. В нем оказалось немного кислого молока.

Старуха взбеленилась пуше прежнего:

— Воды ведь просила, ироды! А вы мне что подсунули? Она этак каждый день будет падать, а мы, значит, молоком ее поливай. Не надоишь столько! — фыркала она, размазывая по лбу Сэлиме кислое молоко.

Сэлиме тихонько вздрогнула.

— Ну вот! Говорил же я, что молоко полезнее! — самодовольно пробормотал Каньдюк.

Девушка несколько раз порывисто вздохнула, потом дыхание ее стало ровным. Медленно открыла глаза, обвела недоуменным взглядом потолок, стены.

Алиме концом фартука стерла с ее лица молоко.

— Полежи, сношенька, отдохни. Усни покрепче.

Сэлиме оперлась на острые локотки, со стоном приподнялась, села. Еще раз осмотревшись, спросила:

— А разве я не спала? — Взгляд ее остановился на отце, и она сразу все припомнила. — Собрались? Все собрались? Стоите, любуетесь, как я мучаюсь? А главный палач — в середине! Отец родной — и палач! Уходи! Все уходите! Ой, маменька моя. И Тухтара нет! Не-ет!

— Да что ты, сношенька! Ухаживать мы за тобой пришли сюда. Как за птичкой дивной заморской ухаживать.

— Да, да! — Шеркей утвердительно кивнул головой.

— Конечно, птичка я. Птичка! — Сэлиме спрыгнула с кровати, выпрямилась. Один конец ее платка свесился на грудь, другой — перекинулся за плечо. — Вон какую клеточку для меня построили. Медведь не вырвется. — Она стремительно подошла к двери: — Пойдите, я сейчас.

Никто не осмелился ее задержать.

На дворе заливисто залаяли собаки. Послышались женские крики:

— Алиме!

— Хозяйка!

Старуха выбежала во двор:

— Что вам? Чего развопились?

— Сноха ваша побежала куда-то!

Вышли Каньдюк и Шеркей, осмотрелись, выскочили на улицу. Сэлиме нигде не было.

— Она с Сэрби столкнулась в дверях, — объяснила одна из батрачек.

Позвали Сэрби, стали расспрашивать.

— А кто ее знает, куда она побежала. Напугала меня до смерти. Голова вся мелом выпачкана. Воду я несла — всю пролила. Ногой ваша сношенька зацепила за ведро. И сейчас не отожмусь никак.

— Опозорила, опозорила! — захныкала Алиме. — Срам, срам на всю деревню!

— Отходила, вылечила на свою голову, дуреха! И так бы не околела! — скрипнул зубами Каньдюк.

Шеркей молчал. Глаза его остекленели. Все происшедшее казалось ему кошмарным сном.

27. Судьба

— Тухтар!

— А?

Он приподнялся, огляделся. Впереди огромное зеркало озера, за спиной пустынный берег. Кто же окликнул? Голос точно как у Сэлиме. Нет, ее уже больше не услышишь. Только в памяти явственно звучит все, что она когда-то говорила ему. Какие ласковые, нежные слова слышал Тухтар от нее, сколько счастья и радости приносили они ему! А сейчас каждое из этих слов вонзается в сердце, как нож. И чем нежней оно, тем глубже ранит...

Вокруг печально притихли несколько молоденьких дубков. Под этим холмиком лежит Сэлиме.

Самоубийцу не разрешили хоронить на кладбище, и она нашла последний приют в том месте, где распрощалась с жизнью, — на берегу реки.

Хоронило Сэлиме все село. Только из семейства Каньдюков никого не было.

Элендей сделал гроб. Тухтару велел выстрогать высокий дубовый столб и покрасить его сажей, разведенной в кипящем масле, смешанном с клеем. Сделал ли это Тухтар, он точно не помнит. Кажется, сделал. Ему помнится только, как на гроб положили крышку и начали вбивать гвозди. До сих пор еще ударяет по сердцу стук молотка.

Когда Миша вытащил Сэлиме, Тухтар закричал и, не умолкая, побежал куда глаза глядят. Разыскал его в Сен-Брской долине старый кузнец. Силком приволок к себе домой.

Возвращавшиеся с похорон женщины и девушки долго не могли успокоиться, плакали, причитали. Надрывные вопли и крики слились воедино, и над деревней был сплошной печальный стон.

Шеркей слезинки не проронил, только качал головой и мычал.

Тухтара душили слезы. Но, верный обычной привычке не выдавать своих чувств посторонним, он кое-как сдерживался. Когда все разошлись, он повалился рядом с могильным холмом, зарылся лицом в холодную комковатую глину и выплеснул на нее все скопившиеся слезы.

Сколько времени он пролежал на могиле? Наверно, долго. Его успокаивал Миша. Не то он остался с Тухтаром, не то пришел позже. Миша поднял Тухтара, повел к себе. Тухтар несколько раз вырывался, возвращался к могиле. Наконец обессилел и покорно пошел, опираясь на плечо кузнеца. Тухтару было все равно, куда идти, что делать. Его могли бы бросить в воду, и он не попытался бы выплыть, если бы начали бить, он и не подумал бы сопротивляться или даже прикрыться от ударов.

У Капкая его посадили за стол, велели поесть, и он что-то послушно жевал. Потом пришел Элендей, обрадовался, бросился обнимать. Оказывается, он разыскивал всюду Тухтара и очень беспокоился.

Что еще помнит Тухтар об этом дне? Кажется, около него хлопотала дочь кузнеца. Ну, конечно, она лила воду, когда он умывался. Даже мокрые волосы откинула ему с глаз и пригладила. Палюк был там. Уже собирался уходить. Пожал руку, сказал: «Не вешай голову. Стой на ногах крепче. Жизнь

прожить — не поле перейти». Руку пожал обеими руками. Поздно ночью Тухтар ушел с Элендеем.

И вот уже больше недели прошло. Вчера они с Мишей поставили вокруг могилы ограду, вырыли ямки для деревьев. А сегодня Элендей привез из лесу молодые березки и дубки. Осторожно вырыл их вместе с землей. Тухтар своими руками посадил дубки у самой могилы. А Миша с Элендеем вокруг ограды — березки. Когда закончили работу, Тухтар не захотел идти домой. Сказал, что отдохнет тут. Друзья оставили его с неохотой. Пока не скрылись из виду, все оглядывались...

Каждый день будет улыбаться людям солнце, а Сэлиме никогда больше не улыбнется. Каждую весну будут возвращаться в родные края птицы, а Сэлиме никогда не вернется. Будут петь по ночам соловьи, а Сэлиме никогда больше не запоет. Никогда!..

Будет теперь Сэлиме только воспоминанием, сновидением, неизбывной тоской по потерянному счастью. Вот уже начала зарастать ее могила молодой травой, а зимой засыплет могилу белый пушистый снег. И так из года в год. Все постепенно забудут Сэлиме, и только Тухтар будет навещать ее по утрам и вечерам. А потом и его не станет.

Сгушались сумерки. С лужайки, где собиралась на гулянье молодежь, долетал веселый гомон. Запел хор девушек. Песня звучала торжественно и стройно. Вдруг в ее приглушенную расстоянием мелодию вплеся одинокий мужской голос.

Кто же это поет? Совсем недалеко. Тухтар начал медленно подниматься на пригорок. Наверно, это пел приехавший в ночное Шингель. Его песня была полна какой-то невыразимой тоски, безысходной скорби. Казалось, пел не человек, а само истерзанное страданиями сердце...

Неторопливо пощипывали тощую траву кони. Невдалеке показался человек. На руке у него чапан, под которым бреччат железные конские путы, на голове — соломенная шляпа.

Шингель заговорил первым:

— Кто же это бродит тут? Кажись, ты, Тухтар?

Тухтар поздоровался.

— Что же ты, браток, один по ночам блуждаешь? Тебе вон там нужно быть. — Шингель кивнул в сторону, откуда доносилось пение. — Там твое место. И никаких разговоров.

Скомандую тебе сейчас, как солдату: «Шагом марш!» — и зашагаешь. Для твоей же пользы говорю.

Шингель был в настроении, ему где-то удалось прополоскать горло. А подвыпив, он особенно любил поболтать, мог говорить ночь напролет. Тухтар не раз мальчишкой бывал с ним в ночном...

— Ты один, дядя Шингель? — спросил Тухтар, которому не хотелось встречаться с людьми: наверняка начнут утешать, расспрашивать.

— Один, милый. Как зрак в глазу.

— А лошадей у тебя много?

— У меня! Были бы мои — тут тебе любую половину отдал и гроша бы не попросил.

— Вижу, что не твои. Кандюковские, наверно.

— В самую точку угадал. Все восемь. Беда, говорит, ему без Урнашки. На тебя, мол, Шингель, только и надежда. А вот, дескать, даром жить не будешь. Ну, а мне-то что? Даст пшеница, другой какой крупницы. Не прорвет желудок-то она. Иль не так я говорю, браток? Давай-ка посидим вместе, если на хоровод идти не желаешь. Истосковался язык без работы. Отсохнет скоро, бедняга. Заговорю с лошадьми, а они в ответ только посапывают да травкой похрустывают. Иная заржет, но все равно скучища...

Шингель развернул чапан, старательно расстелил его на траве, побряхтывая, начал усаживаться. Едва он согнул колени, как в них что-то хрустнуло, словно сучок сухой надломился...

Тухтар опустил на чапан. Жалобно постанывая и страдальчески морщась, Шингель полез в карман...

В его руке появилась бутылка.

— Вода, браток, вода, — ухмыльнулся Шингель. — Только не простая, а царская. Чудесная занимательница моя, забавушка, утешительница. Собеседница моя и соболезница. Никогда мне с ней не скучно. Как ночь ни темна, а с ней она светлей утречка вешнего. Были мы в Буинске наемни. С Нямасем. Он-то сразу, понятное дело, красотками занялся. Кровь-то играет, вон какой надулся. А меня, чтоб не скучал, он все этой водичкой подчевал. Да только не болтай никому, говорит. Ну, я и молчу, конечно, о его делах. За это он и наградил меня бутылочкой этой ясной. Вот и смачиваю глотку, когда пересохнет. Мне-то что!

Упоминание о Нямасе неприятно подействовало на Тухтара...

Шингель поднял заветную посудинку, вздернул к небу клинышек реденькой бороденки, жадно присосался к горлышку. Шляпа свалилась за спину, лоснящимся блином заблестела большая лысина. Отпив несколько глотков, перевел дух. Пожевал губами, зажмурился, будто в глаза ему ударило яркое солнце.

— Крепка, шут ее побери! Так и палит. Словно костер в животе разожгли! Обожди-ка, ведь и закусочка у меня имеется.

Он вытащил из кармана замусоленную горбушку, несколько картошек в мундире, пучок зеленого лука, тряпочку с солью.

У не евшего с самого утра Тухтара засосало под ложечкой.

— Вот и ноженьки перестали ныть, и в животе полное умиротворение. А то и бурчал, и журчал, и ворчал, и брнчал. И возился в нем кто-то. Вроде целая стая головастика там завелась, — доверительно сообщил Шингель, похрустывая зеленым луком.

Тухтар улыбнулся, покачал головой.

— Что? Заулыбался? Во какая сила в этой водице! Один выпьет, а другому уже весело. А когда сам глотнешь — и по-давно...

Тухтар вздохнул.

— О боже мой! — всполошился Шингель. — Треплю, треплю языком, а соловья ведь баснями не кормят. Когда от чистого сердца подносят ковш, то после по лбу не огреют. Вот и закусочка на тебя смотрит. Позволь пожелать тебе добра, будь здоров, браток!

Шингель почтительно протянул Тухтару бутылку. Никогда не пробовавший водки, Тухтар и сейчас не испытал желания выпить. Но, может быть, водка избавляет от тоски, исцеляет душевные раны? Кто знает? Да и отказываться бесполезно: не такой Шингель человек, чтобы сразу отвязался, прилипнет, как смола к волосам.

— Ну, что задумался? Пользуйся добром. Раз мне сгодилось, то и тебе в самый раз будет.

Сделав несколько глотков, Тухтар поперхнулся. Водка обожгла рот и горло, запылала в груди. Жадно хватая опален-

ными губами прохладный ночной воздух, Тухтар вернул бутылку хозяину.

— Эка нежный ты такой! Зажуй скорей!

Тухтар отломил маленький кусочек хлеба, очистил картофелину. Ел с наслаждением. Привычная еда казалась какой-то особенной, необыкновенно вкусной.

Шингель в это время набрал хворосту и разжег костер. Бойко заплясали языки пламени. Темнота стала еще гуще, непрогляднее.

— Получше будет вот так-то. На то и человек живет, чтобы мог для себя и для других везде удобство сделать. Запомни это, браток. Правильные слова я тебе говорю. Ой, какие верные, особенно для тех, кто стремится к жизни, — наставительно проговорил Шингель, усаживаясь на чапан...

Шингель задумчиво опустил голову.

Громко потрескивали в костре сучья, в клубах дыма огненной мошкаррой роились искры. Еле слышно шептались камыши.

— Нет, браток, — снова заговорил Шингель. — Не спасешься этим зельем. Сколько я его вылакал, а тоске моей хоть бы хны. Как червяк в сердце она. Точит, точит, сверлит, жалит...

После непродолжительной паузы он горько усмехнулся и добавил:

— Видать, не той закуской я водку зажевываю.

Помолчав еще немного, Шингель решительно повернулся к Тухтару, резко сказал:

— Не пей, парень. Молод ты. Жить тебе еще и жить! Коль подружишься с этим зельем, то и себя погубишь, и весь род свой. Попомни мои слова...

Костер догорал, угли покрывались пеплом, только иногда из самой середины высовывались маленькие синеватые язычки пламени.

Еще разок облобызав голову бутылки, Шингель, покачиваясь и тихонько бормоча, заковылял к лошадям.

Тухтар задумчиво ворошил веткой пушистую золу. С непривычки он охмелел. Но вопреки желанию и надежде тоска не ушла. Она стала острее, пронзительнее. Водка словно прояснила картины прошлого. Они возникали перед глазами, яркие и неожиданные, как вспышки молний, заставляя то и дело вздрагивать.

Что-то клейкое облепило горло, мешало глотать, вызывало тошноту.

Заржали лошади. Казалось, что они были где-то далеко-далеко.

— Ты что не возвращаешься? — спросил кто-то.

Хрипловатый голос звучал приглушенно, как будто человек говорил за толстой стеной.

— Скоро вернусь. Хочу накормить получше.

Это ответил Шингель. Он всегда говорит немножечко нараспев.

— Довольно нахватались уже.

Незнакомый голос прозвучал почти рядом.

Тухтар встряхнулся, подняв голову, увидел перед собой Нямяся.

— А тут кто? Кажись, Туймедов малый?

Тухтар рывком поднялся:

— Да. Я это.

— Вижу, что ты. А какого черта нужно тебе здесь?

— Пришел поговорить с дядей Шингелем.

Одугловатое, блестящее от пота лицо Нямяся презрительно искривилось:

— Занятно. О чем же можно говорить с такой швалью, как ты? Видать, выпивали еще. Ишь, как Шингель колыхнется! И дух от него — хоть закусывай.

— Поминки справляем. Иль не девятый день нынче?

Голова Нямяся дернулась назад, будто его ударили по лицу.

— По тебе бы тоже надо справиться.

— По каждому можно.

— Заткнись, паршивец. Чересчур на язык остер стал. Мигом притуплю.

Подошел Шингель.

— Да, помянули мы Сэлиме, — настойчиво повторил Тухтар, сам удивляясь своей неожиданной храбрости. Раньше он никогда бы не осмелился так разговаривать, тем более с Нямасем. Здорово он осадил этого мерзавца. И Шингелю теперь будет оправдание.

— Помянули, помянули бедняжку, — подхватил Шингель. — Поднес Тухтар мне, уважил. Отказывался я. Капли в ночном не беру. Таков у меня обычай. Но пристал парень, как с ножом к горлу: выпей да выпей. Вот и пришлось уступить. Не хоте-

лось обижать человека в такой день. И тебя, может, угостить. Вон она, бутылочка, стоит... Давай, дорогой хозяин, исцеляйся. Хе-хе!..

— Не повредило бы... Но не к лицу мне пить из одной бутылки с оборванцем. Я не про тебя, а про этого вот выродка...

Но бутылку он все-таки взял и начал побалтывать, прислушиваясь к соблазнительному побулькиванию. Но как ни велико было искушение, гордость переборола его: Нямась не решился выпить при Тухтаре.

— Как хочешь. Дело хозяйское, — плутовато улыбнулся Шингель. — Тогда я утречком за твоё здоровье пропущу.

В предвкушении будущего удовольствия он облизнулся, проникновенно крякнул. Нямась посмотрел на самодовольное лицо Шингеля, потом на бутылку и, шагнув к Тухтару, рявкнул:

— Ты долго тут будешь отираться, тварь несчастная? Убирайся, мразь!

Тухтар не пошевелился. По его позе и выражению лица было видно, что он готов постоять за себя. Нямась отпрянул, натолкнувшись на его взгляд.

— Не пойдет так, братцы, не пойдет! — предостерегающе крикнул Шингель.

Он сказал «братцы», но Нямась сразу почувствовал, что предупреждение относится только к нему. Шингель был явно на стороне Тухтара. А кругом тьма, безлюдье. Сердце екнуло, по спине запрыгали мурашки.

— Да я ведь так просто, шутки ради. Давайте присядем вместе и выпьем. Я не против, пустим бутылочку по кругу. А?

Не сказав ни слова, Тухтар круто повернулся и зашагал к деревне. Кулаки его были крепко сжаты.

— Забеспокоился я. Чуть ведь не схватились, — послышался за спиной голос Шингеля. — А парень-то он здоровый. Ишь как переваливается с ноги на ногу. Элендей так вышагивает, когда разозлится. Подходящий парень.

— Руки не хотелось марать. Еще встретимся! — захорохорился Нямась.

— Конечно, встретимся! — крикнул, не оборачиваясь, Тухтар. — Никуда ты от меня не уйдешь!

«Не уйдешь! Не уйдешь!» — несколько раз подтвердило эхо.

22. Встреча, какую не ждали

С мельницы этой ночью возвращался сын Савандея Терендей. Несмотря на темноту, он узнал Каньдюка. Попугчиков его разглядеть не успел, очень быстро промелькнули подводы.

Куда мог отправиться в такую пору Каньдюк? Да еще в сопровождении стольких людей. Терявшийся в догадках Терендей долго смотрел вслед странному обозу. Заметив, что он остановился в конце улицы, Терендей хотел повернуть и поехать туда, но передумал, пожалел измученную лошадь.

Странная, однако, встреча. А больше не видать никого. Да, что-то все это странно.

Когда вернулся домой, сразу же рассказал об этом загадочном происшествии отцу. Рассказал просто так, между делом. Но отец вдруг забеспокоился, начал дотошно расспрашивать.

— На четырех подводах и тарантасе поехали? А сколько же народу? Как одеты? Что на телегах нагружено?

— Да не считал я, сколько людей. Но человек двадцать наверняка наберется. Одежду не разглядел. На одной телеге громоздилось что-то большое.

— Так, — скрипнул зубами Савандей. — Достукались. Не успокоился, значит, Каньдюк бабай. Решил выполнить задуманное. Эх, проучить бы его надо! Да хорошенько! Чтобы на всю жизнь запомнил.

Сын удивился. Отец никогда не ссорился с людьми, был добродушным, покладистым, никто от него никогда резкого слова не слышал — а тут зубами скрежещет, грозитя, кулаки сжимает.

Терендею нестерпимо хотелось разузнать обо всем поподробнее, но он не посмел расспрашивать: отец не любил, когда совали нос не в свое дело.

Как только перетаскали мешки с мукой в кладовую, Савандей сразу же разбудил Эбсэлема бабая.

— Беда, сынок, — сказал тот. — Собирайся. Если не пресечем этого дела, то пропали.

Савандей засуетился. Старец торопливо спустился с полатей, надел на ноги валяные калоши, на плечи набросил легкий кафтан и взялся за посох.

— Ну, бог в помощь. Идем.

Когда они вышли на улицу, запели вторые петухи. В сере-

дине деревни защелкала деревянным языком колотушка, и снова все стихло — кругом синяя густая тишина.

Эбсэлем с сыном дошли до дома Каньдюка. Савандей поднялся на крыльцо, тихонько постучал, прислушался. В глубине сеней закрипела кровать. Потом женский голос, хрипловатый спросонья, спросил:

— Пришел, что ли, кто? Иль почудилось мне?

— Нет, не почудилось. Каньдюк бабай нам очень нужен.

— Не-ет его дома, — протяжно зевнула женщина.

— Тогда с Нямасем поговорим. Шибко спешное дело у нас.

Женщина справилась, с кем она говорит, подошла вплотную к двери, но не открыла ее.

— И Нямасы нет. — Она опять начала зевать. — Уехали на базар. И отец и сын. Если надо очень, то могу старушку разбудить.

— Не надо, — махнул рукой Савандей. — Спокойной ночи. Простите, что побеспокоили.

— На базар, значит, двинулись? — задумчиво проговорил Эбсэлем. — Выходит, что зря людей беспокоим, отдохнуть не даем.

— Сомневаюсь я в ее словах. Кто ездит на базар таким скопом? К тому же выехали они из деревни с нагорной стороны. Ведь только дураку семь верст не крюк.

— А кто же еще поехал?

— Не опознал он. Да и неважно это. Главное — двадцать человек.

— Эх, бедный, бедный Кестенюк! Уговорил, значит, его этот нечестивец. Такая лиса кого хочешь обхитрит. Самого черта объегорит, да и по-волчьи может за горло взять. С него всего станет.

Куда идти теперь, что предпринимать? Немного постояли в раздумье. Не придумав ничего стоящего, решили вернуться домой.

Савандей шагал широко и быстро, но старик, хотя и опирался на посох, не отставал. Брови его были сурово насуплены, лицо сосредоточено.

Подходя к караульной будке, снова услышали постукивание колотушки. Показался сторож. Дежурил однорукий Сянат.

— Иль приключилось что? — спросил он, почтительно поздоровавшись.

— Не спишь все, братец? — уклонился от прямого ответа Эбсэлем.

— Работа у меня такая — по ночам глаза таращить.

— Каждая работа нужна, милый.

У сторожа появилась надежда скоротать время за разговором. Он зажал под мышкой колотушку, вынул из кармана и сунул в рот резной, с затейливо выгнутым чубуком чилим. Снова полез в карман и достал щепоть табаку. Ловко набил трубку. Орудя одной рукой, он так же ловко прикурил.

— А вы что же не отдыхаете? — пыхнул Сянат клубом горького, как полынь, дыма.

— Да так просто, не спится. Кестенюк нам еще понадобился к спеху. Не знаешь ли, дома он?

— Он сейчас в Коршангах стадо пасет. Домой только изредка навевывается. Сегодня, правда, был. Но уже ушел. Чуть опоздали вы. Я еще покалякал с ним малость.

— В Коршанги отправился? Точно? Совсем недавно?

— Точней некуда. Я еще проводил его.

— А мы-то думали, что он с Каньдюком уехал, — облегченно вздохнул Эбсэлем.

Он уже хотел попрощаться со сторожем и пойти домой, но тот, желая оттянуть время, начал разговор о Каньдюках.

— Уехали они. Сам, правда, не видел, но Шингель сказывал. На нескольких подводах, говорит, тронулись. А сам-то старик на тарантасе. Но куда отправились, Шингель не знает. С ним ведь не советуются.

— Устал я что-то, — вздохнул Эбсэлем. — Присесть бы, что ли, ногам передышку дать.

— Да вон он, мой дворец, рядом, — оживился Сянат. — Конечно, отдохнуть надо. Передышка ногам обязательно нужна. По себе знаю.

Дверь «дворца» еле держалась на визгливых петлях. Потолок прогнулся. Прокопченные стены казались выкрашены масляной краской. На хромоногом столе извергала густой чад коптилка. Пахло перегретым маслом и застоявшимся табачным дымом.

Эбсэлем слегка поморщился и сел на скамейку около окошка. Сторож намеревался рассказать старику еще что-то, но, заметив, что он глубоко задумался, отошел к столу и занялся своим чилимом. Сянат при людях всегда держал трубку

на виду. Очень гордился он ею. Подумать ведь только: он, однорукий, сумел сотворить этакое чудо!

Внимательный к людям, Савандей хватал трубку при каждой встрече с Сянатом, и сейчас он подивился тонкости работы. Польщенный сторож просиял и задымил с таким усердием, что гости закашлялись. Сянат уверял каждого встречного-поперечного, что такого табака, как у него, нет во всей деревне. Он приготовлял его особым способом, который никому не выдавал, подмешивал для забористости, смака и духа какие-то листья, коренья и цветы. Некоторые шутники утверждали, что Сянат томит табак в скипидаре, но табачных дел мастер опровергал это. Сторож, несомненно, и сейчас надеялся услышать похвалу своему прославленному зелью, но даже добряку Савандею было не до похвал. Он непрестанно хмыкал и тер рукавом истекающие слезами глаза. Эбсэлему у выбитого окна было полегче, но и он порой кашлял и смешно морщился, будто его шекотали.

На улице послышались торопливые шаги. Взвизгнула дверь, и в сторожку вошел Элендей. Он разыскивал Тухтара. Побывал везде и теперь зашел сюда.

Сянат Тухтара не встречал.

Эбсэлем многозначительно переглянулся с сыном.

— Послушай, ведь если Кестенюк в Коршангах, то не Туймедова ли сына прихватили они с собой? — тихонько проговорил Савандей.

Элендей недоуменно посмотрел на него:

— Кто? Куда? Зачем прихватили?

— Да вот сидим мы, головы ломаем, не воду ли они воровать поехали...

— Воду? Да разве ее воруют? Не морочьте мне башку. Объясните, что означает ваша тарабарщина.

— Сдается нам, Элендей шоллом, что в деревне творится черное дело. Страшное дело, — весомо Каньдюк намедни советовался, как бы, мол, воду украсть. Замуж выдать ее за нашего человека. В женихи Кестенюка намечал. Я его, конечно, приструнил. А он наперекор пошел. Поехал нынче куда-то. Нямасть с ним и еще человек двадцать. Сянат говорит, что Кестенюк сейчас в Коршангах. А вот Тухтар, как ты говоришь, пропал. Ведь в самый раз он для них подходит. Именитых тронуть не решатся. Сиротку же сразу сграбастают. Чуешь, какое дело?

— Прости меня, Эбсэлем бабай, ничего я не понял. Жених, невеста... Темно в моем котелке, как в погребе в полночь.

— Видишь ли, Элендей шоллом, был в старину такой обычай, слава богу, забыли его нынче. Но вот вспомнил его на нашу беду Каньдюк. Задумал задними колесами вперед ездить. А обряд таков. Берут холостяка и женят его на деве Воде из чужого источника, чтобы переселилась она в селение мужа, где наступила засуха, и прогнала ее. Жениться этому человеку на женщине нельзя. Весь век бобылем прожить должен. Кормит, одевает, обувает этого человека деревня. Заботиться о нем, конечно, долго не придется. Короткий путь ему отмерен. Года два-три от силы. Как только проведает о женихе настоящие хозяйева воды, так сразу же утопят его. И это еще не все. Деревню его родную сожгут дотла. Выберут ночь поветренее — и подпалят. Потом соберут угли и сложат из них посреди пепелища высокий столб. И ни один человек не поселится больше на этом месте. Даже подойти побоится. Теперь ясно тебе, Элендей шоллом? Спят сейчас наши люди и ничего не знают о том, что для них уготовил Каньдюк.

Эбсэлем бабай глубоко вздохнул и горестно опустил седовласую голову. Сторожка наполнилась тягостной тишиной. Над поникшими головами, словно напоминая о неотвратимом бедствии, нависал густой табачный дым и прогорклый чад коптилки. Вдруг все вздрогнуло: раздался громкий стук. Это Сянат со злобой пустил в угол колотушку.

— Послушай, отец, — сказал Савандей. — А не собраться ли нам всем селом и посоветоваться? Как ты думаешь?

— Ты прав, так будет лучше. Одним нам с такой бедой не справиться.

— Правильно, — подтвердил Сянат. — Сойдемся все утром пораньше. Вряд ли они близко поехали. Ночью вернуться не успеют. Да и я пригляжу, от меня не утаятся. Не из таковых я.

— Так и порешим, — сказал Эбсэлем.

— А где соберемся?

— Как всегда, на сходку, у твоей сторожки. Иль не знаешь? — раздраженно подсказал Сянату Элендей.

— Да, забыл я вам сказать, — услышался голос старика. — Они прежде подъедут к озерам, чтобы вылить туда украденную воду...

Разошлись.

Разлилась бледно-желтая с белесым оттенком заря. Медленно выплыл из нее огнедышащий шар солнца. Как всегда, первые лучи его упали на верхушки тополей, вытянувшихся перед домом Кандюка.

Ширтан Имед и однорукий Сянат уже обходили сонные улицы и созывали народ на сходку.

Никогда еще сходка не собиралась так рано, к тому же приходиться велели не к сторожке, а в овраг, к кузнице. Все почувствовали: произошло что-то необычное. Зашептались, зашущукались. Поползли разные слухи, один одного удивительнее. Кто толковал, что изловили разбойника, кто — что землю будут переделывать. Но большинство сходилось на том, что приехало волостное или еще какое-нибудь начальство, а добра от этого, как известно каждому, никогда не жди...

Поляну перед кузницей захлестнул шум и гомон толпы, которая разрасталась с каждой минутой.

— Что, лавку Нямася обокрали?

— Нет. Не успели. Сянат помешал.

— Смотри ты, какой молодец. Как же это он, с одной рукой-то?

— А где разбойник? Когда привезут его?

— Сказывают, у Кандюка в сарае сидит. Или в погребе.

— Всего веревками опутали. Здоровый детина. Самого Имеду вызывали, чтобы скрутил он грабителя.

— Да не связывали его. Капкай в цепи заковал. Поэтому и велели к кузнице собираться...

Появились Имед, Сянат и Элендей.

К сторожу взъерошенным петушком подскочил староста:

— Ты сходку объявил?

— Я.

— А кто велел тебе? По какому такому полному праву? А?

— Узнаешь сейчас по какому. Не хорохорься зря.

— Почему не известил меня первым?

— Виноваты мы, прости нас, почтенный глава нашей деревни, Элюка Петяныч, — насмешливо поклонился Имед. — Будь милостив, не наказывай нас. Ведь почитаем мы тебя, бережем. Не решились потревожить твой барский сон, пусть, мол, поспит, отдохнет после трудов праведных...

Кругом засмеялись...

Имед с Элендеем подошли к Эбсэлему.

— Говорят, не вернулись еще. У слуг узнавали.

Народ все прибывал. Становилось шумней.

Со стороны Какерлей показались повозки. Первым их заметил остроглазый Шингель.

— Кто это?

— Ишь, как гонят!

— А народу-то сколько!

Повозки катились с горки прямо к деревне. Когда они въехали на луг, послышалась свадебная песня.

— Братцы! Свадьба едет!

— Ишь, как голоса!

— Народу-то сколько!

— А колокольчики, колокольчики-то заливаются!

— Чудно что-то! Из мижерского аула — а вдруг чувашская свадьба!

— И нельзя по обычаю играть сейчас свадьбу.

— Народ! Воры это! С краденой водой едут! Идите все к озеру! Быстрее! Пока они не вылили в него воду!

— Что украли?

— Воду!

— Зачем?

— Откуда? Кто?

Началась сумятица. Изю всех сил напрягая голос, чтобы пересилить гомон, Эбсэлем торопливо объяснил суть дела.

— Значит, сжечь нас хотят?

— Не дадим!

— У-у! Проклятые!

— Самих спалим живьем!

— Будя! Помудровали! Чего только не творили, а мы расплачивайся? А ну давай, ребята!

— В озеро их, иродов! В озеро!

Толпа с яростными криками двинулась навстречу подъезжающим. В это время передний тарантас остановился у озера. Лысый кучер, увидев бегущих людей, в смятении бросил вожжи, подбежал к остановившейся рядом телеге и вместе со своими товарищами начал сгружать с нее бочку. Наконец им удалось свалить ее на землю. Уперлись в ее вздутый бок, толкнули все разом, и она медленно покатила к озеру. Но у самого обрыва бочка натолкнулась на ствол березки, раза два

качнулась и замерла. Лысый человек подскочил к ней, начал толкать. Тоненькое деревце согнулось, оно вот-вот должно было сломаться и дать дорогу бочке.

— Каньдюк! — узнал кто-то.

— У-у-у! — надрывным зловещим эхом откликнулась толпа.

Подбежавший первым Савандей рванул Каньдюка за плечи:

— Ты что это делаешь, бабай?

Тот забрыкался, пытаясь дотянуться ногами до бочки. К бочке подскочил Имед, пригнулся, двинул плечом — она легко откатилась от берега. Потом подбежал к бесновавшемуся Каньдюку.

С тарантаса донесся глухой стон.

— Тухтар! Это ты! — Элендей выташил из его рта кляп, начал торопливо развязывать впившиеся в тело веревки.

— Видишь, что наделали, сват!

— Расплатимся! Сторицей!

Каньдюк, ежась под взглядами подступающих к нему людей, сторбившись, пятился к берегу. Страх придавал ему силы. Имед еле удерживал трясущегося, как в лихорадке, старика.

— Что вы? Что вы, братцы? Разве можно так? — заикался Каньдюк.

— А с нами так можно? — спросил Савандей. — Хочешь, чтобы в деревне черный столб поставили? Да?

— Братей Савандей! Земляки! — закрутил лысой головой Каньдюк, как змея, которой наступили на хвост. — Иль не для вас стараюсь? А-а? Староста! А ты чего же молчишь? Прикажи!

— Ой! Моготы никакой нет! — застонал, уткнув лицо в ладони, Элюка и юркнул за чью-то спину.

Не собирались помочь Каньдюку и его сподвижники. Сгрудившись в сторонке, как овцы в непогоду, они молчали. Думали об одном — как бы самим спастись от расправы.

Вконец отчаявшийся Каньдюк рванулся, задергался, замахал руками и ногами.

На Каньдюка грудью надвинулся Элендей.

— Ну, бабай, значит, водички захотел? — сказал он. — Понятное дело, жарко сейчас. Ишь, как плешь-то твоя вспотела! Наплясался на свадьбе, уморился. Освежиться надо. Посторонись-ка, Имед, — и Элендей толкнул Каньдюка в воду.

Толпа захохотала, заулюкала.

— Искупайся сперва. Потом поговорим. На свежую голову.

— Элендей! — крикнул кто-то. — Что же ты его одного просвежаешь? Нямасть тоже ведь взопрел. Нелегко с таким брюхом на свадьбе плясать!

— Не сомневайтесь, братцы, — хохотнул Элендей. — У меня память хорошая и про сынка не забуду. Всему семейству удовольствие доставлю.

Толпа одобрительно загудела.

Нямасть растолкал своих приспешников, пустился бежать. Его дружки бросились врассыпную. Парни бросились в погоню. Нямася догнал Тухтар:

— Не уйдешь!

Жирная спина лавочника дернулась под ударом черной блестящей нагайки. Он взвизгнул, ткнулся носом в траву. Подбежал Элендей, поднял его за ворот и поволок к озеру. Молодой Каньдюк попытался сопротивляться, замахнулся нагайкой, но она сразу же очутилась в руке Элендея. С шумом взметнулись брызги. Нямасть забарахтался рядом с отцом.

Элендей протянул Тухтару отнятую нагайку.

— Не поленись, браток! Помой их как следует. Много грязи на них. Соскреби получше. В две руки. Мочалки у тебя хорошие.

Тухтар спустился в воду, подошел к Нямастью.

— Ныряй!

Нямасть метнулся в сторону. Тухтар ударил его сразу двумя нагайками, и тот плюхнулся в воду.

— Ого-го!

— Как жаба!

— Еще, Тухтар! Наддай пару!

— С оттяжечкой, с оттяжечкой!

— Не ленись!

Как только голова Нямася показывалась из воды, ее сразу же встречал удар нагайки. Нямасть захлебывался, судорожно ловил воздух перекошенным ртом, хрипел.

— Ныряй! Ныряй! Плохо! Плохо!

Тухтар подошел к Каньдюку:

— Давай-ка ты теперь берись за дело. Покажи сынку, как нужно нырять. Поучи его.

— Братцы! Убьет ведь! Сумасшедший он! Что же вы смотрите?

— Ныряй, умник! У-у, змей!

Черной молнией сверкнула нагайка, и Каньдюк с бульканьем погрузился в воду. Над волнами вздулся пузырь бордовой рубахи.

Теперь работы прибавилось, и Тухтар едва успевал поворачиваться.

— Молоти! Молоти! — беспрестанно надрывался кто-то густым басом. Ему вдохновенно вторили другие...

— Остановись, Тухтар! — послышался голос Эбсэлема. — Хватит!

— Чего там хватит! Лупи, Тухтар!

— Давай! У тебя свои счета!

— Про запас вложи!

— Не помрут! Мы больше терпели!

Старика больше Тухтар не тронул, но Нямасю добавил щедро, от всей души.

— Выходи, Тухтар! — позвал Имед.

Когда Тухтар выбрался на берег, он увидел рядом с Элендеем Палюка, Мишу и его сестру Аню. Забросил в озеро нагайки.

Палюку сказал:

— Не буду больше чечевицей!

— Какой чечевицей? — удивленно переспросил Палюк.

— Придорожной, которую всякий топчет!

— А-а! Вот ты о чем! Напугал ты меня. Я уж подумал, что ты того... — улыбнувшись, Палюк покрутил пальцем у своего виска. — А чечевицей не будь. Правильно. Орлом станешь. Знаю.

Вечером Тухтар почувствовал себя очень плохо, его бросало то в жар, то в холод.

Палюк внимательно осмотрел его, выслушал, выстукал, но ничего опасного не нашел.

— Просто перенервничал ты, парень, переволновался. Отдохнуть тебе надо хорошенько, позабыть все передрыги. Возьму тебя с собой.

Ночью Палюк, Тухтар и Аня уехали в Симбирск.

А рано утром в Утламыш на тройке прикатил урядник. Около него крутились двое, одетые по-городскому, юркие, с цепкими глазами.



ДМИТРИЙ КИБЕК

(1913—1991)

Дмитрий Кибек (Дмитрий Афанасьевич Афанасьев) родился 15 сентября 1913 года в д. Тимерчкасы Вурнарского района Чувашской Республики в семье крестьянина.

Окончил Тузи-Сярмусскую начальную школу. Восьмилетнее образование получил в Малояушской школе, среднеспециальное — в землеустроительном техникуме. Для продолжения образования он поступает в Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева, однако из-за материальных трудностей ему после второго курса пришлось оставить институт и устроиться на работу. Некоторое время он работал учителем и заведующим школой.

В 1935 году будущий писатель был призван в ряды Красной Армии, прошел путь от рядового солдата до подполковника. За время службы окончил два военных учебных заведения — Киевское военное училище связи и Военно-юридическую академию. В годы Великой Отечественной войны Д. Кибек воевал на Калининском и Западном фронтах в должности начальника штаба батальона связи, в то же время выступал на страницах фронтовой печати.

Герои произведений писателя — солдаты, простые сельские труженики, студенты, охотники, интеллигенция. Их всех объединяет любовь к родине, неиссякаемая вера в разум человека. Рассказы и повести, романы Д. Кибека, посвященные взаимоотношениям человека и природы, воспитывают и закрепляют в читателях бережное отношение к природе, ко всему окружающему, живому миру, формируют умение рационально использовать богатства природы. Личность человека, его внутренний мир, отношение к природе — ведущая тема в творчестве писателя. Человек не должен относиться к природе как рвач и стяжатель — эта мысль проходит красной нитью в книгах «Рассказы

охотника», «Лесной великан», «Охотники» и других произведениях Дмитрия Кибека.

Следующее направление в творчестве писателя — события военных лет. Д. Кибек рассказывает о войне с суровым реализмом, не поддаваясь соблазну превращать солдат и офицеров в людей, которые горят только жаждой мести, воинской славы. Защита Родины для героев писателя, не потерявших в суровых условиях жестокой войны доброту и нежность души, — святая обязанность. К таким произведениям относится роман «Герои без вести не пропадают», за который Д. Кибек удостоен Государственной премии ЧАССР им. К.В. Иванова (1983).

Умер и похоронен в г. Москве.

Лесной великан*

Рассказ

1

Небо на востоке заметно посветлело. Одна за другой гасли звезды. Над спящим лесом пролетел незаметно ветер, словно вздохнула уходящая ночь.

С деревьев срывались листья и с тихим шорохом опускались на землю. Пахло перезрелыми ягодами, увядающей травой, поздними цветами и влажной прелью с резким запахом грибов.

Близилось утро. Со стороны лесной сторожки доносилось надсадное пение петуха. Заяц-беляк, осторожно шурша сухими листьями, бегал взад и вперед, делая замысловатые петли, надеясь запутать следы. Дикая свинья, то и дело обнюхивая воздух, повела свое многочисленное семейство в глубь леса к моховому болоту, где кабаны любят отдыхать на мягких, как перина, кочках. Серая сова — неясить, пронзительно оповестив всех об удачной ночной охоте, скрылась в дупле старой липы. Изредка доносились печальные крики журавлей, улетающих на юг.

Лесная мгла медленно таяла. На небольшую поляну в густой чаще орешника вышла стройная семилетняя лосиха. На мгновение застыла неподвижно, чутко вслушиваясь в лесные звуки, потом, медленно поворачивая большую комолую го-

* Перевод В. Власова.

лову, зорко огляделась вокруг и, только убедившись, что все спокойно, начала топтаться на месте, приминая копытами высокую траву. Наконец на поляне образовалась небольшая хорошо утрамбованная площадка. Лосиха осмотрела ее, высоко подняла голову с отвисшей верхней губой и несколько раз подряд издала громкий звук, похожий на храп испуганной лошади. Так призывают лосихи самцов во время гона.

Она снова и снова протрубила, но ответа не было, и она начала нетерпеливо перебирать своими длинными ногами.

Вдруг издали послышался резкий треск сломанного дерева. Лосиха застыла, вся превратившись в слух. Через мгновение до ее ушей донеслись знакомые звуки, похожие то ли на глубокий вздох, то ли на глухой стон. Бык, приближавшийся с севера, словно старался побольше шуметь. Лосиха затрепетала.

А вскоре с юга, где темнел старый сосновый бор, откликнулся второй бык. Голос его был значительно тоньше. Это свидетельствовало о его молодости. Шел он так же смело, треща валежником, ломая рогами молодые деревья. Грозный голос старого быка не испугал его. Он принял вызов соперника и спешил к нему. Лосиха поворачивала голову то в одну, то в другую сторону, изредка выпуская призывные звуки, словно желая подбодрить откликнувшихся быков.

Когда солнце поднялось выше и лучи его, пройдя сквозь пестрое покрывало леса, упали на землю, с севера на поляну вышел огромный бородатый лось. Его голову украшали мощные рога, напоминавшие две опрокинутые бороны. На каждом было по двенадцать отростков. Значит, быку тринадцать лет. Он посмотрел на молодую лосиху, потом, опустив голову к земле, застонал, вызывая соперника на поединок. Тот не заставил себя долго ждать: его тяжелая поступь слышалась совсем близко. Старый лось тут же начал свирепорыть землю передними ногами и острыми концами рогов взметнул клочья дерна и сухую листву.

Скоро на противоположной стороне поляны показался его соперник. Это был семилетний бык. Он бросил на молодую лосиху страстный взгляд — он был готов вступить за нее в смертельную схватку.

Старый великан злобно засверкал темными глазами и угрожающе забормотал. Молодой бык остановился и ответил

сопернику тем же, а потом замотал рогами и медленно двинулся в его сторону. Старый лось ринулся навстречу. Столкновение произошло в центре поляны. Раздался страшный треск — скрестились рога. Начался жестокий бой. Лосиха с интересом следила за тем, как соперники колют друг друга в бока, шею, грудь. Старый бык наносил удары реже, но зато каждый раз попадал в самые уязвимые места.

Молодой бык был горяч и сначала заметно потеснил старорого. Однако его противник был более опытен, скоро шерсть на шее и боках у молодого в нескольких местах окрасилась кровью, тонкие алые струйки потекли по передним ногам. Силы его заметно убывали.

На некоторое время оба лося замерли, сцепившись рогами, от напряжения вздулись жилы на шеях, копыта врезались в землю. Но силы были слишком не равны, и молодой лось, бороздя копытами землю, начал отступать, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Отступив к краю поляны, он еще раз попытался остановить соперника, собрал последние силы, уперся в землю, но тут его задние ноги покосились, и он как-то странно присел. Этим не преминул воспользоваться его опытный противник: поднял переднюю ногу и молниеносно вонзил острое копыто в грудь врага, из зияющей раны хлынула кровь, молодой лось захрипел, захлебнулся и рухнул на землю. Борьба со смертью продолжалась всего несколько минут. Старый великан внимательно наблюдал за агонией поверженного соперника. Когда тот затих, счастливый победитель гордо тряхнул рогами и твердой поступью направился к лосихе.

2

Сын начальника Сенгилевского спортивного охотничьего хозяйства Васюк, окончив институт, с радостью начал работать охотоведом. Если не считать пяти лет учебы в городе, вся его жизнь прошла в дремучих Сенгилевских лесах среди зверей и птиц. Школьником он мастерил скворечницы, радовался, когда возле них весело распевали скворцы, был горд и счастлив, если удавалось спасти птенцов, выпавших из гнезда, или подранков, упущенных охотниками. Подростком он сопровождал отца в обходах, затаив дыхание слушал его рассказы о жизни обитателей леса. Тогда же он понял, какую

огромную пользу людям приносят многие звери и птицы, и стал называть их своими друзьями.

Юноша видел, что жизнь его лесных друзей была не из легких. Везде и всюду их подстерегала опасность. Зайцы, рябчики, тетерева, глухари нередко становились добычей куниц, хорьков, лисиц, рысей, филинов и ястребов. Звери и птицы зимой часто погибали от бескормицы или становились легкой добычей хищников, среди них распространялись смертоносные эпидемии.

Васюк старался помогать чем мог своим любимцам. Зимой он подкармливал их, весной разорял гнезда пернатых хищников, а когда подрос, разыскивал волчьи логова и убивал волчат. Доставалось от него и взрослым волкам: он их травил ядами, стрелял на приваде, ставил капканы...

В тот день Васюк видел поединок лосей. Взволнованный, он вернулся домой.

— Как ты думаешь, папа, кого я сегодня встретил? — спросил он отца.

— Кого? — улыбнулся Николай Егорович.

— Лесного великана!

— Что ты говоришь! — удивился отец. — Быть не может! Ведь Лесной великан еще в январе наверняка был растерзан волками. По крайней мере в этом убеждены все наши егеря.

— Нет, папа, я не мог ошибиться, — решительно возразил Васюк. — Расстался я с ним какой-нибудь час назад на поляне в 44-м квартале. Да я бы узнал его среди сотни лосей: рваное правое ухо, чуть заметно хромает на заднюю левую ногу, и рога с двенадцатью отростками. Все охотники знают, что в наших лесах нет другого тринадцатилетнего лося.

— Все же как-то не верится, — с сомнением покачал головой отец. — Зимой охотники всадили в него три пули «бренеке» двенадцатого калибра. По крайней мере две из них — в шею и живот — были смертельны. А третья пуля перебила заднюю левую ногу. После таких ран выжить нельзя.

— Но его труп ведь не нашли!

— Верно. Три дня тогда шли по кровавому следу. На четвертый поднялась пурга и все следы замело.

— А сегодня он сражался с семилетним быком!

— И, конечно, не выдержал его натиска и уступил ему лосиху?

— Нет, папа, он победил молодого.

— Неужели тот убежал?

— К сожалению, не успел: Лесной великан пробил ему грудь, и тот упал замертво.

— Экий душегуб! — в сердцах воскликнул Николай Егорович.

— Почему душегуб? — с улыбкой спросил Васюк. — Во время гона лоси всегда дерутся... В бою выясняется, кто из них достоин быть продолжателем рода. Ведь у сильных родителей и дети бывают самыми жизнеспособными. Так происходит среди животных естественный отбор... Поэтому Лесной великан в общем принес пользу всему лосиному племени.

— «Естественный отбор», «польза»! Лекцию вздумал читать отцу! — стукнул кулаком по столу Николай Егорович. — Знаешь, что полагается за такую «пользу»? Пуля полагается. За последние три года у нас волки задрали всего двух лосей, а Лесной великан уложил уже семерых сильных быков. Если его оставить в живых, для зимней охоты не останется ни одного взрослого быка.

— Что же ты собираешься делать? — с тревогой спросил Васюк.

— Как — что? Известное дело, его надо уничтожить, и чем скорее, тем лучше.

— Даже преступника без суда не наказывают.

— Животных не судят!

— Зато судят людей, убивающих их без лицензии, — напомнил сын.

Отец снова стукнул кулаком по столу. Но тут же взял себя в руки и спросил мягко:

— А ты сам, Васюк, что думаешь?

— Мне кажется, сначала надо позавтракать, а потом поехать на место происшествия, чтобы составить акт. Потом, как обычно в таких случаях, сообщим в инспекцию, а мясо сдадим в чайную.

Через час у поляны остановился грузовик. Николай Егорович сфотографировал труп молодого лося, а Васюк составил акт. Старший егерь и объездчик вместе с двумя младшими егерями освежевали еще не остывшую тушу быка.

— Да, сомневаться не приходится. Только Лесной великан мог так расправиться с сильным молодым лосем. Смотрите,

у него богатырский рост и прекрасная упитанность, — задумчиво произнес старший егерь.

— Да, великолепный экземпляр... Сегодня же запрошу лицензию на Лесного великана, — решительно сказал Николай Егорович.

Лицензия пришла только в конце декабря.

— Ну, теперь-то мы покончим с Лесным великаном, — радовался Николай Егорович.

С облегчением вздохнули и многие егеря. Лицензия позволяла убить лося не только во владениях охотничьего хозяйства, но и на свободной территории, если бы ему вздумалось искать там убежище.

— Я думаю, — сказал старший егерь, — нам надо немедленно сообщить эту новость городским охотникам. Охота на Лесного великана, наверное, привлечет многих спортсменов.

— Время — золото. Срок лицензии всего тридцать дней, а зверь на редкость живуч, — напомнил Николай Егорович. — В прошлом году нам не дался, и теперь тоже предстоит немало хлопот. Чтобы взять его, надо пуд соли съесть.

— Хотел бы я знать, кому он достанется! — воскликнул объездчик. — Я думаю, охоту надо начать послезавтра.

— А что скажет наш охотовед? — спросил Николай Егорович, глядя на сына с лукавой улыбкой.

— Я прошу освободить меня от участия в этой охоте. Мне нужно работать над диссертацией, — глухо проговорил Васюк, не поднимая глаз на отца.

— И ты хочешь лишиться себя такого удовольствия? Это же будет замечательная охота! — словно не веря, воскликнул Николай Егорович.

— В охоте я бы принял участие, но только не в такой. Уверен, что будет не меньше трех десятков человек против одного лося. Это больше походит на бойню, чем на охоту...

Отец не стал его уговаривать.

Узнав о лицензии на Лесного великана, многие городские охотники лишились сна. Начиная с молодых, которые могли похвастаться разве лишь каким-нибудь куличком или чирком, и кончая заслуженными ветеранами, все захотели участвовать в облове на знаменитого лося. Одни надеялись добыть ценный трофей — голову лося с могучими рогами, за

которую кто-то обещал тысячу рублей, другие мечтали сфотографироваться в позе победителя рядом с поверженным лесным красавцем. Нашлись и такие, которых прельщала возможность прилично заработать, продав пудов тридцать превосходного лосиного мяса.

Все они устремились в Сенгилевские леса. Через два дня центральная усадьба охотхозяйства до отказа была набита людьми.

...Лесной великан три недели водил за нос своих преследователей, ни разу не подпуская их на верный выстрел. Никакие хитроумные приемы не помогали. Когда загонщики пытались выгнать лося на линию стрелков, он вовремя уходил на фланги или прорывался сквозь цепи загонщиков. Не удалось затравить его и охотничьими собаками: самых злобных и упорных лаек он уводил в глубь леса, где снег был рыхлее, и собаки проваливались по брюхо, и там затапывал их одну за другой. Охотники потеряли четырех лаек и пять гончих. Не имели успеха и попытки охотников подобраться к нему на дневной лежке во время пурги или подстеречь его на ночной жировке при луне: он всегда вовремя угадывал опасность и благополучно уходил. Усталые, измученные и обозленные, — иные даже обморозили себе носы и щеки, — охотники на двадцать второй день признали свое поражение и вернулись не солоно хлебавши в город, где друзья встретили их едкими насмешками, а жены, недовольные их долгим отсутствием, упреками. Егеря же охотхозяйства винили во всем городских охотников. Никто не желал признаться в своем бессилии. Больше всех был огорчен Николай Егорович.

Спокойным и довольным казался лишь один Васюк. Николай Егорович знал, что его сын лучший стрелок и самый выносливый спортсмен из всех сотрудников охотхозяйства. Наверно, лишь ему по плечу было справиться с Лесным великаном.

Он вызвал сына в свой кабинет.

— Ну, Васюк, что ты думаешь о нашем мучителе, — спросил он, — о Лесном великане?

— Думаю, что ему еще не пришел конец, как ты уверял, папа, — ответил тот весело.

— Нет, конец должен прийти, и это зависит только от тебя.

— Но, отец...

— Никаких «но»! Говорю это тебе не как отец, а как твой начальник: завтра же пойдешь в лес и вернешься оттуда только с головой Лесного великана. Помни, если мы не сумеем использовать лицензию, всем нам достанется на орехи, а тебе, охотоведу, больше всех.

Васюк помрачнел. Но он привык слушаться отца и молча кивнул головой.

— Кого из егерей ты думаешь взять с собой?

— Пойду один...

— Учти, что времени в обрез: срок лицензии истекает через неделю...

Васюк ушел в лес еще затемно. Одет он был легко, но тепло. меховая куртка с капюшоном хорошо защищала от пронизывающего ветра и сухого колючего снега, сыплющегося с деревьев за шиворот. Ноги согревали непромокаемые мягкие оленьи унты. Широкие лыжи, обитые лосиной кожей, быстро скользили по снежной целине. За спиной висел рюкзак с недельным запасом продуктов. Были у него еще двустволка 12-го калибра, охотничий нож и маленький топорик.

Зима в том году была очень суровой. Ночью мороз достигал 35—40°. Мерзлый снег жалобно визжал под лыжами, издали предупреждая зверя о приближении человека. Ветра не было. Заиндевелый лес погрузился в сонное оцепенение: снег подгибал тонкие стволы березок, деревья стояли не шелохнувшись под его тяжестью. На снегу хорошо были видны узоры звериных следов. Васюк без труда читал их. Вот белый горноста́й проскакал от кучи хвороста к упавшей елке. Тут же бегала и белка, разыскивая сушеные грибы, заготовленные ею впрок. Пробежала лиса. Следы ее напоминали ожерелье из овальных бус, нанизанных на бесконечно длинную нитку. На вырубках, где из-под снега виднелись тонкие прутьики ивы и вербы, было множество следов, похожих на коровьи: здесь жировали лоси. Часа два ходил Васюк, тщательно изучая их следы. Наконец он различил среди них особенно крупные и радостно улыбнулся.

— Доброе утро, Лесной великан! — вслух проговорил он. — Ну, теперь берегись!

Следы Лесного великана тянулись по опушке вырубки километра на три, а потом вели к чаще орешника. Здесь лоси прилегли было отдохнуть, но, почуяв приближение лыжника,

вскочили и на больших махах поскакали в глухой бор. Васюк снял варежки и ощупал примятый на лежке снег. Несмотря на сильный мороз, снег еще не совсем остыл. Значит, животные покинули лежку лишь несколько минут назад.

Настоящий охотник-спортсмен, не в пример своему собрату — промысловику, никогда не падает духом, если зверю удастся перехитрить его. Ведь чем труднее достается охотничий трофей, тем ценнее он для истинного охотника. Васюк не хотел, чтобы Лесной великан сдавался ему без борьбы. К тому же старый лось в его глазах был героем, и глупая смерть была бы его недостойна. Он должен дорого отдать свою жизнь.

Лесной великан часа три водил охотника по этой чаще. У Васюка взмок лоб, капюшон куртки покрылся инеем. Но он не сбавил темпа, даже ускорил шаг.

Вскоре Лесной великан оставил молодой сосняк и, повернув на север, отмахал еще около двенадцати километров по глубокому снегу.

— Ну и силен же ты, — восхищенно пробормотал Васюк, остановившись на небольшой прогалине, чтобы перевести дух. — Что ж... торопиться нам некуда. И ты передохни, и я немножко подкреплюсь.

Васюк достал из рюкзака кусочек смержшегося шыртана¹ и ломтик черного хлеба. Пришлось развести костер, чтобы еда оттаяла. Потом Васюк выпил горячего чая из термоса. На все это ушло не больше получаса. Еда и короткий отдых прибавили силы.

Васюк снова зашагал по следу. До вечера он прошел еще километров девять. Конец дня застал его недалеко от сторожки лесника Кириллова. Ни один охотник не проходил здесь, чтобы не завернуть на огонек: гостям в сторожке всегда были рады. Кириллов был не только лесником, но и страстным охотником. «На сегодня хватит», — решил Васюк.

— Теперь найди подходящее местечко и отдохни, — сказал он лосю, — постриги верхушки молодых веток. Ну, до утра, Лесной великан!

Молодой охотник бросил взгляд на крупные следы лося, вдохнул полной грудью смолистый воздух старого бора и зашагал к домику лесника: окна его приветливо светились.

¹ Род домашней колбасы.

Как только в небе погасли последние звезды, Васюк покинул гостеприимную сторожку и ее хозяина. По следам Лесного великана он узнал, как тот провел ночь. Пройдя бором немногим больше километра и почувствовав, что преследование прекратилось, лось вошел в ивняк и всю ночь лакомился вкусными прутьями. Лишь на рассвете он прилег было отдохнуть, но тут скрип лыж снова поднял его. Снег на месте лежки даже не успел подтаять.

— Да, сплоховал ты, дружок, сплоховал! Без пищи, пожалуй, ты бы выдержал не одну неделю, а без отдыха не протянешь и пару суток. Худо придется тебе, если не исправишь свою ошибку, — упрекнул лося Васюк.

Перед рассветом был недолгий, но обильный снегопад. Старые следы закрыл мягкий, пушистый снег. Преследовать зверя по свежему следу было немного легче. Но на просеке, идущей по границе 54-го квартала к югу, охотнику неожиданно пришлось остановиться. Шагах в пятидесяти впереди вдруг один за другим поднялись пять снежных фонтанчиков. В воздух с шумом взлетела стайка глухарей и исчезла в густом сосновом бору. Подойдя к покинутым глубоким лункам, охотник понял, что глухари не испугались лося, пробежавшего от них в каких-нибудь десяти шагах, но, издали заслышав скрип снега под лыжами, сорвались с теплых ямок. «Друг друга они хорошо знают, боятся только человека — врага своего», — с грустью подумал Васюк. Тем временем Лесной великан, чувствуя, что его настигают, перешел на рысь. Васюк тоже ускорил шаг. К полудню он снова вышел к границе 44-го квартала.

«Вчера я его выгнал отсюда, сегодня он снова вернулся, сделал круг километров в шестьдесят по бездорожью. Любопытно, на сколько таких кругов хватит у него сил?» — подумал Васюк.

У круглого межевого столба Васюк развел огонь, на маленькой алюминиевой сковородке поджарил сало, отогрел мерзлый хлеб и не спеша пообедал. Как и накануне, после еды он почувствовал себя сильным и бодрым.

Пока охотник отдыхал, Лесной великан снова встретился со своей семьей. Васюк разглядел свежие следы лежки.

Старый бык растянулся возле лосихи. Головы у них были почти рядом.

«Интересно, какие чувства бурлили в груди Лесного великана?» — думал Васюк, разглядывая свежие лежки лосей.

Когда Васюк снова спугнул лосей, они помчались вперед, с километр бежали вместе, а потом разошлись в разные стороны. Лосиха с двумя телятами ушла в глубь леса, бык же направился к опушке.

Васюку вдруг захотелось бросить преследование, повернуть к дому. Но он вспомнил наказ отца.

«Нет, не могу вернуться без головы Лесного великана... К черту сентиментальность! Служба есть служба!»

Выйдя на опушку леса, старый бык потоптался на месте, словно не зная куда податься. Затем поскакал на больших махах в поле, потом к кургану, возвышающемуся за деревней Большие Сенгили. Он взбежал на курган и застыл на вершине, как изваяние. Увидев его там, сельские ребятишки подняли страшный шум. Целая стая дворняжек под громкое улюлюканье кинулась со свирепым лаем к лосю. Тот побежал дальше по полю, забежал в две деревни, нагнав панический страх на жителей, и наконец к вечеру дошел до огромного лесного массива, известного под названием Байсубинский. На небе уже зажглись первые звезды, когда до этого леса добежал Васюк.

Преследовать зверя в незнакомом лесу было трудно и опасно. Васюк постоял несколько минут в раздумье, а потом пошел в ближайшую деревню искать ночлега.

4

Ночью мороз заметно сдал, но к утру задул сильный восточный ветер. Весь небосвод затянуло тяжелыми свинцово-серыми тучами. Ничего хорошего это не предвещало. Настроение у Васюка было прескверное. С невеселыми думами он пустился по вчерашнему следу за Лесным великаном. Пронизывающий ветер сбивал с деревьев снег. Почти ничего нельзя было разобрать в снежной круговерти. С минуты на минуту могла начаться пурга, и тогда пропадут все следы.

Лесной великан, оторвавшись от своего упрямого преследователя, всю ночь пролежал у лесной опушки. Это говорило

о его сильной усталости. К утру он принялся за жировку, потом снова улегся, но приближение лыжника подняло его на ноги, и он углубился в дремучий лес. Снег здесь был рыхлым и глубоким. Зверю пришлось трудно — охотнику было легче на широких лыжах. Скоро лось забрался в бурелом, каким-то чудом пробираясь среди хаотического нагромождения вырванных с корнем деревьев, образующих непроходимые завалы.

К полудню ветер заметно ослаб, небо очистилось от туч, в лесу стало светлее, но мороз снова усилился. Чтобы не тратить времени на обед, Васюк положил хлеб за пазуху отогреть и потом съел. У лося не оказалось теперь даже небольшой передышки, которую он получал в прошлые два дня.

К трем часам охотник и зверь выбрались из бурелома и попали в лес, изрезанный глубокими оврагами и балками. Теперь труднее стало лыжнику, ему часто приходилось карабкаться на крутые холмы, поросшие кустарником, лыжи здесь застревали, а лось проходил эти места легко. К вечеру Васюк совсем выдохся.

Наконец следы лося привели его к крутому обрыву глубокого оврага. Лес освещали косые красноватые лучи заходящего солнца. В тени столетних дубов и лип снег казался сероватым. Немногочисленные птицы, оставшиеся на зиму в чувашских лесах, уже попрятались, и в лесу царила полная тишина. Подойдя к оврагу, Васюк вдруг услышал звонкое журчание воды где-то на дне оврага. «Странно, — удивился он, — вода не замерзла даже при сорокаградусном морозе. Должно быть, где-то поблизости бьет мощный ключ».

Васюк посмотрел вниз и замер — шагах в тридцати от него, на дне оврага, в облаках клубящегося розоватого пара стоял Лесной великан и спокойно пил воду из ручейка. Время от времени он поднимал голову, встряхивал огромными рогами, оглядывался и снова наклонялся к воде. Его левый бок был повернут к охотнику, которому не представляло никакого труда всадить пулю в самое сердце зверя. Но Васюк, забыв про ружье, как зачарованный смотрел на лося. Лесной великан был прекрасен.

Так прошло минут пять. Утолив жажду, лось высоко поднял голову, встряхнулся и оглянулся на свой след, словно раздумывая: не пора ли возвращаться? Настал решающий момент.

Надо было вскинуть ружье, прицелиться хорошенько и разрядить в лося оба ствола. Но какая-то сила удержала Васюка.

«Нет, только не сегодня, только не сейчас, — пронеслось в голове, — пусть уйдет на этот раз. А потом мы еще встретимся».

И словно боясь изменить свое решение, Васюк вобрал в грудь побольше воздуха и закричал во всю глотку:

— О-го-го-го-го!

Голос у него был громкий, раскатистый. Лесной великан огромным прыжком перескочил через дымящийся ручей и исчез в густой чаще молодого леса, чернеющего за оврагом.

5

Быстро надвигалась ночь. Васюк спустился на дно оврага, развязал рюкзак, достал оттуда плоский солдатский котелок, зачерпнул из ручейка воды и отпил глоток. Вода была невероятно вкусная. Крутые берега оврага хорошо защищали от ветра. О лучшем месте для ночлега нельзя было и мечтать. Не теряя попусту времени, Васюк развел костер, повесил над ним свой котелок, собрал еловый лапник и начал делать шалаш. Вход он устроил так, что тепло от костра шло внутрь шалаша. Теперь оставалось найти несколько толстых и сухих чурок, которые могли гореть всю ночь. В овраге их было сколько угодно.

Скоро котелок закипел, а на сковородке весело зашипел шыртан, распространяя кругом крепкий запах кухни...

Под утро его разбудил какой-то шум. Васюк высунул голову из шалаша. Костер почти погас. Только дымились несгоревшие головешки, покрытые белой пушистой золой. На востоке уже багровела заря. В первую минуту Васюк ничего не услышал. Но вот где-то невдалеке с громким хрустом сломалась сухая ветка, а затем отчетливо послышалось сердитое бормотание лося. Не было сомнения — рядом происходила ожесточенная схватка лося с каким-то врагом. С кем же? Медведи сейчас в своих берлогах, кабаны не нападают на лосей. Неужели волки?

Васюк быстро вышел из шалаша, зарядил правый ствол пулей, а левый картечью, встал на лыжи и осторожно пошел на шум. Когда он выбрался из оврага и углубился в молодой осинник, до него явственно донеслось рычание волков.

Идя против ветра, охотник приблизился к небольшой прогалине и вот что увидел: в центре полянки, нагнув шею и выставив могучие рога, стоял Лесной великан. Три волка все время пытались вцепиться ему в горло спереди, а еще два подбирались, чтобы перегрызть жилы на задних ногах. Но лось то и дело бросался на волков, не давал им пустить в ход клыки. Поодаль на снегу уже лежали неподвижно два волка. Снег вокруг них был забрызган кровью.

«Держись, дружище!» — тихо сказал лосю Васюк, поднимая двустволку. Но тут матерая волчица с необыкновенной ловкостью вспрыгнула на шею лосю и вонзила клыки в его загривок. Брызнула кровь. Пока Васюк целился в волчицу, Лесной великан запрокинул голову, пытаясь сбросить волчицу, и оставил горло незащищенным. Тогда подпрыгнул вожак стаи, вцепился в горло лосю и на мгновение повис в воздухе. Выстрелом из правого ствола Васюк свалил с шеи лосю волчицу, а Лесной великан ударом передней ноги вспорол живот вожаку стаи. Три переярка бросились было в лес, но заряд картечи, посланный им вдогонку из левого ствола, уложил одного из них.

Пуля пробила волчице голову, и она больше не шевелилась. Старый волк, окрашивая снег кровью, отполз шагов на десять в сторону.

Только тут Васюк взглянул на лосю. Тот стоял пошатываясь. Из его горла со свистом вырывалась струя крови. Собрав последние силы, он сделал несколько шагов, захлебываясь, рухнул на землю. Вожак стаи все-таки успел перед смертью перекусить ему горло.

Когда Васюк подбежал к Лесному великану, все было уже кончено. Большие темные глаза лосю были широко раскрыты и смотрели на человека. Васюку показалось, что в них был упрек за то, что человек слишком поздно пришел к нему на помощь.

6

В ближайшей лесной сторожке, куда пришел Васюк, был телефон. Васюк рассказал о случившемся отцу.

— Поздравляю тебя с победой! — послышался в трубке радостный голос Николая Егоровича. — Завтра приедем на двух подводах. Лицензию погаси вместе с лесником...

«Какая уж тут победа», — с досадой подумал Васюк, выйдя из сторожки.

Ему хотелось узнать, почему Лесной великан, убежавший далеко в лес после встречи с ним накануне, утром оказался так близко от его шалаша. Он внимательно изучил следы. Оказалось, что лось, пробежав километра два, прилег отдохнуть. На рассвете на него внезапно напали волки, но ему удалось вырваться, и он побежал обратно по своему вчерашнему следу. Почему? Это было загадкой. Может, лишь потому, что идти по старому следу легче, чем по целине, а может, инстинкт подсказывал ему искать защиты у человека, который не причинил ему зла накануне, когда они встретились так неожиданно.

Охотничьи рассказы*

Находка

Я не могу точно сказать, какие обстоятельства сделали меня с юношеских лет заядлым охотником. Порой кажется, что заманила меня на первую охоту красота окрестных лесов. В них, у самой нашей деревни Уги, водилось много дичи. Иногда думается мне, причиной моих охотничьих увлечений явилось другое... Но об этом читайте дальше.

Местоположение нашей деревни напоминает становище, в каких любят устраиваться многие охотники на уток. Деревню с трех сторон огибает речка Усрав. Позади деревни тянутся холмы, называемые в народе холмами Киреметя.

В трех километрах от деревни протянулись озеро Саркамыш и Моховое болото. По рассказам стариков, когда-то, давным-давно, как раз там протекала речка, но потом она изменила русло и понесла свои воды в обход холмов Киреметя.

По ту сторону озера Саркамыш раскинулись неоглядные поля со странным названием Каськарти. В детстве мне казалось, что поля Каськарти не имеют ни конца ни края.

Если подняться вверх по речке Усрав — начинаются леса Хураката¹, а если направиться от речки на юг — попадешь в

* Перевод А. Чистякова.

¹ Черная роша.

луга, ровные и зеленые. Вдоль этой речки ежегодно, в весеннюю пору, с юга на север тянутся вереницы диких уток и гусей. На озере Саркамыш и на Моховом болоте гнездятся серые утки, кряквы, чирки-свистунки. Там же плодятся бекасы, дупеля, цапли, журавли. А на лугах живут перепела, серые куропатки, кроты, лисицы. В черной роще Хураката всегда встретишь зайца-белячка, лисицу, вальдшнепов, глухарей.

Есть предположение, что на месте деревни Уги в незапамятные времена было настоящее становище племен, промышлявших охотой. Говорят даже, что само происхождение фамилий местных жителей — Медведев, Волков, Лисицын, Хорьков — тому свидетельство. Но все это, конечно, одно предположение.

Когда мне было двенадцать лет, дед подарил самодельные лыжи. В те времена деревенские люди мало интересовались лыжами и я, можно сказать, был настоящим пионером лыжного спорта в своей Уге. Однажды во время зимних каникул я съехал с холма Киреметя в долину речки Усрав. Лыжи, мчавшие меня со скоростью летящей птицы, остановились в снежной долине перед человеком с ружьем, единственным охотником в деревне.

— Здравствуй, дед Архип! Удачна ли охота?

— Хвалиться нечем, сынок, — отвечал дед. — Возвращаюсь ни с чем.

— А разве зайцы повывелись?

— Встретил одного, да ускользнул. Хитрый и проворный. Русак. Я его ранил, а он тягу. Ближе двухсот метров — ни-ни. Я побежал за ним, да устал. Снежище, а лыж нет!

— Возьми мои, — предложил я. Но дед отказался. Не мастер, говорит, ходить на лыжах. Посмотрел на заячьи следы, отпечатавшиеся в снегу, и зашагал в сторону деревни.

Где ступали передние лапки беляка, виднелись алые точки. Я повернул лыжи и пошел по следу, внимательно всматриваясь в свежие отпечатки. Пройдя триста шагов, я наткнулся на алое пятно величиною с ладонь. Дальше такие пятна попадались чаще. Когда я вышел на край снежной долины, где росли вербы, подбитый русак вдруг вскочил и поскакал. Потом опять исчез в кустах, даже следов не оставил, видно, прыжок большой сделал. Я протискался в кус-

ты. У самых моих ног лежал зверек, провалившись в снег. Он был мертв. Погладив мягкую, еще теплую шерсть затравленного русака, я вынес его из чащи и понес домой.

Когда я подходил к деревне, на небе одна за другой зажигались звезды. Пожалуй, никто не заметит меня, топающего с матерым зайцем за спиной. А жаль! Мать, наверно, похвалит. Притом, с начала зимы мы не отведали мяса. А из шкуры зверька я сошью теплую шапку.

Вот и шапка. У околицы, как будто придавленная непосильным снежным бременем, стоит, покосившись, избушка деда Архипа. У избушки единственное, слепое от ледяных узоров, оконце.

«А ведь русак-то не мой. Его подстрелил дед Архип», — думаю я.

«Но ведь он его только подбил, а разыскать не мог, — возражает во мне другой голос. — Кто нашел, тот и хозяин».

«Нет, — говорю я. — Дед Архип потерял зайца, а я нашел. Найденную вещь возвращают владельцу. А присвоить найденное — все равно, что украсть. Я не хочу быть вором».

С этими мыслями я вошел в избушку деда Архипа, поздоровался и, сняв с плеча русака, вручил его деду.

— Возьми его, дед Архип. Подстрелил его ты, а я только нагнал и разыскал. Видно, жирный... сильно резал плечо.

Единственный глаз старика подернулся влагой. Дед дрожащими руками взял зайца в руки, приподнял, словно прикинул на вес, потом протянул его мне.

— Хозяин русака — ты. Кто его нашел, тому он и принадлежит. Если бы ты не подобрал — он достался бы лисе либо волку. Возьми его, сынок, себе!

— Нет. Я не хочу чужое присваивать. Мне пора домой. Прощайте, — говорю я и направляюсь к двери.

— Ну, спасибо, сынок. Ты, вижу, честный человек. Можешь стать удачливым охотником!

Никогда мне не забыть этих слов.

Учитель

К концу лета, в августе, ребята начали вспоминать про ученические дела. В том году я перешел в седьмой класс. Двухэтажное здание школы находилось на окраине Уги. Там же стояли дом для учителей и изба-читальня.

— Ахмет, — сказал мне как-то сверстник Ухливанов, — к нам в школу прибыл новый учитель Арсентий Иванович (Ахметом меня прозвали после удачно сыгранной роли мальчика Ахмета в пьесе, поставленной школьным драмкружком). Говорят, замечательный охотник. Сходим к нему.

— А он не рассердится, не прогонит?

— Нет. Он мне сам сказал: «Если будет время — заходите ко мне. Я хочу вас кое о чем расспросить».

Когда мы с Ухливановым вошли в дом нового учителя, он встретил нас ласково, пригласил сесть. Комната его походила не на жилое помещение, а на зоологический музей. На стенах висели невиданные нами вещи: голова лося, кабаньи головы с кривыми клыками, чучела уток, куликов, сов. Было тут и чучело орла с распахнутыми крыльями. Около нас вертелась, обнюхивая, длинноухая собака.

— Мой Максим, — сказал хозяин, — не кусается, не бойтесь!

Кроме хозяина, музейных чучел, Максима в комнате был еще книжный шкаф, наполненный книгами по той же зоологии и охотничьему промыслу.

— В каких местах здесь водится дичь, знаете ли вы? — спрашивает нас учитель.

— В Хураката много зайцев, я сам видел, — отвечаю я.

— В августе бить зайцев нельзя. Охота на зайцев и лисиц начинается в конце октября. Сейчас можно стрелять болотную, степную или боровую дичь, например, дупелей, бекасов.

— На Моховом болоте много куликов. Там по весне ребята собирают много яиц.

— Чьих?

— Утиных да и других.

— И много собирают?

— В иной год очень много. В нынешнем году в один выходной только ребята нашего класса набрали триста штук.

— И никто вас за это не бранит?

— Нет. У диких птиц ведь хозяев нет. А яйца дичи по вкусу не хуже куриных.

Некоторое время новый учитель сидел молча.

— Жаль, — сказал он наконец, вставая. — Разоряя гнезда беззащитных птиц, вы лишаете их возможности выводить птенцов. Впрочем, об этом подробно поговорим после.

С этими словами он снял с лосиных рогов ружье и повел нас в поле, на «практическое занятие». Мы поставили фанерные мишени с бумажными кругами. Арсентий Иванович отмерил тридцать пять шагов и пальнул. В круг, размером с ведерное дно, попало: от первого выстрела пятнадцать и от второго семнадцать дробинок.

Потом стреляли мы с Ухливановым. После выстрела Ухливанова пробоин на мишени не оказалось. Все дробинки «пошли за молоком». После моего выстрела в бумажном кругу оказалось девять дробинок. Это удивило и обрадовало не только меня самого, но и учителя. Он мне дал два патрона. Попадания были хорошие.

Потом он научил нас чистить ружье. Спрашивал, есть ли в Уге охотники. Охотников не было: дед Архип умер минувшей весной.

— Я завтра пойду на охоту по вашим болотам. Кто пойдет со мной?

— Возьмите меня, — сказал я. И так обрадовался тому, что мне впервые предстоит побывать на настоящей охоте. Ведь какие приключения могли ждать нас на Моховом болоте!

На болоте

На рассвете я и Арсентий Иванович направились по тропинке, протоптанной через холмы Киреметя, к Моховому болоту.

Воздух был чист, и дышалось легко. Дойдя до болота, мы присели к стогу сена. Со стороны деревни доносилось пение петухов, бляение овец и коз, хрюканье свиней. За рекой Усрав стучала телега. На лугах кто-то точил косу. До нас явно доносились стальные звуки:

— Динь-дзинь! Динь-дзинь! Динь-дзинь!

Бесшумно пронеслась какая-то птица, спеша спрятаться от своих дневных врагов.

— Что это за птица? — спросил я учителя.

— Дупель. В чувашском языке дупель не имеет названия. В некоторых районах его называют болотной курочкой, но это неверно: дупель живет не только на болотах, но и в сухих лугах. Птичка эта длинноногая, небольшая, а тушка у нее плотная, увесистая. В августе дупели собираются в большие

стаи и днем прячутся в густых зарослях, а по ночам выходят на жировку. В сентябре улетают на юг...

Пока мы беседовали, солнце выглянуло из-за холмов и рассыпало свои золотые лучи по низине. Арсентий Иванович поднял голенище болотных сапог, а я, сняв ботинки, повесил их за спину. С появлением солнца ветер переменял направление и начал дуть нам в лицо.

— Вот это хорошо, — сказал Арсентий Иванович. — При поисках дичи охотник должен идти против ветра. Зверь и птица не только слышат шаги, но прекрасно чуют запах человека и ружья. Когда охотник идет против ветра, дичь его вовремя не обнаруживает. Собаке тоже легче учуять дичь против ветра. Она наверняка поднимет на крыло птицу, за- таившуюся в траве.

У края болота учитель снял с собаки ошейник, почесал у ней за ухом и сказал:

— Ну, Максим, хорошенько послушай, дружок!

Умная собака бросилась в кочкарник, обнюхивая травы и воздух. Мы зашлепали за ней по воде. Вдруг из-под самого носа Максима с криком поднялась длинноногая птица. Арсентий Иванович прицелился и выстрелил. В тот же миг птица потеряла подъемную силу, накренилась и камнем свалилась в высокую траву.

— Максим, подай! — крикнул учитель.

Собака помчалась к месту падения птицы и после некоторых поисков принесла дупеля хозяину, держа его зубами за крыло. Потом опять бросилась вперед и вскоре подняла двух птиц той же породы. Арсентий Иванович стрелял, к моему восхищению, без промаха и сбивал птицу с расстояния в 30—40 метров.

Мне было поручено нести добычу.

— Какие жирные! Даже костей не найдешь, — восхищался я, ощупывая круглые, как яйца, тушки.

— К августу дупель становится жирным и неохотно взлетает, подпускает собаку почти вплотную. Мясо дупелей и бекасов в это время лучшее мясо, — объяснил учитель.

К полудню в его патронташе остались одни пустые гильзы. Сделав двадцать два выстрела, Арсентий Иванович убил восемнадцать дупелей. Кроме того, два патрона испортил я. Заметив мой скучный вид, Арсентий Иванович засмеялся:

— Не горюй! Я только в третий выход убил... ворону. Бить птицу влет — нелегкое дело. Даже охотники, имеющие двух- и трехлетний стаж, часто промазывают. Стрельба по летящей цели — настоящее искусство. Если птица, к примеру, летит вверх, на подъем, нужно целиться немного выше. Если птица летит мимо — нужно давать опережение на полметра. Приходится учитывать расстояние по цели и скорость полета птицы. Это дается только практикой. А теперь поделим добычу.

— Как поделим? — не понял я.

— А по обычаю охотников: половину тебе, половину мне. Существует правило: если охотилось вместе несколько человек, вся добыча делится между ними поровну.

Как возражать против великих правил товарищества, установленных с незапамятных времен?

Первый трофей

Первый трофей... сколько радости, сколько славы в этих словах! Заяц, убитый охотником, говорит охотнику не только о вкусном мясном блюде, он возбуждает в нем более сложное чувство. Вы, вероятно, видели кошку, только что поймавшую мышь. Как только пушок мыши коснется кошачьих губ, четвероногий охотник тут же забывает о своем пустом желудке.

Чувство гордости от обладания трофеем свойственно как деревенским, так и городским охотникам. Вот охотник, подстреливший двух зайцев, сходит с поезда. Не думайте, что он поедет домой в автобусе или трамвае. Он идет пешком, гордясь перекинутыми через плечо зайцами, по самым оживленным улицам.

Охотник не забудет дня, когда в его руки впервые попала настоящая добыча. Однажды, после вкусного жаркого из дупелей, мать, как будто вскользь, спросила, мог ли бы я, как настоящие охотники, добывать дичь.

— Да, если бы было ружье, — протянул я, вспомнив про два патрона, испорченные накануне.

На другой день, проснувшись, я увидел прислоненное в углу старомодное ружье. Настоящее ружье!

— Обменяла на козленка у вдовы деда Архипа, — пояснила мать.

Счастливым приобретением, я снял со ствола пятна ржавчины, повесил ружье за спину и немедля отправился к Арсентию Иванычу.

— Как из музея! — воскликнул тот, посмеиваясь. — Его настоящее место в музее. Но для начала подойдет. Ружье не заряжено. Запомни: если ружье стояло долго в заряженном виде, его нужно освободить от заряда, то есть выстрелить, привязав ружье к дереву и дернув крючок издали бечевкой. Иначе ружье может взорваться и нанести увечье или даже ранить насмерть. Затем Арсентий Иваныч зарядил ружье и выстрелил из него в небольшую дощечку. — Осыпь равномерная, нормальная. Завтра испытаем на утках, — сказал он, и мы разошлись.

На другой день, к вечеру, мы подошли к месту, где озеро Саркамыш соединяется с Моховыми болотами. С наступлением сумерек кряквы и серые утки улетают с болота на хлебные поля, где жируют всю ночь. Ночью на полях спокойно, в хлебах, во мраке их никто не беспокоит — ни человек, ни ястреб. Утром, когда всходит солнце, утки возвращаются на свои излюбленные места, купаются в чистой воде, а потом на весь день укрываются в камышовых зарослях.

Среди таких зарослей встречаются небольшие чистые озерца, — прогалины. Возле двух таких прогалин мы соорудили по шалашу. Мне достался шалаш, находящийся ближе к озеру, а учитель устроил засаду на Моховом болоте.

Подготовив место для охоты, мы вышли на возвышение, на луг, и устроились возле стога сена.

Солнце опускалось все ниже и ниже. Замолчали чайки, летавшие целый день над озером. Со стороны полей Каськарти прилетела небольшая стая журавлей и скрылась в камышовых зарослях. Когда солнце опустилось в леса Хураката, на некоторое время установилась полная тишина.

— Птицы, добывающие пищу при дневном свете, ушли на отдых, а жирующие ночью еще не смеют выйти из укрытий, — пояснил учитель, внимательно вслушиваясь в тишину.

Недалеко от нас в камышах свистнул чирок-свистунок. Там же запищали кулички, а через минуту из зарослей, рядом с моим шалашом, поднялась одинокая утка и полетела в сторону Каськарти.

— Старый селезень, — показал Арсентий Иванович, — старые селезни отлиняли и теперь летают больше в одиночку, а молодые еще живут вместе с матерями.

На следующий день мы пришли к шалашам рано, чуть только забрезжил рассвет. Влажный ветер шуршал в высоких камышах. Шука громко плеснула по воде раздвоенным хвостом. Звезды незаметно гасли. Я расставил против своего шалаша деревянные чучела уток, прикрепив их вместо якоря камешками. Со стороны Арсентия Ивановича слышалось кряканье утки. Крякала подсадная, обученная учителем для заманивания уток.

В двадцати шагах от меня, просвистев крыльями, шлепнулась в воду одинокая утка. Сначала она насторожилась, вытянув шею, подозрительно посмотрела на своих деревянных «родственников». Потом начала нырять и плескаться. Наконец я не удержался, выстрелил. Когда рассеялся дым, я увидел лежащую на спине утку и так обрадовался, что чуть не бросился в воду одетым. Первый трофей! Через мгновение теплая шейка утки, покрытая мягким пухом, очутилась в моей руке.

Пока я одевался, мимо пролетела стая уток голов в двадцать, а пока заряжал ружье — еще в восемь. Со стороны Арсентия Ивановича доносились выстрелы. Обе стайки, опустившиеся невдалеке, с опаской оглядывались, но пока я возился с «фузеей», одна стайка поднялась и улетела, а другая скрылась в камышах.

Уже совсем рассвело. Свист крыльев становился редким, но со стороны учителя продолжались доноситься выстрелы. Наконец прилетели и ко мне три утки и начали купаться. Я выстрелил и убил еще одну. Остальные две помчались к болоту.

— Ну, юный охотник, как прошла зорька? — крикнул учитель, вынырнув из-за камышей, со всех сторон увешанный дичью.

Я указал на пару уток, убитых мною.

— Радуюсь твоим уткам, а не своим, число которых полтора десятка, — говорил он, искренне сочувствуя моим успехам. — О человеке, убившем двух уток в первый день охотничьей карьеры, можно смело сказать, что он станет прославленным охотником.



ВАСЬЛЕЙ ИГНАТЬЕВ

Родился в 1934 году

Василий Герасимович Игнатъев родился 2 сентября 1934 года в д. Кокшаново Батыревского района Чувашской Республики.

В 1956 — 1958 годах, после окончания Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева, служил в армии. С 1958 года работал в книжном издательстве, редакциях журналов «Ялав» и «Тӑван Атӑл», был заместителем председателя правления Союза писателей Чувашии. С 1986 по 1997 годы — главный редактор книжного издательства.

На литературном горизонте Васълей Игнатъев появился в середине 1950-х годов с рассказом «Танец маленьких лебедей». Многие из критиков единодушно отметили, что в писательском созвездии появилась новая звезда, а в дубраве чувашской прозы проросло новое дерево. И они не ошиблись: сегодня Васълей Игнатъев занимает достойное место в ряду чувашских прозаиков, являясь, по общему признанию, мастером художественной прозы и прекрасным стилистом. Вот что пишет о его творчестве известный литературовед Ип. Иванов в книге «Мастерство рассказчика»: «Может быть, поиски формы не столь уж и бесполезны, но все же если мысль его [рассказа] бедна, то он не в состоянии выполнить своей цели. В рассказах же Игнатъева всегда есть какая-то нужная мысль, идея его основы. Все это и обогащает произведения прозаика... Другая особенность творчества В. Игнатъева состоит, по-моему, в том, что он никогда не пишет о том, что сам не видел и не испытал. Герои его — хорошо знакомые автору труженики, к тому же и действия происходят в близких писателю местах. Поэтому рассказы богаты невымышленными, взятыми из жизни характерами, конкретными картинками и легкозапоминающимися деталями. Его герои — люди с сильным характером, и поэтому читатель верит в их жизнен-

ную правду... Васyleй Игнатъев отлично чувствует слово, и чем больше читаешь его произведения, тем больше в этом убеждаешься».

В. Игнатъев в своих рассказах и повестях стремится именно к всестороннему показу изображаемых персонажей. Так было и в начале его творчества, с таким же убеждением работает писатель и сегодня. Его герои — добрые, честные люди, на которых всегда и во всем можно положиться.

Литературовед Г. Федоров в книге «Поиск изящной словесности», анализируя творчество В. Игнатъева, приходит к выводу, что в современной чувашской литературе действительно нет лучшего новеллиста, чем В. Игнатъев.

Рассказы писателя всегда психологичны, и их герои симпатичны для читателя. Произведения Васyleя Игнатъева учат любить, уважать человека труда, верить в него, его идеалы. Он является автором пятнадцати книг, в том числе романа о пограничниках «Зарницы счастья», написанного в соавторстве с А. Савельевым.

Произведения В.Г. Игнатъева переведены на многие языки. В переводе на русский язык вышли книги «Беспокойные», «Будем счастливы», «Зарницы счастья».

«Танец маленьких лебедей»*

Рассказ

Я познакомился с ним случайно. Мы стояли у класса, где шел экзамен. Через закрытую дверь до нас доносились звуки рояля. Мы волновались и ждали, когда пригласят нас. Вдруг мне показалось, что я где-то раньше видел своего соседа. Особенно мне запомнились его серые печальные глаза и чуть вздернутый нос.

— Извините, вы откуда приехали? — спросил я.

— Из Чувашии. А что? — удивился парень, внимательно рассматривая меня.

— И училище там закончили?

— Да.

Тут из класса вышла девушка. Она не успела прикрыть за собой дверь, как мой собеседник смело проскользнул в

* Перевод А. Чистякова.

кабинет. Он пробыл там около часа. Так долго экзаменатор еще никого не держал.

— Ну как? — окружили мы его, как только он показался в коридоре.

В ответ парень пожал плечами — жест довольно хорошо известный абитуриентам всего мира. Но ликующее лицо паренька говорило, что успех сопутствовал ему.

Случилось так, что я попал с ним в одну группу и к тому же профессору, которому сдавали приемные экзамены. Учился мой новый знакомый — Миша Саватеев — осатанело. Мог сутками сидеть за роялем и десятки, сотни раз проигрывать заданные упражнения. Музыка стала его жизнью. Со временем мы так крепко подружились, что нас, как говорят, водой нельзя было разлить. Я поражался его упорству, с которым он учился. По многим дисциплинам он быстро обошел нас.

Я заметил, что чаще других вещей мой друг играл «Танец маленьких лебедей». При этом он забывал обо всем, был отрешен от всего земного. И однажды после его очередной игры я спросил:

— Что это у тебя, Миша, за привычка: каждый раз, как садишься за рояль, неизменно играешь «Танец маленьких лебедей»?

Плечи моего друга вздрогнули. Он опустил глаза, а потом пристально посмотрел на меня, но ничего не ответил. Только как-то весь обмяк.

— Что-нибудь вспомнил, да? — бесцеремонно допытывался я.

Он опять ничего не ответил и продолжал забвенно играть.

Теперь я был убежден, что с этой чарующей, неповторимой музыкой Чайковского у моего товарища были связаны какие-то воспоминания. Миша снова не видел вокруг никого. Казалось, для него сейчас весь мир погружен в грезы и звуки волшебной музыки. Он даже внешне выглядел иначе — был одухотворен и красив. Творческое вдохновение охватило все его существо. Завороженный, я боялся шевельнуться и нарушить прекрасное настроение друга.

Он закончил играть, полузакрыв глаза, откинулся на спинку стула. Миша еще, видно, слышал, как замирают послед-

ние звуки аккорда. Потом повернулся ко мне и по-детски чисто улыбнулся:

— Ты спрашивал, не напоминает ли мне что-нибудь эта мелодия?

— Да...

— И тебе очень хочется знать об этом? — каким-то таинственным и ласковым голосом спросил Миша.

Я на миг растерялся и сказал с нарочитым равнодушием:

— Конечно, послушаю, если ты расскажешь...

— Что ж, я могу рассказать. Только боюсь, что тебе это покажется неинтересным, банальным.

— Да перестань, лучше рассказывай.

— Тогда слушай и не перебивай, — тихо сказал Миша и поведал мне вот какую историю.

...Пять лет назад, в начале июля, отец, старший мой брат и я отправились в лес на заготовку бревен для дома. Брат был женат и хотел отделиться от отца. Вот мы и решили поставить ему дом. Лес был от нашей деревни километрах в двадцати, и поэтому нам пришлось, пока мы валили деревья, жить в доме лесника — фронтowego друга отца. Когда я был еще ребенком, он раза два заезжал к нам, подолгу разглядывал фотографии военных лет, вспоминал товарищей, бои. После войны прошло уже столько лет, а дядя Степан и теперь еще ходит в вылинявшей гимнастерке, в сапогах и галифе из толстого сукна.

К дому лесника мы подъехали, когда уже садилось солнце. Пройдя через глубокий овраг, мы сразу же оказались возле небольшого домика. На стук колес нашей телеги открылось окно, и хозяин радостно воскликнул:

— Елизар! Добро пожаловать, дружище! Подожди-ка, я сейчас сам выйду, — он тут же исчез, и через некоторое время раскрылись широкие ворота, за которыми был виден вместительный двор.

— Давайте, давайте заходите! — приглашал лесник, здороваясь с каждым из нас за руку. Показав на меня, спросил: — И этот твой?

— Мой, средний.

— О-о, тогда у тебя есть кого женить! — подмигнул лесник. — Так скоро опять к нам за бревнами приедете... — многозначительно намекнул он.

— Сначала пусть институт окончит.

— Студент, выходит? — с усмешкой разглядывая меня, спросил дядя Степан.

— Пока нет, а вот с осени пойдет.

— Хорошее дело... Давайте выпрягайте лошадь, сами отдохните — будьте как дома.

Дав лошади корм, мы зашли в просторную избу. В ней было чисто, уютно, обстановка словно в какой-нибудь городской квартире: на окнах капроновые занавески, у стены стоят два шкафа со стеклянными дверцами, в углу на полированной тумбе поблескивает лаком радиоприемник, крашенный пол блестит, что новый паркет. Но больше всего привлекло мое внимание пианино, гордо стоявшее в углу. «Кто же у них играет? Ведь не дядя же Степан, да и не жена его, конечно», — думал я, разглядывая пианино.

— Рассаживайтесь и будьте как дома, — еще раз пригласил нас хозяин и тут же скрылся в сенях. — Сегодня все женщины ушли, — продолжал он, быстро вернувшись и поставив на стол тарелки с солеными грибами, пахнущими чесноком и укропом. — Жена в лесу сено косит, а Лида с Георгием, одному богу известно, где целыми днями пропадают, возможно, уехали в деревню... Ну, да мы сами как-нибудь справимся, — рассуждал лесник, умело и быстро накрывая стол. Потом он открыл шкаф и водрузил на середину стола графин красного вина или настойки.

— Это ты напрасно, Степан, — с интересом поглядывая на графин, не особенно твердо произнес отец. — Не надо бы...

— Ничего. При встрече таких гостей, думаю, не помешает, — возразил хозяин и, взглянув на меня, улыбнулся. Потом он налил в граненые стаканчики вино и поставил перед нами.

— Со свиданием, Елизар Кузьмич!

Я чувствовал себя робко и отставил свою стопку, но хозяин оказался довольно настойчивым.

— Теперь ты уже взрослый, среднюю школу окончил, — сказал он. — При отце да при мне можно рюмочку пропустить, а вот на стороне или где на улице с незнакомыми — смотри у меня! — И он погрозил мне указательным пальцем с разбитым ногтем. Я выпил вино и вскоре почувствовал, как начинает у меня кружиться голова и приятная слабость охватывает все тело. Взрослые выпили еще по одной и возбужденно

заговорили, вспомнили молодые годы, фронт... Я встал и незаметно вышел из-за стола — решил прогуляться на свежем воздухе.

Дом лесника стоял посреди небольшой полянки, окруженной разнолесьем — вековыми липами, дубом и молодыми березками. Возле забора высился свежесрубленный сруб, рядом — поленницы дров. За огородом, обнесенным жердями, стоял стог свежего сена. За поляной был глубокий овраг.

Нагулявшись и почувствовав себя хорошо, я вернулся в дом. За столом по-прежнему шла оживленная беседа. Графин был уже опорожнен. По тому, как хозяин и отец спокойно посмотрели на меня, я понял, что они даже не заметили моего ухода. Хозяин горячо рассказывал о своей жизни, а отец — о колхозных делах. Дядя Степан до войны работал комбайнером, демобилизовавшись, не пошел в МТС, о чем, судя по его словам, теперь жалел и думал в недалеком будущем все же встать за штурвал комбайна.

Вдруг в открытое окно ворвался звук мотора, а через некоторое время к дому лихо подкатил мотоцикл. За рулем сидел подросток лет пятнадцати, а на заднем сидении — красивая девушка, одетая по-городскому.

— Вот и приехали! — радостно воскликнул хозяин, подходя к окну. — У меня сейчас дочка гостит. Она в консерватории учится! — с гордостью закончил хозяин.

Теперь я понял, почему в этом доме пианино.

Дочь лесника ничуть не смутилась, увидев за столом незнакомых людей. Она поздоровалась с нами и тут же ушла в другую комнату. Все это произошло так быстро, что я запомнил только ее вьющиеся волосы с легким золотистым отливом.

— Ну, как там, Лида, в деревне? — спросил дядя Степан и шепнул нам: — Возят ее, как артистку. Талант большой!

На улице снова затарахтел мотоцикл, и вскоре его шум затих за оврагами. Лидин братишка куда-то снова укатил.

— Да все там хорошо, — услышался голос девушки из своей комнаты.

— Совсем уже взрослая, — почему-то грустно заметил хозяин.

— А мамы разве дома нет? — спросила девушка, выйдя к нам и пристально разглядывая меня. Я смутился и отвел глаза.

Отец и дядя Степан заметили это и, чтобы как-то разрядить обстановку, заговорили о лесе, о погоде.

Лида не придавала этому никакого значения. Она сказала отцу, что займется домашними делами: подоит корову, приготовит пойло, накормит кур, поросят...

И действительно, к приходу матери девушка сделала всю домашнюю работу.

— Вот такая она у меня! — не удержался захмелевший хозяин.

После ужина старики еще долго беседовали, и, казалось, их разговорам не будет конца. Наконец мой отец поднялся и, потягиваясь, сказал:

— Пора, пожалуй, Степан, и на покой! Куда ты нас уложишь? — спросил он хозяина, а сам посмотрел в окно. — А нельзя ли на сеновале?

— Почему на сеновале? И в доме хватит места! Не обижайте меня!

— Сейчас на сеновале лучше, чем дома!

— Что верно, то верно, — согласился хозяин. — Недавно свежее сено привезли... Что ж, дело ваше. Дочь, приготовь-ка гостям постель на сеновале!

— Хорошо, папа, — ответила девушка и понесла на сеновал кучу одеял и подушек.

Я хотел было помочь ей, но оробел. Мне казалось тогда, что все поднимут меня на смех, даже она — Лида.

Девушка вернулась минут через десять и, проходя в свою комнату, бросила отцу:

— Пап, постель я приготовила...

В ее голосе я уловил укор.

Тишина, запах свежего сена благобно подействовали на отца и брата. Они заснули мгновенно, едва их головы коснулись подушек. А я еще долго не мог уснуть: то видел Лиду на мотоцикле, то представлял ее собирающей цветы на поляне, то слышал необыкновенные звуки — как будто она играла на пианино... Открыв глаза, я разглядел в свете луны гнездо потревоженных шмелей. Я ругал себя за робость — почему мне с ней не познакомиться днем и не помочь в домашней работе? От мыслей у меня начала гудеть голова, а щеки горели как после выпитого вина...

Сон, казалось, уже коснулся моих глаз, но в это самое

мгновение рядом с сараем душераздирающе крикнула какая-то птица. Она всполошила кур, которые закудахтали так, точно к ним ворвалась лиса. Тогда я, потеряв всякую надежду уснуть, надел сапоги, спустился по лестнице и вышел во двор.

Стояла теплая летняя ночь. Был тот час, когда лес погружается в дремотную, ничем не нарушаемую тишину. Мимо меня бесшумно пробежал белый котенок и остановился у сеней, тоненько замыкал, подняв вверх мордочку.

Не понимая, что творится со мной, я пересек поляну, освещенную луной, и углубился в лес. Как ни старался я думать об учебе, друзьях, могучих деревьях, похожих на заколдованных богатырей, мысли мои непременно возвращались к Лиде. Я явственно слышал ее голос, и луна, как мне казалось, высвечивала ее лицо, фигуру...

Не знаю, сколько я бродил по лесу, но, вконец уставший, в удивительно хорошем настроении снова вышел на поляну. Луна была уже бледной, и рассвет начинал диктовать свои права. Меркли на небе звезды, точно кто-то невидимой рукой тушил фонари.

Я почти бесшумно влез на сеновал и лег на остывшую постель. Уже в полусне я опять услышал крик какой-то птицы, потом где-то за лесом залаяла собака... Передо мной возникли лесник и все его семейство — жена, дочь, сын... Но все они исчезли так же внезапно, как и появились. Осталась только Лида. Она подошла ко мне и, нежно коснувшись руками моего лица, улыбнулась. Потом и она куда-то пропала. Я вздрогнул и проснулся... И так лежал с открытыми глазами до тех пор, пока не встали отец и брат. Я все еще чувствовал на лице прикосновение Лидиных пальцев...

Мы ушли в лес, когда все еще спали. Только дядя Степан был на ногах и торопил нас. Наскоро собрав еду, мы двинулись на делянку. Лесник довольно быстро сделал зарубки на тех деревьях, которые можно было валить. Работалось легко. Было прохладно. Тут я невольно поблагодарил в душе дядю Степана за то, что он поднял нас так рано. Охотней всех работал я, потому что торопился вернуться на кордон — к Лиде. Когда брат, отец и лесник делали перекур, я обрубал сучья, собирал их в кучу. Мое старание заметили взрослые, переглянулись, но ничего не сказали.

Возвращаясь, я с трудом сдерживал себя, чтобы не побежать. Я не слышал, о чем говорили отец и лесник. Перед моими глазами все время стоял образ Лиды, и я отчетливо слышал ее голос...

Еще издали мы слышали звуки пианино.

— Дочь играет, — улыбаясь, гордо заметил дядя Степан.

Я сразу же хотел пройти к Лиде и попросить ее поиграть что-нибудь, но проклятая робость не позволила сделать это. Расстроенный, я стал помогать дяде Степану убирать во дворе: отнес на место пилы, топоры, напоил скот...

После ужина я присел к столу и начал читать книгу. Вдруг Лида подошла ко мне и спросила:

— Что вы читаете?

Я растерялся до того, что не сразу ответил, а просто уставился на нее. Чувствуя, что Лида начинает смущаться, я наконец пролепетал:

— Военные очерки Симонова...

— Вы привезли книгу с собой?

— Нет, ваша... Я и не предполагал, что у вас такая большая библиотека.

Девушка замолчала, покусывая концы золотистых локонов.

— Куда хотите пойти учиться? — снова неожиданно спросила она, и щеки ее запылали, как спелые яблоки.

— В сельхозинститут...

— Стало быть, будете агрономом? Что ж, хорошая профессия...

— Хорошая, — согласился я, — но мне консерватория нравится больше... Только для этого нужен талант, а он дается не всем...

— Ничего, — улыбнулась она. — Хороший агроном несколько не хуже хорошего артиста.

Ее тонкие черные брови чуть заметно вздрагивали. А на щеках были ямочки. Бывают же на свете такие сказочные красавицы! Я смотрел на нее наивно, по-мальчишески думал: как такая девушка могла оказаться в лесу?

Лида, видно, заметила, что со мной творится что-то неладное, и ушла к себе так же неожиданно, как и подошла ко мне.

На мое счастье, мы остались на кордоне лесника еще на несколько дней. Правда, брат чертыхался. Но дядя Степан ска-

зал, что ему нелегко находить нужные деревья недалеко от дороги.

По вечерам я выходил за ворота и часами сидел на бревне перед домом. Лида и ее братишка Георгий присоединялись ко мне. Мы сидели втроем и разговаривали обо всем: кино, артистах, книгах, спортсменах. Если сказать правду, то говорила-то Лида, а мы слушали. Иногда она принималась смеяться над нами. Это меня обижало, и я совсем терялся. Тогда Лида догадывалась об этом, переставала смеяться и начинала разговаривать серьезно. Она расспрашивала меня о том, какие книги я читаю, чем больше всего интересуюсь. Но моя застенчивость, которую никак не мог побороть, сковывала язык, и я не мог ей сказать ни слова. При людях я еще был способен что-то вымолвить, но когда оставался с ней наедине или в присутствии ее братишки, хитро смотревшего на меня, я немел.

— Вы, я гляжу, не словоохотливы, — заметила однажды Лида. — Сами хотите стать агрономом, а разговаривать не любите. Интересно, как это вы будете изъясняться с людьми?

Поборов очередной приступ смущения, я спросил:

— О чем же мне с вами говорить?

— Вот тебе на! Можно говорить о чем угодно, например, о кошках! — Она звонко рассмеялась. — В нашем городе есть один молодой поэт, так он со мной говорит только о кошках, — вызывающе сказала она.

Я тоже притворно рассмеялся, а девушка продолжала:

— Нет, вы все-таки не любите разговаривать, — настаивала Лида. — Тогда скажите хоть, о чем вы сейчас думаете?

— Ни о чем... — буркнул я, чувствуя, как у меня горят уши.

— Не может быть! Человек всегда о чем-нибудь думает! — Зеленоватые глаза девушки смеялись, а красивое лицо ее было каменным.

— Тогда считайте меня исключением, — обрел я вдруг дар речи. — Вот в данный момент ни о чем не думаю...

— О-о! Какую тираду вы изрекли! — Лида пожала плечами и весело спросила: — Кого напоминают эти деревья?

— Которые?

— Вот те два тополя, — показала она рукой в сторону огорода.

Я посмотрел на тополя. Один из них был толстый, низкий, другой — высокий, наклонился в сторону своего неизменного соседа и точно отдыхал на его могучих ветках. Я хотел сказать об этом, но побоялся, что Лида засмеет, и выпалил:

— Не знаю...

— А мне они напоминают старика и старуху, — тихо и грустно сказала девушка. — Старушка что-то шепчет, а старик плохо слышит, потому наклонил голову и слушает... Мне очень жаль их...

Я взглянул на Лиду. Мне показалось, что она готова вот-вот заплакать. И тут я подумал: откуда появились эти два тополя здесь? Их наверняка кто-то посадил. Ведь вокруг одни дубы, клены, березы. Тополь обычно растет в деревнях.

Желая угодить девушке, хотел сказать, что я тоже почти так думал. Но опять опоздал. Раскрылось окно, и лесник позвал дочь домой. Я видел, как Лида ждала моего слова, но опять — в который уже раз! — робость оказалась сильнее меня, моих желаний.

Мы поднялись и направились в дом. По дороге Лида тихо спросила меня:

— Кто из композиторов вам больше всего нравится?

— Я люблю песню «Пастух»...

— Песню Воробьева?

— Да. «Пастух сидит на холме...»

— Спеть вам ее? — вдруг предложила Лида, переступая порог комнаты.

— Да-да, сделай милость, спой нам что-нибудь, и гости вот хотят послушать, — попросил дочь уже успевший выпить лесник.

— Хорошо, спою вам о пастухе, — теперь уже без особого вдохновения ответила Лида, подходя к пианино. Привычным движением руки она откинула крышку клавиатуры, взяла несколько аккордов и запела нежно и печально о пастухе, его нелегкой доле, безответной любви...

Мы сидели как замороженные. Чистый, как ручей, Лидин голос доходил до сердца. Я любил эту песню, однако никогда не думал, что ее можно спеть так прочувствованно. Песня захватила меня, и я, не отдавая отчета своему поступку, попросил:

— Лида, спойте еще что-нибудь! — не знаю, куда девались моя застенчивость и робость.

— Что? — повеселев, спросила Лида.

— Спой-ка, доченька, ту... песню Антонида, — попросил лесник.

— Хорошо, папа. Только ведь она тоже грустная, — сказала Лида и мельком взглянула на меня. Затем она гордо выпрямилась на стуле, пробежала пальцами по клавишам, и в доме зазвучала песня:

Не о том скорблю, подруженьки,
Я горюю не о том,
Что мне жалко доли девичьей,
Что оставлю отчий дом...

Я зачарованно смотрел на Лиду. Лицо ее в этот момент было печальным, тонкие брови нервно вздрагивали. Чувствовал я себя тогда словно в волшебном мире. Все прекрасное было сосредоточено в Лиде — ее голосе, ее красивом облике... Я и теперь слышу голос. Тогда у меня было огромное желание поцеловать ее маленькие руки, быстро бегающие по клавишам. Я не мог больше слушать и направился к двери. Как только шагнул за порог, Лида оборвала песню.

Я долго бродил по лесу, а когда вернулся, в доме, как мне показалось, все уже спали.

— Где ты шляешься? — сердито встретил меня брат, когда я залез на сеновал.

Я ничего не ответил, а брат больше не докучал. Через некоторое время он встал, достал папиросы, спички и спросил:

— Курить будешь?

Притворившись спящим, я и на этот раз промолчал.

Весь следующий день я ходил как пьяный — не знал за что братья. Был рассеян и расстроен, не мог простить своего вчерашнего поступка. «Ха! Выбежал, как кисейная барышня!»

Если брат начинал ругать меня за мою рассеянность, то отец одергивал его:

— Отстань от него! Может, ему нездоровится!

— Знаю, как ему нездоровится... — бурчал недовольно брат.

Вернувшись вечером из лесу, я ужинал без особого аппетита. Отец и брат поедали все, что подавали хозяева, и недо-

умевающе поглядывали на меня: мол, рабочий человек разве так ест! Лида сидела со мной и была нарочито весела. Это раздражало меня. Усталый физически, я пошел на сеновал и уснул довольно быстро.

Проснулся я от оглушительных ударов грома. На дворе был уже рассвет. Спустившись с сеновала, я увидел сидящих под навесом отца и брата. Они курили, о чем-то говорили вполголоса. Дождь все еще моросил, но под широким навесом было сухо. Я присел на скамеечку. И тут на крыльце появилась Лида. Я молча уставился на нее, язык мой словно прирос к небу.

— Что же вы не предложите мне сесть? — спросила девушка. — Я вам не помешаю?

— Что вы! Конечно, нет! Садитесь! — не в силах скрыть своей радости, воскликнул я и подвинулся.

Подобрав полы плаща, она села рядом со мной. И тут я почувствовал, как мне стало легко. Я начал бойко рассказывать, как мы заготавливаем для дома бревна, как я ловко научился валить деревья...

За разговором мы и не заметили, как прошел дождь и в чистом воздухе ослепительно брызнули лучи солнца. Сказочными драгоценностями засверкали капельки воды на деревьях, кустарниках, траве... А тут еще засвистели, запели, затрещали на разные голоса лесные пичуги. Как бы желая поддержать этот незатейливый лесной хор, Лида тоже запела:

Дождик, дождик,
Дождик, дождик!..

А потом неожиданно предложила:

— Пойдем за ягодами?

— Нам скоро на работу... — против своей воли ответил я.

— Мы не пойдем далеко. Я знаю одно место, где очень много малины...

— Пошли...

Лида забежала в дом и тут же вернулась с маленьким лукошком.

Мы шли по высокой мокрой траве и вскоре вымокли до колен.

— Хорошо-то как! — собирая пригоршнями с широких листьев травы воду, кричала Лида и брызгала то себе в лицо, то, хохоча, мне. Вскоре мы вышли на полянку.

— Вот и дошли! — сказала Лида. — Эту поляну называют «Раскорчевкой». Посмотрите, сколько здесь ягод!

— Кустов много, а ягод пока не вижу, — ответил я.

— Сейчас пройдем немного, и там столько, что за час можно корзину наполнить!

Мы прошли довольно солидное расстояние, но ягод и там не было.

— Мы, видно, опоздали. До нас уже кто-то тут побывал, — разочарованно сказала Лида и виновато посмотрела на меня.

Несмотря на то, что ягод мы не набрали и я сильно обжег руки крапивой, настроение у меня было отличное.

— Пошли обратно, — предложила наконец Лида.

— Пошли, — охотно согласился я.

Мы шли и болтали о самых незначительных вещах: о сегодняшнем дожде, ягодах, приближающейся осени. Глядя на меня, промокшего до пояса, Лида весело хохотала, угощала меня малиной, встречающейся кое-где по дороге. Потом, резко сменив тему разговора, неожиданно спросила:

— Скажите, почему вы не любите Глинку?

— Откуда вы взяли? — удивился я.

— Позавчера вы не дослушали, когда я пела...

Лицо мое залилось краской, но я твердо ответил:

— Нет, я очень люблю Глинку... А ушел потому, что мне не понравилось, как вы исполняли арию...

— Разве? — перебила меня Лида. — В консерватории профессора мне говорили обратное...

— Согласен, но мне не понравилось, — продолжал врать я. И тут заметил на ее лице усмешку. На миг я растерялся. Мне показалось, что она заглянула в мою душу. Ее маленькие пальцы чутко бегали по верхушкам трав и цветов. — Вы не сердитесь на меня, Лида, — попытался поправить я дело. — Ведь моя оценка для вас все равно ничего не значит. — И, желая как-то замять этот неприятный разговор, я сознался, что неуместно пошутил и спросил: — Не можете ли вы оказать мне одну услугу?

— Какую?

— Научить меня играть на пианино только одну-единственную вещь.

— Научить? — удивленно спросила она. — Но вы же не знаете нот...

— А вы научите без нот. На слух же играют...

— Не знаю, смогу ли... — в раздумье ответила она.

— А вы попробуйте.

— Что ж, попробуем. Ведь вы сегодня не скоро пойдете в лес?

— Пока не просохнет...

— Тогда бежим домой!

Я снова был недоволен собой — наговорил с короб, придумал с пианино и все для того, чтобы быть с ней.

Мы буквально вбежали в дом. Лида переделалась в своей комнате, вышла и села за пианино. На мое счастье, дом был пуст.

— Что же вы хотите разучить? — спросила Лида, открывая крышку пианино. — Вальсы для вас, я думаю, будут слишком трудны.

— А вы сами подберите что-нибудь полегче...

Ее пальцы побежали по клавишам.

— Может, что-нибудь из Чайковского? Вы знаете «Танец маленьких лебедей»?

— По радио не раз слышал.

— Тогда попробуем... Сначала я сыграю сама, а вы внимательно слушайте, — степенно, как неспособному школьнику, говорила она и от этого была еще привлекательнее.

Признаться, я не столько слушал, сколько смотрел на ее пальцы, стремительно бегавшие по клавиатуре.

— Теперь начнем осваивать произведение по частям. Слушайте, старайтесь запомнить мелодию. Если можете, то запоминайте и работу моих пальцев. — Лида все это говорила, не глядя на меня. Я даже уловил в ее голосе нотки равнодушия. — Вообще-то так никто не обучает, — продолжала она спокойно. — Но что поделаешь, если ученик желает (она сделала ударение на слове «ученик») познать классику на слух, без изучения музыкальных азов...

Лида иронизировала зло, явно желая вызвать меня на спор. Но я молчал и кивком соглашался с ее «педагогической системой». Она несколько раз сыграла первую часть и сказала наставительно:

— Внимательно следите, играю еще раз... А теперь попробуйте сами, — она посадила меня на свой стул, а сама вста-

ла рядом. — Так... так... Вот здесь у вас неправильно получается... Следите, еще раз сыграю. — Она чуть наклонилась над клавиатурой, стоя сыграла еще раз. Я уже не слышал ее строгого голоса. — Ну, что вы сидите? Играйте! — Золотистые кудряшки волос коснулись моих щек и обожгли меня.

Сбиваясь, я все же с грехом пополам уловил основную мелодию, кое-как сыграл, за что Лида удостоила меня похвалы.

— Хорошо! Теперь пойдем дальше...

Она опять стоя сыграла следующую часть. Потом играл я, затем снова она. И так десятки раз одно и то же. Я до сих пор удивляюсь, как я мог тогда довольно быстро усвоить эту мелодию. Но еще больше поражаюсь терпению Лиды, ее настойчивости.

— У вас неплохой музыкальный слух, — похвалила меня в конце занятий Лида.

В тот день я шел в лес, как на праздник, — радостный и взволнованный. Меня неотступно преследовал мотив только что разученной мелодии, избавиться от которого я уже был не в силах. Работал я с таким увлечением, что отец, как бы ненароком, заметил:

— Силушка в тебе, сынок, сегодня неизмеримая!

Заготовка бревен подходила к концу. Через два дня, как сказал отец, мы должны были возвращаться домой.

«Через два дня!.. Что же будет потом?!» Эта мысль не давала мне покоя. «Неужели я не поборю свою проклятую робость и уеду, не сказав Лиде, что люблю ее?..»

Еще два дня мы жили в доме лесника, и два дня я мучался, не зная, как поступить. Теперь мне казалось, что о моей любви знают все. Я стал избегать встреч с Лидой, уходил от разговоров с ней.

Несколько раз Лида спрашивала, не хочу ли я еще помучить, на что я глупо отвечал: болят пальцы. Тогда Лида, обиженная, уходила в свою комнату.

По ночам, когда все спали, я уходил в лес и всем существом погружался в безмолвный мир природы. Я воображал, как утром, при всех, скажу Лиде, что люблю ее, и она на глазах у всех бросится в мои объятия... В такие минуты мне казалось, что все это произойдет легко и просто. Я верил, что обязательно скажу ей о своих чувствах. Но стоило мне

увидеть девушку, как я немел, делался беспомощным, жалким...

Два дня пролетели быстро и незаметно. Наивно я полагал, что если бы мы остались еще на один день, то я непременно сказал бы Лиде о своих чувствах.

Перед отъездом домой я в последний раз сыграл «Танец маленьких лебедей». Лида стояла рядом со мной, положив руку на пианино, и следила за моей игрой.

— Вы преуспели в музыке, — не без иронии сказала она. — Продолжайте совершенствоваться, не исключено, что вы станете музыкантом. У вас слух, да и смелости вы не лишены. Я думаю, что смелости у вас даже хоть отбавляй... — Голос ее почему-то задрожал, и она отвернулась.

Отец и брат уже вывели лошадь на улицу и ждали меня. Дядя Степан о чем-то весело разговаривал с отцом и кивал в мою сторону.

Я в последний раз посмотрел на Лиду, готовый обнять и расцеловать ее.

— Ну, прощайте, — повернулась она ко мне и печально улыбнулась.

— Прощайте, — с трудом выдавил я и выбежал из дома.

С тяжелым чувством уезжал я с кордона, из уютного домика лесника, где впервые познал радость и горечь первой любви, именно любви с первого взгляда.

Всю неделю я прожил дома, как больной, — ни с кем не разговаривал, ничего не мог делать, плохо спал. Перед моими глазами стояла Лида, чуть грустная и заплаканная, с укором смотрящая на меня... Больше я не мог вынести такого. И однажды я сел на велосипед и поехал на кордон. Добродушная хозяйка встретила меня приветливо и, угадав цель моего приезда, сказала:

— А Лидочка-то наша вчера уехала в консерваторию...

Через несколько дней и я с чемоданом в руках вышел на близлежащий большак, который оказался большой дорогой моей жизни. Я поступил в институт, учился упорно, брал уроки музыки. И все это я делал ради Лиды. Смешно? Помоему, нет. Ведь благодаря встрече на кордоне я познал радость первой любви! Пусть эта любовь принесла мне немало душевных страданий, волнений, но она не прошла бесследно. Она была прекрасна! Передо мной и сейчас стоит образ

Лиды, и я постоянно слышу волшебные звуки гениального Чайковского. Там, в лесном домике, я впервые почувствовал всеобъемлющую силу музыки. Бушует ли Волга, шелестит ли ветерок вершинами придорожных ив, плывут ли в утреннем небе белые облака — все это отдается в моей душе музыкой, ставшей второй моей жизнью. Не какие-нибудь случайные обстоятельства, а именно любовь к музыке привела меня потом из института в музыкальное училище, а потом сюда, в консерваторию. И этим я обязан ей, девушке из лесного домика, научившей меня впервые исполнять «Танец маленьких лебедей»...

Мой рассказчик умолк, встал и подошел к раскрытому окну. Некоторое время он стоял молча и смотрел на улицу, потом, точно угадав мое желание, продолжил:

— Нет, больше я ее не видел. Знаю лишь, что она вышла замуж, счастлива... Ее родители? Они живут там же. Я как-то раз в каникулы посетил кордон. Но дом мне теперь показался унылым, заброшенным. Может быть, это оттого, что там не было ее. Сильно постаревший дядя Степан угостил меня медом, напоил чаем и все жаловался на свое одиночество... Я побродил вокруг дома, побывал на той поляне, где мы с Лидой искали малину. На кордон я вернулся только к вечеру. Наскоро попил чаю и покинул дом, где познал мою первую любовь. Перейдя поляну, я оглянулся. Дядя Степан стоял на крыльце и по-стариковски вяло махал рукой...

Вот и все. Вот почему дорога мне эта музыка и почему я часто ее играю...



АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ

(1922—1976)

Алексей Александрович Воробьев родился 28 октября 1922 года в д. Большие Яуши Вурнарского района Чувашской Республики.

В 1930—1937 годах учился в неполной средней школе, в 1937—1941 годах — в Цивильском сельскохозяйственном техникуме. В 1967 году окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. В дни Великой Отечественной войны защищал Родину. Под Сталинградом поэт получил тяжелое ранение и был демобилизован. Награжден боевыми медалями.

Работал в родном колхозе агрономом, председателем, позже директором Ибресинской МТС.

Первые стихи были опубликованы в Цивильской районной газете в начале 40-х годов XX века. Он является автором ряда сборников стихов и поэм, опубликованных в Чебоксарах, Москве. А. Воробьев известен и как прекрасный переводчик произведений поэтов народов СССР и зарубежья на родной язык.

А. Воробьев — лауреат премии Комсомола Чувашии им. М. Сеспеля (1972), член Союза писателей СССР с 1964 года. Награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

Умер 31 марта 1976 года в г. Чебоксары.

Молодая рожь*

Тяни из солнца сколько хочешь нитей!
А ветерок — как голубой челнок.
Весенний день ткет ярко-синий ситец.
И поле — нежное озими платок.
Смотри, как благодатно дышит почва!
И как привольно зеленым расти!

* Перевод Э. Балашова.

И озимь нынче уродилась сочной,
Густой — что и змее не проползти.
Расти и вглубь, и вширь и полни колос!
Шемящее какое имя — рожь!

Ты все перенесла:
И мертвый холод,
И дни осенние, бросающие в дрожь,

И злой зимы изменчивую слякоть,
Что вновь морозом за сердце брала,
И волосы твои рукой костлявой,
Как падчерице мачеха, драла.

Ты вытерпела все, еще не зная,
Что пробудились вешние поля.
Ты из-под снега встала молодая,
Как пред очами девушка моя.

...Любимая, любовь не торопи!
Терпи, как эта рожь.
Терпи!

Полоска*

Полоса такая в жизни, что ли?
Вспоминается полоска в поле...
Рожь кругом. Лежишь.
Колодец рядом.
Пьешь.
И в горле плещется глоток,
Словно перепелки голосок.
Смотришь в воду запыленным взглядом.
И, воспоминанья пробудив,
Детства поседевший негатив
Глянет из воды как бы в ответ.
И забытый зашумит рассвет.
И опять страда звенит серпами.
Под косыми острыми лучами,
Что кусают беспощадней ос,
Вновь и вновь меняет кожу нос.
Словно каравай на жарких углях,

* Перевод Э. Балашова.

Солнце поднялось в зенит беспечно.
Не его ль сегодня рано утром
Мама испекла в горячей печке?
На цветастом покрывале неба
Полевые васильки легли.
Точно масло для краяхи хлеба,
Полумесяц плавает вдали...
И скосила детства нам коса.
Хлеб простой
Достался так не просто.
И сегодня та же полоса,
Словно и не начата полоска.

На лугах*

...И снова детство вспоминаю,
Когда я был и бос и юн.
Как начинающий плясун,
Я на ковер лугов вступаю.
И кто мне сорок с лишним даст,
Когда увидит удивленно,
Что, как пацан, я вновь вихраст
И резв, как шалый жеребенок.
И не шипел свинец во мне,
И не сверкали кровью росы,
Не я как будто на войне
Сломал старухе-смерти косу.
В лугах играют дети ветра,
Трава кудрявая растет,
Живую грудь земли с рассвета
Цветок старательно сосет.
В реке кукушкин голос тонет,
Река прозрачна и светла.
Но, кажется, весь берег стонет,
Что моя ноша тяжела.
Что ждут меня пути нехоженые,
Непаханные ждут поля.
Цветут мои луга некошенные,
Родная трудная земля.

* Перевод В. Кострова.



НИКОЛАЙ ТЕРЕНТЬЕВ

Родился в 1925 году

Николай Терентьевич Терентьев родился 17 апреля 1925 года в д. Кошноруй Канашского района Чувашской Республики.

Окончил Чурачикскую среднюю школу, ГИТИС им. А.В. Луначарского, Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева и аспирантуру при этом же институте, Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР.

Работал актером в Чувашском государственном академическом драматическом театре им. К.В. Иванова, заведующим литературной частью этого же театра.

Как драматург Н. Терентьев заявил о себе пьесой «Сиреневая аллея» (1951). С тех пор им написано более 50 пьес. Многие годы на сценах театров республики с огромным успехом шли его пьесы «Летать начинают с земли», «Что же такое счастье?», «Помогите ведущему, журавли!», «Сибирская дивизия», «Случайная драма», «Северное сияние», «После молнии — гром», «Девушка и солдат», «Колокола души», «Пожарная лошадь» и др. Его пьесы также были поставлены на сцене Республиканского русского драматического театра Чувашской Республики и многих городов бывшего Советского Союза на русском, украинском, эстонском, татарском, башкирском и других языках. Пьеса «Помогите ведущему, журавли!», получившая воплощение на сцене чувашского академического театра, стала лауреатом Всероссийского смотра театральных коллективов (1967). В 1974 и 1982 годах пьесы «Волны бьют о берег», «Земля и девушка», «После молнии — гром» были показаны на сцене МХАТа в г. Москве.

Как отмечают искусствоведы и литературные критики, пьесы Н. Терентьева отличаются острой, увлекательной фабулой, психологической глубиной образов и драматической отточенностью, поэтической образностью диалогов. В лучших пьесах Н. Терентьева

правдиво раскрывается жизнь чувашского народа. Он выводит в своих драмах и комедиях крупные социальные и нравственные конфликты.

В творчестве народного писателя Чувашии большое место занимает устное народное творчество родного народа. По фольклорным мотивам им написаны пьесы «Леший», «Земля и девушка».

Многие пьесы известного драматурга переведены на русский язык и изданы в центральных издательствах.

Н. Терентьев проявил себя и как талантливый переводчик с русского на чувашский язык пьес А. Островского, А. Арбузова, А. Софронова, А. Коломийца и др.

Когда встает солнце...*

Драматическая история в трех действиях

(В сокращении)

Действующие лица:

Катя Серебрякова, 25 лет.

Герасим Кремнев, 25 лет.

Нина Осиповна, 50 лет.

Потап, 70—75 лет.

Виктор Александрович, 35—40 лет.

Алевтина, 23 года.

Фрося, 50 лет.

Максим, 11—12 лет.

Филин, 25 лет.

Нюра, 22 года.

Оксана, 35 лет.

ПРОЛОГ

Суперзанавес

Нагромождение ледяных глыб. Среди них чернеют палатки совместной российско-американской научной экспедиции. Два государственных флага.

Лед и небо без конца и без края. Безлюдье. Безмолвие.

Голоса по радио. В соответствии с соглашениями между двумя великими державами о совместных космических исследованиях на полигоне «Арктика-2» начинается очередной эксперимент. *(То же на английском языке.)*

* Авторизованный перевод П. Демина.

— Внимание! Внимание! Внимание! Всему персоналу лабораторий: первой, четвертой, седьмой, девятой, одиннадцатой и двенадцатой — занять свои рабочие места, остальным укрыться в зоне защиты. *(То же на английском языке.)*

— Даю готовность! Пять... Четыре... Три... Два... Один!

В небо вонзилось несколько тонких, как стрелы, световых лучей, и оно загорелось множеством ярких многоцветных радуг, постепенно сливающихся между собой и образующих величественную панораму северного сияния.

Музыка. Мажорная, торжественная. Поднимается суперзанавес.

Возникает песня. Поет Людмила Зыкина: «Оборвалась тропинка у обрыва...»

Действие первое

Городская набережная. Старый тополь у парапета. Видна часть лестничных перил, круто уходящих вниз, к Волге. Раннее утро, солнце на восходе. Судя по всему, только что кончился дождь. Под тополем жмутся друг к другу двое — Герасим и Катя, оба с головой накрылись плащами.

Катя. По-моему, уже кончился дождик, а?

Герасим. А по-моему, только начинается! По-моему, как из ведра хлещет!

Катя *(с наигранным простодушием)*. Да? Ну и пусть себе хлещет! Правда, Гера?

Герасим. Пускай наяривает!

Катя *(после паузы)*. Ой, а у меня тут что-то светится сквозь дырочку. Может, рассвело уже, а?

Герасим. Ты что! Только еще стемнело. Только-только! И познакомились мы с тобой только что. И пришли сюда только что. И вообще, Катюша, все на белом свете для нас с тобой только-только начинается!

Катя *(вдруг сбросив с головы плащ и отшивырнув в сторону)*. Ура, солнышко восходит! *(Вскакивает на парапет.)* Эге-е-ей, солнышко, здравствуй!

Герасим *(тоже вылез из-под плаща)*. Куда ты?! Смотри, вниз не сорвись! Костей не соберешь...

Катя. С добрым утром тебя, дружище огненное! Ты глянь, Гера, глянь, как быстро поднимается. Прямо на глазах из-под земли вылезает!

Герасим. Толкают сегодня дружно — в этом все дело.

Катя. Толкают? Солнце?! Кто толкает, ты что?

Герасим *(смеется)*. И чему вас только в ваших институтах учат, народные деньги переводят! Люди толкают! Кто ж еще может такую машину с места сдвинуть? Отец отца моего

отца, то есть прадед мой, тоже когда-то жил в тех краях, сам каждое утро толкать выходил.

Катя (*задумчиво*). Интересно... Как интересно! Вечные люди...

Герасим. Никакие не вечные. Одни старятся, умирают — другие встают на их место. И так без конца. Вот поэтому дела у нашего светила всегда в полном ажуре. Работает — как часы!

Катя (*после паузы*). А тебе не хочется туда, Герасим?..

Герасим. Солнце выталкивать? Куда нам, простым смертным! Наше дело — текстиль делать, Катенька. (*Поднял ее плащ.*) Вот она, наша «Слава»! Артикул 222!

Катя (*берет у него оба плаща*). Насквозь промокла твоя «Слава-222»... Давай повесим сушить. А то еще насморк схватим. Простые смертные — народ квелый. (*Повесила плащи вместе на тополиный сук, взглянула на них и весело рассмеялась.*) Ты посмотри: семейная идиллия. Муж и жена! Ха-ха-ха!

Герасим (*обиженно*). Опять смеешься... Само счастье постучалось к нам, а ты...

Катя. Да? Уже стучится?! Что же это мы такую важную персону за дверью держим! (*Делает широкий приглашающий жест рукой.*) Пожалте, уважаемое счастье, входите, милости просим!.. Чудак ты, Гера. Это же у меня зубы стучат от холода. А ты — счастье... (*Прижимается к нему.*) К утру всегда свежо бывает, правда? (*Помолчав.*) Легкомысленный ты парень, Гера. Ну я-то про тебя все знаю. А ты про меня? Кто я, что я, откуда сюда залетела. Зачем — понятия не имеешь... Может, я уже раз пять была замужем. Может, аферистка какая.

Герасим. Ну и пусть! Пусть! Не хочешь рассказать о себе — не надо. Так даже интересней. Ты пойми, я люблю тебя! С первой нашей встречи не выходишь из головы. Иду по цеху — за каждым станком вижу тебя. Сажусь за стол — рядом ты. Спать ложусь — опять ты перед глазами... Ты судьба моя, Катя, пойми...

Катя (*схватив плащ, накинула ему на голову, закружила спеленутого, повалила наземь и — бежать*). Лови! Лови свою судьбу, Гера!

Герасим гонится за ней, поймать не может. Тогда Катя сама бросается к нему в объятия.

Герасим *(тяжело дыша)*. Я двадцать пять лет искал тебя...

Катя. Выходит, тебе всего лишь двадцать пять?! Ой, а мне скоро-о — целых двадцать пять! Старуха!

Герасим *(глядя ей в глаза)*. Странная ты... Будто два человека в тебе...

Катя *(тихо, серьезно)*. Зря все это, Гера... Ой, зря...

Герасим. Знать ничего не хочу. Люблю тебя, и все! Я все в тебе люблю. И как смеешься, и как часами грустно стоишь на берегу. И как встречаешь каждый рассвет: будто впервые, будто чудо... Глаза твои люблю: то зовущие, то отталкивающие. И даже сумасбродство твое люблю, и глупую твою тайну люблю.

Катя. Домой пора... *(Вздыхнув.)* Как же ты работать будешь, бедолага? Вчера всю ночь колобродили, сегодня... Боюсь, и завтра тебе не придется спать... Ой, как быстро отпуск пролетел! Скоро уезжать. *(С грустной улыбкой.)* И откуда ты только взялся на мою голову, смешной такой парень... Вот уж не думала, что так получится... Не думала...

Герасим. Как?!

Катя. Хватит, давай разбежимся по домам.

На реке простукала моторка, где-то провыл силпый заводской гудок.

Новый день начинается... Послушай, как просыпается твой город. Только что сладко похрапывал, сны видел, и вот, пожалуйста, уже кто-то бежит сюда... Интересно, кто он — этот первопроходец нового дня?

Герасим. Хорошо бы кто-нибудь из знакомых...

Катя. Почему?

Герасим. Свидетель для загса будет, когда я тебя потяну туда... Э, да это Максимка, мерзавец! Сосед. По утрам нырять бегаёт. Давай отвернемся. Ну его к лешему...

Катя. Эгей, Максимка-а...

Герасим. Лучше с ним не связываться. Ехидный тип. Он у нас пожиратель романов. Самый толстый — за ночь! И знаешь, в чем секрет его суперчтения? Страницы с описанием любви — пропускает! Он этого дела не признает. Отвернемся, от греха... *(Поворачивает ее лицом к реке.)*

Появляется М а к с и м, рослый, чуть нескладный подросток лет 11—12, на плече полотенце, в руках ласты и маска.

Максим. Ха, отвернулись!.. Привет, Герасим Архипович!

(Лукаво прищурившись.) Доброе утречко, Зоя... а, нет, Шура... Или это Сима? Нет, вроде не она... С кем же это ты сегодня, а?

Герасим. А ну дуй отсюда, интриган несчастный! Еще и день начаться не успел, а ты уже людям пакостишь!

Максим *(удивленно)*. Чего ты кидаешься? Не узнал, что ли? Это же я, Максим, сосед твой.

Герасим. А-а, Максимка-водолаз! *(Кате.)* Куда его, в омут или в унитаз?

Катя *(смеясь)*. Простим его.

Герасим. Ты помилован. А теперь марш в воду!

Максим. Куда нам спешить. Вода еще мутная: дождик шел. *(Будто только что узнал Катю.)* А-а, это, оказывается, вон кто! Доброе утречко!

Катя. Здравствуй, Максим. А меня ты откуда знаешь?

Максим. Ха! Я все знаю.

Катя. Например?

Герасим. Иди ныряй, кому сказано!

Максим. Я считаю: раз так — женитесь. Нечего этот тополь по ночам караулить. Он и так никуда не убежит.

Катя рассмеялась.

Герасим. Вот подрастешь, кутенок, тогда и...

Максим. Я сразу женюсь. С ходу. Чего зря время убивать! Часы есть? Я нырну, а ты засекай, идет? Вчера целую минуту высидел!

Герасим *(Кате)*. В водолазы решил податься.

Максим. И смеяться нечего. В войну, знаешь, сколько пароходов, катеров по всей Волге затонуло! Некоторые до сих пор на дне лежат. Их поднять надо. Чем самовары и кастрюли всей школой собирать. *(К Кате.)* Правда?

Катя. Конечно, Максим.

Максим. А вы кем работаете? Вообще-то, я знаю: где-то там, на севере... А вот по какой специальности...

Герасим. Ну вот что, водолаз... Слишком глубоко ныряешь! Топай отсюда!

Максим. Да погоди ты! Дай же с человеком поговорить!

Катя. Я, Максимка, смотрю, как по утрам люди солнце выталкивают.

Максим. Ага... Секрет, значит? Тогда все ясно! Трудно быть физиком?

Катя. А по-твоему как?

Максим (*пожав плечами*). У меня троечки... Между прочим, водолазом быть тоже не мед. Один раз нырнул, а обратно... Тетка какая-то белье полоскала — спасла... У вас там так не бывает?

Катя (*смеется*). Бывает, водолаз. Всякое бывает. (*Герасиму*.) Жаркий день будет. Вот бы на ту сторону махнуть! По горячему песочку побегать напоследок.

Максим. Вы что, уезжаете?

Катя (*вздыхнув*). Кончается лето, Максимка...

Максим. Еще июнь только...

Герасим. А что? Идея! Кто у нас сегодня сменный мастер? Филин! Уговорю. Поработает денек за приятеля...

Катя. Попавшего в беду, да? (*Загораясь*.) Завтрак, обед, ужин у нас всегда с собой... Держи, Максимка. (*Сует ему конфету*.)

Максим. Это можно.

Герасим. Взятки, негодяй, берешь? Иначе язык не держится за зубами?

Максим. Ладно, не надо. Идите, я и за так помолчу. Слово даю! (*Уходит. Обернулся*.) Между прочим, на солнце целоваться вредно.

Герасим. Топай, топай. (*Кате*.) Только — условие: вернемся с пляжа — и сразу в загс. Оставим заявление. Не возражать!

Катя. Что-то мерзну я...

Герасим (*прижал ее к себе*). Так теплей?

Катя. Угу... Засыпаю даже...

Герасим (*встряхнул ее за плечи*). А так?

Катя. А теперь есть хочется.

Герасим (*смеется*). Ну-у, начинается!

Катя. А ты думал, быть женатым — мед?

Герасим (*радостно*). Значит, ты согласна?

Катя (*не сразу*). Нет, Герка. Это исключено. Серьезно.

Герасим (*вспылив*). Сумасбродка ты! Девчонка! (*После паузы, успокоившись*.) Ведь любишь же меня...

Катя (*задумчиво*). Не то слово, Гера... Просто не знаю, как смогу теперь жить без тебя... Не знаю.

Герасим. Ни черта тебя не поймешь! Ты что, из секты трясунув каких-нибудь, что ли? Любить — не моги, замуж —

не смей, а вышла — прямым ходом в преисподнюю, раскаленную сковородку лизать.

Катя. Угадал... Герка, милый, забудь ты меня, прошу... Так надо. Понимаешь? Ты еще полюбишь. Мало ли хороших девушек?

Герасим. Ни за что! Потерять тебя? Да я скорей умру!

Катя. Вон уже трамвайка причалила, бежим! (*Тянет его за собой.*)

Оба скрываются.

Из репродуктора. Доброе утро, товарищи, начинаем утреннюю гимнастику. Приготовиться к ходьбе. Потянулись, вздохнули, шагом — марш! Раз-два, раз-два...

Появляется дед П о т а п. Он в старенькой форме речника.

Потап. А ну, кто желает на тот берег? А ну, кто на пляжи спешит? У меня самая хорошая трамвайка, самая быстροходная, самая красивая! Пожалте на мою трамвайку, граждане! (*Увидел Герасима.*) Да это, кажись, он, Герка!.. Вот хлыст! С кем же он? Неужто сдурел парень, что с ним делать? (*В сторону реки.*) Максимка-а-а... Максим... Ты это что, как чумной дельфин, колесом ходишь! Вылазь из воды живо! Там тебя мать с ремнем поджидает.

Голос Максима. А мне это дело не к спеху, дед Потап.

Потап. Опять утопнуть хочешь, паршивец! Вылазь! Разговор есть!

Голос Максима. Сейчас-а-ас...

Потап (*в сторону Герасима*). Эхма!.. Я в его лета Зимний брал, отец до самого Берлина дотопал, а этот... И что же это за девушки пошли: в один миг охотула дуралея! Они теперь такие! Сама ничего не стоит, одни танцы на уме, а в мужья ей непременно инженера подавай, да еще не простого, не рядового, а начальника...

Натягивая рубашку на ходу, появляется М а к с и м.

Максим. Понырять не дадут. Что там, дома, пожар?

Потап. Поговори еще! Избаловали вас, вот что! В школу небось собираться пора.

Максим. «Избаловали»... Шагу не шагнешь! Достукаетесь: возьму вот и уйду к водолазам в отряд!

Потап. Эх, мокроносый! Да я у них там за самого главного! Велю принять — примут, а не велю — вертай оглобли. Понял, нет?

Максим (*униженно*). Прими, дед, а?.. Век не забуду, слово даю!

Потап. Слово он дает! Видали? Все научились слова давать — от мала до велика! Лучше скажи, с Геркой, случаем, не встретился?

Максим. С Геркой? Случаем?

Потап. Не крути. Ты всегда правду говори, коли водолазом стать надумал.

Максим (*в затруднении*). Случаем?.. Да?..

Потап. Ну, ну!..

Максим (*с отчаянием*). Ну видел же! Чего кричать-то?!

Потап. И где?

Максим. Где, где.. На твоей трамвайке вон сидят.

Потап. Ах ты злодей... Вон уж оно как! Ну, погоди! Ну, покажу я ему небо через бабушкин рукав!

Максим (*ехидно*). Их прогонишь — кого же на тот берег на своем корыте повезешь? Там больше нет ни души.

Потап. Не тебе, паршивец, мою трамвайку хаять!

Дважды гукнула сирена катера. Потап опешил.

Да это же он! Мотор завел! Ну и душегуб! Ну и хлюст!

Слышен стук мотора.

Уже и завел... Разве ж его теперь остановишь! (*Грозит кулаком.*) Ну, погоди! Узришь ты у меня небо через бабушкин рукав! (*Спускается по лестнице к реке.*)

Максим (*в сердцах шмякнул мокрое полотенце о землю*). Э-эх, Максим-Максимка, продажная ты душа! Как же это ты проговорился-то, а?

Действие второе

Прошло недели две. В квартире Кремневых подходит к концу сваддебный пир. Гости разошлись, столы сдвинуты в сторону. Кроме новобрачных здесь Нина Осиповна, Филин и Нюра. У всех уставшие, но довольные лица. Тихо играет радиола.

Катя (*у окна*). Уже солнышко к нам просится. (*Открывает занавеску.*) Входи, солнышко, будь нашим гостем! Хочешь, чокнемся с тобой шампанским!

Нина Осиповна (*подходит к ней*). Катюша... доченька... (*Обняв ее.*) Что-то я хотела... очень важное...

Нюра (*теребит за рукав Филина*). И у свадьбы конец должен быть, Филин. Все разошлись давно, одни мы засиделись. Где у нас совесть-то?

Филин. Кто последний за столом, тот на работе первый. Все нормально, Нюрочка...

Нюра. У тебя-то как раз все наоборот. Пошли.

Герасим. Ты что там крылья Филину выламываешь?

Нюра. Провожать не хочет. Кавалер тоже!

Филин. А если я не желаю уходить отсюда? Если с молодыми желаю побыть? Если я в жизни не видел никого красивей Катерины? Даю голову на отсечение, у нас таких красавиц сроду не было! (*К Кате.*) Хочешь, я тебе живого зайца поймаю?.. Живого!.. Хочешь? (*Смотрит на нее с умилением.*)

Катя (*смеясь*). Не надо зайца ловить, Филин. Пусть он бегает.

Филин. Нет, поймаю! Если хочешь знать, это в наших краях теперь самый-самый ценный зверь! Потому как ис-требле-ен!

Нина Осиповна. Ой, Филин Коля, смотри, если согласишься мою невестку!..

Филин. Нина Осиповна, миленькая, у меня же глаз не злой, это же общеизвестный факт... И смотрю я на нее... нежно-нежно...

Нина Осиповна. Не выходи за него, Нюра. Обманет.

Нюра. Да он и не берет меня. Если бы взял, я бы знала, что с ним делать!

Катя. А Филина-то я и не заметила вначале. Столько гостей, и все «горько» кричат... Прости меня, Филин, самая главная, самая чудесная птица. Прости меня, царь ночных лесов!

Нюра. Хорош царь — глаза не слушаются.

Филин. Филинам только ночью полагается... А уж день... Посему, Нюрочка, надо взять Николая Филина под белые ручки и...

Нюра. И прямым ходом — в вырезатель? Да?

Филин (*смеясь, мотает головой*). Не-ет! Ой, Герка, выручай... помру я с ней...

Герасим. Это она тебя любит так. А от любви, брат, умирать не следует.

Филин (*обвел взглядом молодых*). Хорошая была свадьба, жалко — рано кончилась... (*Поднялся*). Желаю счастья молодым. Спасибо, Нина Осиповна, и до свидания... Потап Яковлевич, дорогой!..

Потап (*входит*). Э-ей...

Филин. Спасибо за хлеб-соль. Живи, дед, до ста лет, а не уложишься — еще сотню подкинем.

Потап. Уже уходишь, что ли?

Филин. Надо, дед. Душа, конечно, не насытилась, еще бы поплясал, но молодым пора бай-бай. Спасибо всем. (*Неожиданно низко, по-старинному, поклонился до земли.*)

Нюра. Ну, живите в ладу и радости. Полну вам горницу детей, хлевы потеплей и закрома поплотней! (*Звучно целует Катю в щеку.*) Пошли, Филин.

Оба уходят.

Хозяева (*все вместе*). Спасибо, что пришли.

Нина Осиповна. Нюра, Коля! После работы сразу к нам, ждем. (*К своим.*) Пара хорошая будет...

Потап (*сдержанно*). Как знать...

Катя (*растроганно*). Нина Осиповна... мама... (*Прижалась к ней.*) Мне так хорошо у вас! Я всех вас буду очень-очень любить... А гости какие симпатичные! Сами в гостях, а сами все хозяев угощают, вот чудачки! Наши подлипковские тоже такие... Я ужасно люблю хороших людей, веселых...

Нина Осиповна. Отдохнуть пора, доченька. (*Целует ее в лоб.*) Что-то бледная ты. И лоб совсем холодный. Устала, бедняжка?

Катя. Водички бы... глоток...

Нина Осиповна. Идем на кухню, деточка.

Обе уходят.

Потап (*ворчливо*). Свадьба, она красивше, ежели невеста поплачет малость... А эта все хохочет, как ненормальная. Сигает больше всех да скачет. Обрадовалась... Некрасиво...

Герасим. Это ваши невесты плакали, дед, а нашим с какой стати? По доброму согласию, по любви выходят. Какая же тут логика на свадьбе слезы лить?

Потап. Логика есть. Один вечерок могла бы и поплакать,

не усохла бы. Для чего это встарь делалось? Для порядка. Для проформы. А уж потом танцуйте эти ваши танцы леших: швейк, свист, елки-палки всякие...

Герасим. Не елки-палки, дед, а летка-енка.

Потап. Один бес — срамота! Порядочная невеста разве станет на своей свадьбе так горячиться?

Герасим. Ты хотел бы, чтобы мы на своей свадьбе «аллилуйя» пели?

Потап (*вспылив*). «Аллилуйя» и мы не пели! Мы «Смело, товарищи, в ногу» пели, вот что! (*Помолчав.*) Боюсь, поспешил ты, парень.

Герасим. Поздно бояться, дедуля. Чокнемся? Чтоб родился у тебя внучек, на тебя похожий!

Потап (*вздыхнув*). Гляди, тебе жить, не мне.

Чокаются, пьют. Входят Нина Осиповна и Катя.

Нина Осиповна. Спать-то мы сегодня будем?

Катя. А мне на воздух что-то захотелось... Пошли, Гера? На людей посмотрим, ходим к нашему тополи. (*Распахивает окно.*)

Из репродуктора (*с улицы*). Начинаем первое упражнение. По счету «раз» руки раздвигаем в стороны, правую ногу отвести назад, по счету «два» — в исходное положение. Начали! Ра-аз, два-а, ра-аз, два-а...

Потап. Жаркий день будет, народ за Волгу потянется. А трамвайка моя снова захандрила. До обеда проковыряюсь. А люди в очереди томись! Сколько в этих проклятых очередях золотого времени людского гибнет!

Нина Осиповна. Да, постарели вы со своей трамвайкой оба, отец.

Потап. Я-то еще ничего, а вот трамвайка... Мотор бы ей новый поставить, да где его взять!

Катя. Раз она так нужна людям, надо найти мотор!

Потап. Искал. Начальство все с шуточками. Катайся, говорят, дед, пока сама в музей не запросится. Понимаю: и на хозяина намек...

Катя. Довольно странное у вас начальство, дедушка!

Герасим. А у него все странные.

Потап. Ладно. Шли бы спать. И сам вздремну малость. (*Нине Осиповне.*) Завтра со стола-то уберешь, иди.

Н и н а О с и п о в н а уносит часть посуды. Потап взял бутылку.

И что за молодежь пошла? Такой коньяк — и не допить! *(Наполняет рюмку, выпивает, крикает от удовольствия.)* Им швейк подавай. *(Бормоча что-то под нос, уходит.)*

Катя. Фантастика! Сон! Мы — муж и жена! И мне ужасно хорошо, Герка! Спасибо тебе за этот сон...

Герасим *(довольно смеется)*. Все-таки вышло-то по-моему, а?

Катя *(в ответ целует его)*. Давай потанцуем. Только тихо. Герасим. Давай.

Танцуют.

Катя *(вдруг остановилась)*. Устала...

Герасим. Отдохнем.

Катя. Нет. Давай лучше вальс. Только тихо, внизу спят еще.

Танцуют. За окном — шум просыпающегося города.

Подожди... *(Остановилась, повиснув на плече Герасима.)*

Герасим. Что с тобой, Катюша?

Катя *(улыбаясь через силу)*. Голова закружилась... Пьяная совсем...

Герасим. Что за шутки? Ты же не пила почти!

Катя. Сейчас пройдет... Сейчас... Проводи меня до стула.

Герасим поднимает ее на руки, осторожно усаживает на стул.

Герасим *(встревоженно)*. Ты же ничего не пила... Побелела как мел. И пот градом... Дать воды? *(Быстро уходит на кухню.)*

Катя *(закрыв глаза)*. Неужели все?.. Неужели конец? Предупреждала же я тебя, Герасим... слушать не хотел... *(Пытается встать, но ноги подкашиваются, и она опускается на пол.)*

Вбегает Нина Осиповна, за ней Герасим с водой и Потап.

Нина Осиповна. Что с ней?! Деточка, что с тобой? Гера, помоги...

Нина Осиповна и Герасим укладывают Катю на диван.

Скорей зови «неотложку»!

Герасим убегает.

Катя *(слабо)*. А у нас там солнце... совсем на ваше не похожее... Огромное, красное, а тепла нет... Вы не пугайтесь, мама, дедушка...

Нина Осиповна (*показала Потану взглядом на окно*). Закрой. (*Кате*.) Ты лежи, лежи, доченька. Сейчас доктор придет. Больница у нас рядом. Новая. Сейчас придет...

Потап (*задергивая занавеску на окне*). Прыгать-то поменьше надо было, ежели так...

Катя. Я его очень полюбила... вашего Герасима... В этом только виновата... Я не должна была... не имела морального права.

Потап. Бредит, кажись.

Катя. Не брежу я, дедушка. Не брежу... (*Хочет встать*.) Воды, если можно...

Нина Осиповна. Лежи, лежи, сейчас.

Потап торопливо подает Нине Осиповне стакан, принесенный Герасимом. Катя, приподнявшись, жадно пьет.

Катя. Спасибо... А шторы зря задернули. Пусть солнце...

Потап (*открывает занавеску*). И то правда.

Нина Осиповна. Полегчало малость, да?

Катя. Лучше... Уже лучше. Я напугала вас; пожалуйста, простите. Голова закружилась... Сейчас лучше.

Нина Осиповна. Притомилась.

Потап. У тебя что же, и раньше так случалось?

Катя. Раньше? Раньше — нет... (*Садится*.)

Нина Осиповна. Отец, подождал бы ты со своими расспросами.

Потап. Ты вот чего, ты не поднимайся, полежи.

Катя. Нет, нет, лежать мне хуже. Уже все прошло. Лучше походить немного... (*Поддерживаемая Ниной Осиповной встает с дивана*.) А столы-то мы как танцевали, так и не поставили на место... (*Остановилась перед картиной, изображающей северное сияние. Долго смотрит на нее*.)

Нина Осиповна и дед Потап, переглянувшись, внимательно следят за ней.

(*Задумчиво*.) Полярное сияние... Подарок Солнца Земле... Величественное зрелище... (*Со вздохом*.) Знал бы ты, художник, какое коварство порою скрыто в этой красоте, то нарисовал бы все иначе...

Нина Осиповна (*с тревогой, Потану*). Господи, сама же она принесла Герасиму эту картину, сама... (*Кате*.) Ты это про что, доченька? Какой подарок? Какое коварство Солнца?

Катя. Я про художника, мама. Завидую я ему: увидел в этом только игру красок...

Потап (*настороженно*). А чего же не увидел он, по-твоему?

Катя. Чего и не надо ему видеть: смерть. Смерть, которая приходит из космоса в околоземное пространство вместе с потоком солнечных частиц, зажигающих эту полярную раду-гу. Космические катастрофы...

Потап. И ты... ты, стало быть... ее видела, или как?

Катя (*не сразу*). Видела.

Потап. Где ж это?

Катя. В кино...

Быстро входит Герасим с врачом Виктором Александровичем и медсестрой Алевтиной.

Нина Осиповна. Слава богу! Доктор...

Виктор Александрович. Кто болен?! (*К Кате*.) Что с вами?

Катя. Видите ли... у меня все уже прошло...

Нина Осиповна. Обморок. Видно, от слабости.

Виктор Александрович (*Алевтине*). Температура?

Катя. Не надо, доктор. Ни к чему.

Виктор Александрович (*подозрительно*). Говорите, что у вас?

Катя молчит.

Так... Попрошу всех выйти.

Все выходят из комнаты.

Говорите. Ну?

Катя. Доктор, у меня... доза. Только это между нами.

Виктор Александрович. Что за бред? Вы что, смеетесь? Откуда у вас может это быть?

Катя. Я лечусь в Москве. Здесь оказалась случайно... У вас есть нужные специалисты? Впрочем, это уже не имеет значения...

Виктор Александрович (*нахмурился*). Раньше симптомы были?

Катя. Это первый звоночек.

Виктор Александрович. Собирайтесь. (*В дверь*.) Сестра!

Входят А л е в т и н а и все остальные.

Сестра, носилки, санитаров сюда... (*Что-то шепчет*.)

Катя. Нет, нет, никаких носилок. Я сама. *(К Алевтине.)*
Вас как зовут?

Алевтина. Аля, Алевтина.

Катя. Вот мы с Алечкой и спустимся по лестнице. *(С виноватой улыбкой смотрит на всех.)* Себе — радость, а вам — хлопоты. Простите, ради бога. Я вас всех ужасно люблю.

Герасим *(к врачу)*. Это очень опасно, доктор?

Катя. Нет, Гера, нет! Я скоро вернусь. Не беспокойтесь. Вы лучше отдохните. *(Врачу.)* Знаете, мы тут целую ночь плясали, всему дому не давали спать. До свидания, мама, дедушка. *(Целует их.)* До свидания, Герочка. Предупреждала я тебя, а ты... Легкомысленный ты парень и упрямый... *(Целует его, уходит в сопровождении Алевтины и врача.)*

Пауза.

Нина Осиповна. В себя не могу прийти. Что все это значит, Герасим? Тебе известно что-нибудь?

Герасим *(сам с собой)*. Почему же я не провожаю ее?

Нина Осиповна. Герасим! О чем она тебя предупреждала?

Герасим *(не сразу)*. Она? Говорила, что не имеет права... Не хотела, чтобы мы поженились.

Нина Осиповна. А ты что же — очертя голову?

Герасим. Я люблю ее, мама.

Нина Осиповна. Боже мой, боже мой! Какой ты еще ребенок! Она же... У нее...

Потап *(резко)*. Погоди, сноха, не то ты говоришь. Похоже, не за ту птицу мы ее приняли. *(Герасиму.)* Когда же это она в свои лета узнать успела про разные космические катастрофы?

Герасим. Какие космические катастрофы? Ты что? Я пошел... *(Идет к двери.)*

Нина Осиповна. Куда?

Герасим. К ней. Под окном постою. *(Уходит.)*

Нина Осиповна *(идет следом)*. Вот несчастье-то, господи...

Потап. Вот тебе и трясогузка! *(Потоптавшись в раздумье, тоже уходит.)*

Сцена некоторое время пуста. Затем в одном из окон показывается малярная люлька, на ней осторожно спускается Максим. Задержался на подоконнике, озираясь, потом проникает в комнату. Крадется, пряча за спиной березовое полено. Возвращается Потап.

Максимка! Откуда ты, бесенок?

Максим (*прижав палец к губам, показал на окно*). Т-с! Оттуда. Еще не ложились?

Потап. Кто?

Максим. Да молодые же!

Потап. Чего опять выдумал, паршивец?

Максим. Тихо же! (*Показывает полено.*)

Потап. Ты вот что, ты свои фокусы бросай! Не до них.

Максим (*с досадой*). Старый человек, а не понимает... Женуху с невестой полагаются под перину полено сунуть. На счастье, понимаешь? Как же ты, старый человек, а в таких делах ни бум-бум? А, дед Потап?

Потап. Иди-ка, брат, домой.

Максим. Э-э, с тобой разве кашу сварить?

Потап. Не сварить, Максимка. Заболела она, наша Катерина. В больницу увезли.

Максим. В больницу?! А что с ней?

Потап. Похоже, нам с тобой про то не скажут.

Звонок в передней.

Иди-ка лучше дверь открой. А вечером придешь.

Максим, понутив голову, уходит. Входит Алевтина, за ней Нина Осиповна. Алевтина не спеша проходит, не спеша садится, рассматривает комнату. Нина Осиповна и Потап вопросительно смотрят на нее.

Алевтина. Муж где?

Нина Осиповна. Туда ушел... к ней.

Алевтина. Не пустят.

Потап (*осторожно*). Ты бы не томила, дочка...

Алевтина. Паспорт. Тапочки. Клубника... (*Достала бумажку, заглянула.*) Или земляника.

Нина Осиповна. Что?

Алевтина. Неужели непонятно? Вообще-то паспорт у нас не всегда требуется, но тут такой случай... Тапочки лучше новые. У нас, сами знаете, какие. А к ней кандидата наук из Москвы вызвали. Неудобно.

Нина Осиповна. Это мы все принесем, не беспокойтесь...

Алевтина. Клубника всем полезна, а ей — особенно.

Нина Осиповна (*с нетерпением*). Как она?

Алевтина (*резко*). Я же вам сказала! (*Спокойней.*) Извиняюсь... Из Москвы консультанта по ее болезни вызвали. Главный сам звонил. И необходимые лекарства привезут. В отдельную палату поместили: указание обкома.

Потап. А что же у нее, милая?

Алевтина. Разве сами не знаете? Облученная она у вас.

Нина Осиповна. Как это?

Алевтина. Кинокартину «Девять дней одного года» видели?

Потап как-то странно крикнул и опустил голову. Нина Осиповна ничего не поняла.

Только вот мы, персонал, никак не можем сообразить, откуда это у нее? С виду такая... ничего особенного... Откуда она у вас хоть взялась-то?

Нина Осиповна. Погостить приехала. Говорит, на родные места поглядеть захотелось, в Волге искупаться. Родом она из чувашской деревни, километров шесть отсюда. Никого там не осталось у нее, родные померли, сироткой выросла. А здесь какая-то дальняя родственница живет, старушка. К ней и приехала. Герасим, сын мой, на пляже с ней познакомился. Друг дружке полюбились, сегодня свадьбу справили, и вот... Надо же, беда какая!

Алевтина (*поднимаясь*). Не расстраивайтесь. Нервы надо беречь. (*Собирается уходить.*)

Потап. Погоди, дочка. Ты скажи мне... Выживет?

Алевтина. Я же сказала: «Девять дней» смотрели? Ну вот. Может, полгода, может, чуть больше...

Потап (*тихо*). Она знает об этом?

Алевтина. А как же!

Молчание.

Не забудьте, скажите мужу, пусть все перечисленное доставит... Хотя какой он ей муж! До свидания. (*Уходит. Обернулась.*) А она у вас веселая! До свидания. (*Ушла.*)

Потап (*после паузы*). Полгода... Шесть месяцев...

Нина Осиповна. Кто бы мог подумать, господи! Девочка, совсем и не жила еще... И такая душевная... (*Вытирая слезы, уходит на кухню.*)

Потап задумчиво подходит к окну, распахивает.

Из репродуктора (*на улице*). Освоение космического пространства требует объединения усилий многих стран ради счастливого будущего грядущих поколений.

Потап (*захлопывает окно*). «Ради счастливого будущего...»

Занавес.



ВЕНИАМИН ПОГИЛЬДЯКОВ

(1926—2001)

Вениамин Васильевич Погильдяков родился 16 сентября 1926 года в с. Стюхино Похвистневского района Самарской области.

Окончил среднюю школу, Бугурусланский учительский институт, Всесоюзный государственный институт кинематографии.

Работал в редакциях газет «Комсомольское племя» (г. Оренбург), «Волжский комсомолец» (г. Самара), «Молодой коммунист» (г. Чебоксары), в Чебоксарской студии телевидения.

В. Погильдяков — участник войны против империалистической Японии. За боевые заслуги награжден орденом Отечественной войны 1-й степени и многими медалями.

В 1957 году переехал жить в г. Чебоксары.

Широкую известность писателю принесли художественные произведения, отражающие события военных лет, отличающиеся искренностью и влюбленностью автора в своих героев («Живыми в землю не ложатся», «Курай» и др.).

Под влиянием русской классической литературы творчество В. Погильдякова получило мощный импульс. Он писал как на чувашском, так и на русском языках. Публицистические статьи и художественные очерки опубликованы в центральных журналах и газетах.

Член Союза писателей СССР с 1971 года, Союза кинематографистов с 1976 года.

За плодотворную литературно-общественную деятельность награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Чувашской АССР.

В. Погильдяков — автор ряда сценариев художественных и документальных фильмов.

Основные издания В. Погильдякова: «Живыми в землю не ложатся», «Экзамен», «Курай», «Войди в мой дом» и др.

Умер в 2001 году в г. Чебоксары.

Пехиль

Отрывок из повести «Курай»

— Вставай! Вставай, мой батыр!

Шершавые руки матери гладят мои щеки, ерошат жесткие волосы, шекочут грудь, горячие губы ее целуют мои сонные глаза, касаются ресниц, шеи, шепчут над ухом:

— Вставай раньше раннего солнца, раньше ранней птицы, умой лицо на студеной речке и спешి в поле...

Я маленький и не понимаю, почему надо просыпаться раньше солнца, умыть лицо на холодной речке и торопиться в поле. Утром всегда хочется спать. Но сильные руки матери отрывают меня от теплой постели и усаживают на свои колени.

— Пусть трехлетний сын помогает отцу, — гладит она меня по головке. — Кто помогает отцу, тот вырастет батыром.

Она опускает меня, босого, на холодный пол, а сама вновь наклоняется к другой сонной головке:

— Вставай, моя маленькая пиге!¹ Вставай раньше ранней зари. Пусть трехлетняя дочь помогает матери. Умой лицо на студеной речке и бери в руки иголку.

Я, придерживаясь за косяк, перелезаю за высокий порог, выхожу на крыльцо, спускаюсь на мокрую от росы траву. В росе мокнут ноги, тело от холода покрывается синими прыщиками.

Из-под нашего крыльца показывается лохматая голова. Я никогда не видел такого грозного, как петух, мальчика. Он тянет за собой козу за рога.

Я испуганно спрашиваю:

— Кто ты?

— Лаврук! — неохотно отзывается он. — Топай отсюда, жених! Вон тебя твой отец ждет. — И, угостив на дорогу щелчком, толкает к воротам.

У наших ворот, на крыше которых днем и ночью дремлют деревянные петухи, земля обрывается, как край наших полатей. Дальше ворот земли нет.

Но к чему тогда хапха?

Я осторожно, словно в птичье гнездо, просовываю руку

¹ Пиге — красавица.

между досок и тяну к себе дверь. В хапхе образуется шель, в ней вырастает огромный красный солнечный шар. И от моих ног, как черная кошма, к нему стелется земля.

Удивительно, земля не кончается у наших ворот! Хапха — это не край земли. Хапха — это просто ворота. Ворота в наш дом, ворота из нашего дома. У ворот на привязи, похрапывая, стоят кони. Отец, видно, поджидая меня, расчесывает их длинные гривы и гладит гнутые шеи. Увидев меня под ногами лошадей, он наклоняется ко мне, и над головой я слышу его голос:

— Ты опять солнце проспал, и курай давно пропел.

— Курай — это петух? — спрашиваю я отца.

— Курай это не петух! — улыбается он и берет меня на руки.

— А почему он тогда рано поет?

— Чтобы ты скорее вырос.

Отец подымает меня высоко-высоко, сажает на спину лошади и в руки дает поводья.

— Держи крепко, кони — крылья мужчины! Когда человек на коне, далеко видит.

Я гордо оглядываюсь вокруг. Я — выше отца, выше высокого забора и вижу, как в избе сестренка Кулине усаживается на подоконник, чтобы быть ближе к солнцу, в ее руке — иголка с ниткой, и она наносит на холст узор. Холст ее белее луны, узор — краше солнца.

Я поворачиваю голову в другую сторону и вижу: далеко-далеко за селом есть еще ворота. Это — полевая хапха. Она — ничья, общая для всей деревни. И за ней — опять земля. Весною, рассказывает отец, вся она черная и кудрявая от ровных борозд, как наш вывернутый тулуп, осенью — в золоте от спелых хлебов.

Отец садится на другого коня, и мы трогаемся. Из дома к нам выходит мать и тоже идет рядом с нами. Она передает мне холщовый мешок — в нем горячий хлеб. А в ее устах — древние слова:

— Пусть твоя добрая голова имеет добрые цели. Пусть твой добрый конь добро скачет.

Одной рукой она придерживает повод моего коня и шагает рядом со мной до самых полевых ворот и говорит, говорит, говорит:

— Пусть у тебя на семи полях будет семь загонов, на каждом загоне семь видов хлеба. В семи деревнях — семьдесят семь друзей.

Меня впервые посадили на коня, и в первый раз я выезжаю за полевые ворота. И впервые еще узнаю от матери, что путь от отцовского порога до полевых ворот — только тропинка. За полевыми воротами — дорога. Тропинка связывает человека с человеком, дорога — село с селом, народ с народом.

От порога до полевых ворот восемнадцать лет пути. За полевыми воротами — вся жизнь. До полевых ворот дети идут рядом с родителями, а за полевыми воротами нет ни отца, ни матери.

Вот и моя мать прощается со мной. Она уходит от меня по высокой ржи, словно уплывает, разгребая руками хлебные волны. На ее плече, как серп, тонкая луна, и она, играя стальным блеском, тоже уходит куда-то вдаль вместе с матерью. По правде, мать несет на плече не луну, а серп. Луна, когда она только нарождается, похожа на серп, а серп бывает похожим на молодую луну...

Мать удаляется от меня как-то боком, машет рукой, и я еще слышу ее напутствие:

— Пусть дорога твоя будет гладкой, место для отдыха сухим! Увидишь мужчину — назови дядей, увидишь женщину — назови тетей, парня встретишь — назови братом, встретишь девушку — назови сестрою...

Я не знаю, куда меня увозит отец. Может, мы спешим на студеную речку Анлы, может, мы скачем искать край земли, где горит солнце огромным красным пожаром. И земля от его ярких лучей вся в золоте: от полевых ворот и до самого голубого края неба. Мы летим с отцом в эту голубую даль. Наши крылья — кони.

До самой земли склоняют нам свои золотые головы колосья: то ли провожают, то ли встречают — тянутся и тянутся ко мне, усатые, щекочут босые ноги, голые колени, руки.

— Лови их, ищи два колоса на одном стебле, — наклоняется ко мне отец, — парный колос приносит в дом счастье и богатство...

Машут крыльями ветряки — деревянные мамонты в хлебном море. И они куда-то плывут мимо нас. Какая большая земля, и вся она в золотых хлебных колосьях!

— Вот и приехали! — говорит мне отец, останавливая лошадь у хлебной стены.

У хлебной стены, где мы остановились, стоит наша мать и хитро улыбается мне. Она никуда не убегала от меня, просто ей хотелось раньше нас напрямик прибежать на край загона. Отец ссаживает меня с коня на руки матери. Я оказываюсь на земле.

— Будем хлеб жать! — говорит он, спрыгнув с лошади.

Цепкие его пальцы собирают в один большой пучок высокие стебли ржи, крепко сжимают их в ладони и с корнем вырывают из земли. Он разделяет этот пучок пополам, сращивая обе половины, удлиняет, скручивает их вместе и кладет на землю.

— Это будет перевясло, — объясняет отец.

Мать передает ему серп, похожий на луну. Его пальцы вновь захватывают горсть стеблей, другая рука с серпом ныряет в густую рожь, делает рывок к себе. И хлеб, подрезанный под корень, падает.

Колосья то наклоняются перед отцом, то взлетают над его головой, как лебеди, и плавно опускаются на перевясло. Он жнет быстро и красиво. Мать берет концы перевясла, соединяет их вместе, коленкой надавливает на хлебную корку, одним, незаметным для глаза моего, быстрым движением руки скручивает их в тугий узел, и с земли вскакивает высокая, стройная, золотоволосая девушка. Это — сноп.

С соседнего загона к нам подходит Иван-пиче, мой дядя, полюбоваться нашим первым снопом. Он радуется вместе с нами: вырос хороший урожай и осенью амбары будут полны хлеба.

— Когда полны амбары, — говорит он отцу, — дети растут быстро и гостей встречать хорошо. Когда полон дом гостей, никакие враги не страшны.

Иван-пиче — бывший красный командир — воевал с белями на Урале. Он и теперь ходит в высоких армейских сапогах, в фуражке со звездой. Зимой на нем длинная, до пят, шинель с малиновыми петлицами. А теперь он в колхозе бригадир.

Иван-пиче подводит меня к хлебной стене.

— А ну-ка ты попробуй! — и подает свой серп. — Могуший поднять ложку да поднимет и серп.

Я радостно встаю рядом с отцом. В страду — каждый жнец. И трехлетний сын помогает отцу, трехлетняя дочь — матери. На моей ладони несколько стебельков. Я, как и отец, крепко сжимаю их пальцами, они еще холодные от росы, заносу под левую руку серп и сильным рывком дергаю к себе:

— А-а-а!

Серп выпадает из рук на стерню. Я подношу к своему лицу ладонь — с мизинца на землю падают крупные красные капли: кап! кап! кап!

— А-а-а! — еще сильнее реву я от страха.

— Терпи, будь батыром! — строго говорит мне Иванпиче. — Мужчины не плачут.

Отец успокаивает ласково и просто:

— Ничего, до свадьбы заживет!

Мать берет шепотку земли, растерев ее в мягкую пыль, сыплет на рану и монотонно шепчет юн чёлхи — заговаривает кровь:

— Течет кровь не с пальца Ильбатора. Она течет с собачьего хвоста. Не палец Ильбатора порезан, это отрезали заячий хвост. У Ильбатора ничего не болит. Это у лисы хвост болит. Заживает и кошачий хвост, палец Ильбатора заживет еще быстрее. — Семь раз сказала: «Сирлах!»

Сыплется и сыплется на рану пыльный порошок, кровь не может пробиться сквозь его черный слой.

Я на руках матери, она прижимает меня к груди и укачивает, шагая по стерне.

— Эй, Пюлех! Пусть никогда кровь моих детей не прольется на землю, слезы не упадут на пашню. Земля будет полита дождем, пашни — засеяны хлебами.

Она, успокаивая меня, несет к телеге. И мне кажется, я снова лечу на резвом коне. Я остаюсь один, видно, засыпаю или далеко ускакал от села. За полевыми воротами не бывает ни отца, ни матери. Но я еще слышу ее голос:

«Пусть дорога твоя будет ровной, а место для отдыха сухим. Встретишь мужчину — назови дядей, встретишь женщину — назови тетей...»

Я лечу по широкой дороге на быстром, как ветер, скакуне. У моей дороги нет конца, у земли — края. В сердце

¹ Сирлах (чуваш.) — довольствуйся.

звонит, как песня, материнское напутствие — пехиль. А в дорожной сумке лежит хлеб родной земли. Хлебом сильны и человек, и государство.

Лишь бы дорога была ровной да поля цвели золотыми колосьями, лишь бы кровь никогда не проливалась на землю и слезы не падали на хлебную пашню, да в сердце, как дар, жил голос матери:

«Вставай раньше солнца, раньше ранней птицы, умой лицо на студеной речке и спеши в поле.

Встретит парень солнце на поле — станет батыром. Встретит девушка — вырастет красавицей. Когда дети спешат в поле раньше ранней птицы, обязательно найдут во ржи два колоса на одном стебле. Парный колос приносит в дом богатство и счастье...»



ГЕННАДИЙ ВОЛКОВ

Родился в 1927 году

Геннадий Никандрович Волков родился 31 октября 1927 года в с. Большие Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики.

Учился в Большеяльчикской неполной средней, Яльчикской средней школах, на физико-математическом факультете Чувашского государственного педагогического института им. И. Я. Яковлева. Окончил аспирантуру, защитил диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук (1954), доктора педагогических наук (1968).

Работал учителем, преподавателем вуза, научным сотрудником, заведующим лабораторией этнопедагогики Государственного научно-исследовательского института семьи и воспитания Российской академии образования.

Первая публикация относится к 1946 году. С этого времени им выпущено более десяти книг рассказов, очерков, повестей на чувашском и русском языках. Многие из них посвящены идее единения людей на основе «семи благословений» чувашей — любовь ребенка к родителям, людям, родному языку, природе, труду, Родине и т. д. Любовь к родине, родной Чувашии Г. Н. Волков рассматривает, как и И. Я. Яковлев, в непрерывной связи с любовью к России, человечеству.

Человеческое достоинство, национальная гордость, знание своей истории, материнского языка, отчей культуры, корней должны стать самым элементарным, самым необходимым качеством личности — вот основная идея художественно-педагогических произведений писателя, публициста Г. Волкова.

Творчество Г. Волкова многогранно. В своих рассказах, притчах, сказках, педагогических работах писатель-педагог концентрированно представляет читателю общечеловеческие ценности. Для него в литературе и педагогике главное — народность, человек-

ность, благородство, великодушие, любовь. Его педагогика — это педагогика любви. Г. Волков является основателем нового направления в педагогической науке — этнопедагогике.

Г. Волков известен и как переводчик нравоучительных рассказов Л. Толстого, К. Ушинского, В. Сухомлинского и др. Произведения самого писателя переведены на многие языки народов России и зарубежных стран.

Г. Волков крупный ученый-педагог, профессор, действительный член Академии педагогических наук России.

За заслуги в области народного образования, подготовке научно-педагогических кадров Г. Волкову присвоены почетные звания «Заслуженный учитель Чувашской Республики», «Заслуженный работник народного образования Республики Саха», «Отличник народного образования Республики Кыргызстан», «Заслуженный деятель науки Республики Тыва», «Заслуженный деятель науки Республики Калмыкия», почетный доктор Эрфуртского университета, удостоен золотой медали Гердера «За выдающиеся заслуги в распространении русского языка и русской культуры» (Германия). Является лауреатом премии Академии педагогических наук СССР им. К. Ушинского. Г.Н. Волков Почетный гражданин Чувашской Республики.

Проживает в г. Москве.

Золотая колыбель

Сентиментальный монолог

(В сокращении)

Дом отца и матери — золотая колыбель.
Край отца и матери — добрая вселенная.

Из плача невесты на чувашской свадьбе

Тетради на подоконнике больничной палаты. Их оставил мне человек, место которого я занял. Его увезли, а тетради остались. Где он сейчас: на операционном столе, в другом отделении, а может, его кто-то уже оплакивает? Пока я не знаю. Читаю тетради. Они для меня как привет человека, о судьбе которого я знаю не больше вас.

Это монолог отца, который исповедуется перед дочерью. А может, и не только перед дочерью — перед Чувашией, Россией, человечеством. Сентиментальный монолог... Но только

это не те сентименты, которые называют слезливыми. Что угодно думайте о письмах, только не думайте, что это предсмертные размышления обреченного. Он очень любил дочь. Он многих любил. Судя по всему, он уже здесь, в больничной палате, успел полюбить Женю. И зачем только болеют люди? Я желаю Вам много здоровья и прежде всего здоровья! Привет вам. Салам.

Зов родины

2

Мила та сторонка, где пупок резан.

Русская пословица

Хлеб надо заслужить каким-либо делом. Нет дела, внушала бабушка, перед обедом переставь на другое место хотя бы чурбан, на котором придется сидеть.

Перед обедом опять пишу тебе. Так буду каждый день до самой операции. Писать буду и утром, и днем, и вечером. Отчет о твоей и моей жизни будет действием, оправдывающим мое вынужденное дармоедство.

Материнское чувство пробуждается рано, еще до рождения ребенка. Первый крик новорожденного равносителен для матери сотворению мира. У отца по-другому...

Вспоминаю слова свадебного благословения.

— Не мы выдумали обычай жениться. Не мы отменим обычай выходить замуж. И птицы живут парами, выводят птенцов. И пчелы живут семьями, мед носят. И вы сегодня стоите перед нами, становясь мужем и женой. Будьте как орел с орлицей: здоровы, смелы и свободны. Будьте как пчелы в улье: многочисленны, дружны, трудолюбивы.

— Иголка без нитки — ничто. Крышка без кадки — дрова, ключ без замка — мусор. Будьте как иголка с ниткой. Как крышка с кадкой. Как замок с ключом.

— Орешник плодится, пуская корни от корней, ростки от ростков. Будьте как орешник. Будьте как лес.

— Пусть жена будет двенадцать раз беременной. И пусть муж станет отцом девяти сыновей и трех дочерей.

И родилась у меня ты. Девочка.

Ты, долгожданная, явилась. Акушерка, приветствуя рождение новой жизни, шлепнула тебя... Ты закричала, привет-

ствую свободу, глубоко вздохнула — первый вздох на земле.

Родилась ты в Европе. На родине самых европейских азиатов. Перед моими глазами тысячелетний опыт тувинцев-тодзийцев, мудрых и добрых азиатов, помню их совет — не бить ребенка. Решительно возражали против телесного наказания и твои предки. Захочешь ударить ребенка — сначала ударь по столбу: столбу не больно, тебе больно. Ударить по ребенку, ему будет также больно. А тебе, как и столбу, не больно. Замахнулся левой рукой для удара, останови правой. Удар так и не состоится: запрещающая правая рука сильнее готовящейся к удару левой. Только левша, если он подобен столбу, может ударить.

Ты появилась на свет в родильном доме. В доме. Никто не сумел придумать другого слова. Может быть, и не искал. Да и едва ли в этом была нужда: ведь люди рождались дома.

Дом, в котором родился твой отец на две недели раньше положенного срока, назывался баней. Твоя бабушка, ожидавшая меня, несла охапку соломы корове, ожидавшей теленка. Столкнулись в дверях. Теленок выдержал. Я — нет: родился раньше времени.

Сложной была в старину церемония разъединения ребенка с матерью. Курды и арабы пуповину девочки резали золотым предметом, чтобы стала впоследствии богатой, ранку смазывали сурьмой или басмой, чтобы стала очень красивой.

Для чувашей главным было не то, чем режут пуповину, а на чем ее режут. Резали на иголке, веретене, ножницах, принимали в белую вышитую рубаху матери и приговаривали:

— Будь, как мать, мастерицей, будь, как и мать, красавицей, будь, как и мать, трудолюбивой...

Девочка этого не слышала, но слышала мать. Некрасивых матерей не бывает.

Перед тем, как я появился на свет, отец мой стал помощником волостного писаря. Нашлось перо. Подложенное под пуповину, оно могло заменить традиционный кочедык и изменить мою судьбу.

Дети есть у всех. Даже у тех, кто изобретает «безвредные» отравляющие газы и «гуманно» бросает напалмовые бомбы на детские головы, на их зыбки, превращая в пепел и пыль золотые колыбели целых народов, стирая с лица земли целые города, страны.

Есть матери, есть и пуповины, соединяющие детей с матерями. Неважно, чем перерезают пуповину, не присоединяя новорожденного к человечеству, не приобщая к человечности. Бывает на чудесной нашей планете и такое. Бывает. Может, потому и бросают потом напалмовые бомбы выросшие дети на детей...

К тебе меня не пускали. О тебе узнавал из писем матери. Их много. Дорожу ими как новгородскими берестяными грамотами. Как самую дорогую реликвию берегу небольшую клеенчатую грамоту. На ней два слова: моя фамилия, ставшая твоей, пол — девочка. И цифры — № 16, 5/11 и 14—15. С точностью до минуты зафиксировано время твоего явления человечеству.

Догадалась, доченька, хоть раз вспомнить те ласковые руки, которые держали тебя в первые минуты, те добрые пальцы, которые вывели первые слова о тебе? Постарайся сохранить в памяти первую встречу с добром. Люди вообще-то охотно делают друг другу добро. Много делают. Но почему-то не всегда помнят это добро.

Имени еще нет. Фамилия уже есть — моя. Ты не могла выбрать сама ни имени, ни родителей своих. Можно менять имена, фамилию, но родину, как и национальность, — никогда. Ты родилась от одной матери, от одного отца, в одном месте. У тебя одна родина.

3

И ворон вороненку говорит:
«Мой беленький».

Чувашская поговорка

Лежу и пишу тебе. Кажется, даже голова почти перестала болеть. И дядя Миша молчит, не пристаёт с вопросами, не навязывает палате дискуссии, как случалось обычно после тихого часа. Все начиналось со словесных дуэлей между мной и им. Ничего бы особенного, конечно, — что еще делать людям без дела и здоровья? Но дядя Миша навязывал свое мнение всем гражданам нашей республики. Так называл палату второй Женя, тезка умершего. Этот Женя — москвич и полярник. Мы называем его Женей-старшим.

Вздыхает дядя Миша. Я старательно пишу. Еще глубже вздыхает — еще старательнее пишу.

Вдруг вспомнилось мне письмо твоей мамы:

«Ты радуешься, что у тебя дочь. Знал бы ты, какая она у нас красавица. Но я опечалю тебя: она болеет. У нее желтуха. Говорят, физиологическая. Ей сделали переливание моей крови».

А моей? Отцов вечно обходят.

В тебе даже после разъединения с матерью течет ее кровь.

А пуповина? Чья она? Матери или ребенка? До сих пор толком никто не знает.

— Счастлив человек, чье сердце перестало биться там, где высохла и отвалилась пуповина.

Это я слышу слова предков. Голос бабушки.

Делали тебе укол. Ты очень маленькая. Клеенчатая грамота с твоей полной биографией из двух слов и восемью цифрами по краям имеет две дырочки. В них продеты марлевые тесемки. Туда, где была твоя ручонка, два моих пальца не входят. До чего же ты была маленькая!

Первая жалость к тебе была, вероятно, прорастающим чувством отцовства. Первым шагом к чувству, которое продолжало пока оставаться потенциальным. Во всяком случае — мизерным.

Вас с матерью уже можно взять домой. Ты маленькая-премаленькая. Разглядеть тебя трудно в твоем красном одеяле. Не то тебя несут, не то одеяло, не то вселенную, завернутую в одеяло. Едва слышное тихое пыхтенье в одеяле заставляет мое сердце биться учащенно.

Старался слышать твое сопение, останавливался. Было холодно. Но греть своим теплом не мог: разделяло одеяло. Прижимать к себе боялся... Этот чудесный комочек вдоха и выдоха, завернутый в красное одеялыце, становился частью моего существа, моим продолжением.

Любовь и память

1

Мать и матери нужна.

Чувашская поговорка

Любовь к матери, к родным местам пробуждается очень рано. Первое родное место — родильный дом. Второе родное место — дом родительский. С тобой, уже двухлетней, порою я прогуливался около первого родного места. Рассказывал, что можно, что может быть понятно.

Домов родительских было много. И маленькая каморка в крестьянской избушке одной из красивейших деревень на Волге. И комнатка у добрых хозяев в Чебоксарах. И своя комнатка с симпатичными соседями. Наконец и квартира своя.

Изредка водил тебя к тем домам, к тем комнаткам и комнатам, полы которых полировала ты животиком и коленками, где произносила первые слова. Это были путешествия в твое раннее детство. Я рассказывал, какую ты была, становилась какой... Потом останавливался у последнего родного жилища, и мы с тобой обсуждали, какая ты есть. Тебе я говорил, какой ты можешь стать в этом доме, какой ты должна стать, какой станешь.

Помнишь?

Познавая мать, отца, дом, ты познаешь родину. Она начинается с матери.

Первым твоим домом после роддома был дом деда — отца матери. Чуваши его называют коренным отцом. А отца отца — старшим или великим отцом. Соответственно есть коренная мать и великая мать, потому что воистину верно: мать и матери нужна.

Свой приход в дом деда, конечно, ты не помнишь.

Развернули тебя. Мать глаз не сводит: какое прелестное существо! Столько любви в ее взгляде, в каждом движении. Если в природе существует талант любви, то в мире талантливее твоей матери нет человека...

А я не был в восторге от тебя. Морщинистое лицо. Что греха таить — некрасивое, хотя и родное. Такими морщинистыми бывают лица старух. Совсем как в мифологии — новорожденный повторяет чью-то прошедшую жизнь. Старенький и маленький. Помимо воли в памяти возник облик бабушки моей. До чего бывает память упряма!

— Мать — верховный бог, — говорила она.

Сомневающихся наставляют чуваши и сегодня:

— Бог есть. Мать есть бог.

Все боги умирают, все религии исчезают, у всех людей остается один бог — мать. Одна молитва — песня о матери. Дом матери будет золотым храмом человечности.

— Посмотрю, как относишься к матери, и скажу, что за человек ты есть.

Черноглазой греческой богиней назвал свою мать лучший из французов гениальный Эварист Галуа — благороднейший рыцарь республики. Величие человека — и в отношении к матери.

Падение любого человека начинается с забвения своего долга перед матерью. Запомни это. Твою мать даже чужие люди называют совестью семьи, рода.

— Любящий родину-мать любит и родительницу-мать. Забывший мать способен забыть все на свете — даже родину.

Если пятидесятилетний человек плохо относится к матери, хоть пятьдесят лет ищи в нем хорошее — бесполезно. Даже в мелочи не доверяй человеку, забывшему родную мать. Не заводи знакомства с человеком, который способен обижать свою или твою мать. Не прощай непочтительности к любой из матерей. К твоей — тем более! Да будет проклят человек, унижающий мать своих детей!

Ребенок сокращенно и торопливо повторяет историю нравственного развития человечества. Первая улыбка новорожденного — как первая молитва древнего человека. Заложенное в человеке добро впервые выходит наружу с этой первой улыбкой. Первая улыбка ребенка — матери.

«Желающие стать моими врагами, скажите, что где-то в мире есть человек лучше моей матери, и вы станете ими...»

Это я слышал от своего отца. А тебя я как-то спросил — правда, поздно — о матери твоей: «Неужели где-то на земле когда-то была еще одна такая женщина?!»

2

Едем в деревню твоей матери. Ей выходить на работу, учить детей процентам, подобию треугольников и функциональной зависимости. В вагоне, когда ты начинала плакать, я с тобой на руках делал приседания, имитируя колыбель. В колыбели определенно есть что-то захватывающее дух. Возможно, она на время пробуждает ощущения, оставшиеся нам от предков, раскачивающихся на ветвях больших деревьев. Ты переставала плакать. Люди, глядя на меня, смеялись. А я прижимал тебя к себе и все больше и больше становился отцом.

Мне учиться еще целых два года. Изредка приезжаю в деревню.

Однажды явился ранним утром, пройдя пятнадцать километров пешком.

В комнате дым — дрова сырые.левой рукой мать заталкивает в печь поленья, наклоняясь и почти засовывая голову в печь, дует на них, правой прижимает тебя. Вопли на всю избу... Мать и не заметила меня. Ночью не спала с тобой: ты всю ночь плакала. Но она никогда ни на что не жаловалась. Отец — не всегда помощник матери. Взял тебя на руки — перестала кричать. Подошел к окну — успокоившись, всхлипываешь, как бы жалуясь на мать. Почти обиженно посматриваешь в ее сторону.

Восходит солнце. Смотришь на него в упор, будто любишься. Похоже на состязание: кто дольше будет смотреть не мигая. Солнце выходит победителем: ты начинаешь быстро-быстро мигать. Поймала мое ухо — крепко приделано, не отрывается. Ухо оставляешь в покое и начинаешь хлопать руками мою тень на стене.

Тебе исполнилось одиннадцать месяцев. Мы покинули деревню, обосновались там, где живем и по сей день.

Из деревни приехала твоя старшая мать, или анне, как вы с матерью называете ее по моему примеру. Увидев твой цепкий взгляд и услышав односложные твои замечания по поводу вещей и явлений, решила кое-что проверить.

Подходит к моему пиджаку, висящему в углу, и делает попытку снять его.

— Папин!

Удивилась анне. Не поверила. Взяла мое пальто, ты крикнула более решительно:

— Папин!

Тогда анне надела мою шапку. Ты крикнула сердито и непримиримо:

— Папин! Папин!

Так ты в своем развитии вплотную подходишь к тому периоду истории, когда человек сказал о чем-то: «Мое».

Когда это было? И о какой вещи он сказал подобным образом? Скорее всего, это было удобное орудие труда, которое не хотелось выпускать из рук.

Потом — «мое дитя», «мой труд»...

Сказал это человек гораздо позже. Прошли века, и он произнес: «Моя мысль».

Я окончил учебу, начал работать. Не успел встать на профсоюзный учет — выбрали председателем месткома.

Организатор из меня плохой. Стараюсь все делать сам, везде бегаю. И елку украшаю, и о концерте договариваюсь. Пропадаю в институте целыми днями. Прибегаю домой ненадолго. Да еще в школе есть один класс: нельзя готовить учителя, перестав быть учителем.

Перед полуночью являюсь домой. Мать тяжело дышит, всей грудью. Осунулась, бледная. Врач был до меня.

— Туберкулез...

Для меня это слово звучит столь же страшно, как и «смерть». Семь моих друзей детства умерло от туберкулеза.

Заперся в туалетной комнате, чтобы выплакаться. Да потом и в радости помнил, как тогда плакал. Новый год начался. Через месяц твой новый год — день рождения.

Мать отвезли в больницу, тебя — к бабушке. Один я остаюсь на месте, в своем месткоме.

3

Говорят, чуваша музыкальны. А бабушка пела очень плохо. Она умерла девяноста двух лет. Хорошо помню я ее семидесятичетырехлетнюю. Песни ее были нудны, нравоучительны, мелодии однообразны, в голосе — что-то загробное. И не пойму никак, почему так глубоко засели в памяти слова ее песен? Ни время, ни более яркие впечатления не смогли вытравить их из памяти. Нет, я их никогда не забуду.

Мне особенно памятны слова ее «Благодарственной песни».

— В ответ на добрую улыбку спой красивейшую из песен, — пела она. Добрее ее самой никто не улыбался. Отвечала улыбке песней сама же.

— Услышал мудрую поговорку — отплати хорошей сказкой, — продолжала она наставлять песней. А сколько поговорок знала и сколько сказок!

— Тепло рукопожатий согрей крепким объятием.

— Помогли тебе починить плетень — иди к тем строить новый дом.

— Угостили тебя парным молоком — всю семью пригласи на новый мед...

Казалось, песням нет конца. Сегодня кажется, что человеческой доброте конца нет.

— Подарили черные варезки — подари белого ягненка.

Почему нельзя дарить черного ягненка — бабушка не объясняла. А если подарят белые варезки?

— Можно в ответ подарить взрослую овцу, хоть белую, хоть черную.

Песня могла продолжаться без конца.

— Пригласили на поминки — не плачь, пой колыбельную, утешая сирот...

Это нас не касалось. На поминки никто не приглашал. Правда, Толя был на похоронах бабушки Федоры. Петь ему там не пришлось, даже блинами не угостили. С похорон вернулся сердитый и сказал:

— Как будто только у Илюши бабушка. И у нас есть, пусть не воображает. Умрет вот наша — и ему ни одного блина не дам.

А бабушка, живая, угощала блинами Илью и не раз.

За песнями следовали сказки.

Тысяча и одна ночь — тысяча и одна сказка. Бабушка могла за ночь рассказать тысячу и одну сказку. Она знала очень много маленьких сказок.

Позже я вспоминал, что многие слова песни повторялись и в сказках. Иные пословицы были вполне песенными.

Сосед проклял соседа: «Пусть его гром ударит!» Гром ударил, но не проклятого, а проклявшего. У грома голос громкий, но глаз нет — не разбирает, в кого угодно может попасть.

Вот и вся сказка.

«Мне холодно, я замерз», — говорит большой палец. Почему ему в варезке холодно? Потому что он один. Одинокому всегда холодно. Иногда он приходит греться к четверем своим братьям. А как станет тепло — опять заважничает: он большой.

Тоже вся сказка.

— Что нужно, чтобы пятеро братьев теснее прижались друг к другу?

Ждем подсказки, ее нет. Начинаем мести двор, на маленьких носилках относить мусор. Маленьким топориком колоть дрова, вернее — щепать лучину.

Ответ найден.

Пятерых братьев надо занять делом. Рукоятка топора какая была холодная — и та согрелась. Пальцы — тем более.

Для каждого случая у бабушки было что-то похожее на сказку. Любой поступок, какое угодно событие она могла комментировать сказкой.

— Выкопайте картофель, сварим картофельный суп.

Не сразу трогаемся с места.

— Вот бабушка умрет — будет вам приволье, будет вам радость: невыкопанный картофель, неочищенный можно будет есть...

— А как?

— Сначала сходите выкопайте картофель, будет вариться — расскажу.

Мы — бегом.

Так же, как невестка. Ей надоело толочь просо. Ленивая была. «Умрет свекровь — без пшена обойдусь: из проса буду варить кашу», — мечтает она. Умерла свекровь. Невестка решила сварить кашу из проса не на воде, а на одном масле. От радости сама чуть не пляшет. А просу в котле деваться некуда — тоже пляшет, прыгает. Запах распространился вкусный. Не удержалась невестка, открыла крышку. Горелое просо стрельнуло ей в глаза. Ослепла на оба глаза.

— Плохо быть слепым. Еще хуже быть безруким, безногим. Но нет ничего хуже, чем быть ленивым...

Опять — просо... Мне было двенадцать лет, когда сгорел дотла наш дом.

Восходит солнце. Сижу, засыпая, на бревне во дворе чужого дома. Бригадир приглашает соседей на работу — полоть просо.

Бабушка слышит это и начинает искать меня, спрашивает, где я. От ее вопроса вздрагиваю и мгновенно просыпаюсь.

— Раздетый, разутый — и лапти сгорели... Куда он пойдет? Это говорит мать.

— Толстый слой пыли на дороге мягок, как пух, как мыльная пена. А молодое просо как бархат — босым ногам ласка.

— Такое горе... — опять несмело возражает мать.

— Горем дома не поставишь, горе можно одолеть лопатой. Да какое горе может быть у ребенка?

— Догоняй остальных.

Эти слова относились ко мне.

— Горю учить не надо, оно само научит. Работать учить надо. Терпеть не могла бабушка бездействия.

Чувашские дети плачут редко. Это достигается вполне разумными средствами: юмором, категорическими требованиями, уговором... Бабушка не избегала применения и суровых угроз:

— Слезы ребенка, у которого есть все молочные зубы, — не к добру.

— Плачет ребенок — молится черту, рыдает — сатану зовет.

— Долгий плач ребенка — короткая жизнь родителям.

— Дитя плачет, взывает к духу смерти, чтобы тот пришел за душами его отца и матери...

Бабушка хотела, чтобы дети быстро бегали, мало говорили, проворно работали.

Зимы боялась бабушка больше смерти.

— Опять зима. Опять не умерла.

Беспокоилась о детях и внуках: трудно будет копать мерзлую землю для могилы. Приходила весна, и она забывала о своем желании умирать. Летом расцветала. Ни разу не вспомнит о смерти, работает, суетится. К осени опять к ней возвращалось беспокойство.

В пять лет узнал, что и цыплята дышат: бабушка несла их в решете в Тойдеряково, дочери. Далеко идти, устали оба.

— Неужели и дальше Тойдерякова есть деревни?..

Любила солнце, засухи боялась. Когда начинался дождь, выходила во двор без платка и обращалась, минуя бога, пренебрегая инстанциями, прямо к дождю:

— Милый, иди и в Тойдеряково. В Журавлевку. Отправляйся в Темяши...

В Тойдерякове жила ее младшая дочь — бездетная вдова. Ее она считала несчастной и больше всех жалела. В Журавлевке жила старшая дочь с пятью дочерьми и единственным сыном. Муж пил, часто бил ее. Ее считала более счастливой. Дождь должен был осчастливить ее во вторую очередь. У средней дочери была одна дочь и три сына. Муж был смиренный, работающий. Ее она считала самой счастливой. Но и ее не хотела оставить без дождя. Уговаривала его посетить и Темяши, хотя бы в третью очередь.

Старая и добрая, она стояла во дворе, ходила по трем направлениям. В ее походке было что-то от древнего танца, тяжелого, давно забытого. Смотрела на запад — там Тойдеряково, несчастная дочь, на север — там многодетная дочь, на юг — там счастливая дочь...

Возвращалась, промокнув до нитки, только когда убеждалась, что дождь не обойдет ни одну из ее дочерей.

Что-то божественное было в ее облике. Об этом пишу тебе, и воспоминания выжимают слезы из глаз. Что-то древнее и величественное вижу во всем этом.

На комбайны сели сегодня внуки бабушки, на экскаватор — два правнука... Глядя на серп и молот, гордясь нашей эмблемой, я вспоминаю бабушку. Нет, я ее не забыл, потому что очень любил... Лучше меня запомнила ее твоя мать с моих слов. И постоянно напоминала о ней нам с тобой.

Бабушка оставила после себя более ста внуков и правнуков! В минуты просветления, когда голова почти не болит, думаю: «Не так страшна смерть, как ее малюют. Что в ней страшного, раз умирают даже такие люди, как бабушка?»

Всю жизнь бабушку мучили головные боли. Пошла к йомзе, жрецу чувашскому. Тот попросил шесть медных монет, смешал с золой, с землей из подпола. Долго говорил что-то шепотом. Положил все на платок, крест-накрест завязал узлом. Плюнул на четыре стороны и сказал бабушке:

— Иди в деревню, на перекресток, плюнь на все четыре стороны и положи узелок в самую середину. Обрати иди как можно быстрее, не оборачивайся.

— А что будет с тем, кто найдет платок с деньгами?

Йомзя прогнал ее, зло крикнул вслед:

— Думай о своей гнилой голове, а не о чужой — здоровой... Так и мучайся, пока голова не треснет!

Для нее чужая боль никогда не была только на дереве. Даже когда она сутулилась под тяжестью лет, на сто голов оставалась выше тех, кто думает только о себе.

По какому-то предчувствию ранней весной ни с того ни с сего захотелось в деревню. В распутицу прошел от Кильдурозов почти тридцать километров.

Бабушка очень обрадовалась и встревожилась:

— Ты какой-то бледный... Не болеешь?

Успела в спешном порядке составить три характеристики на мою возлюбленную: роскошные волосы, добрые глаза, светлый лоб. А сама ни разу не видела ее.

Вышла во двор, тяжело села на крылечко. Начало ее трясти. Я ее уложил, спросил — не легче ли? Она поняла, но ответить не смогла, безнадежно махнула рукой.

Сердце остановилось.

И сейчас люблю ее, и тебя будут любить твои внуки. Не меньше: любовь передается по наследству...

Доброе дело

1

Добрый конь твой пусть добро скачет.
Добрая голова пусть имеет добрые цели.
Добрые руки пусть делают доброе дело.

Из чувашских банных потешек для детей колыбельного возраста

Нет старых — нет порядка.

Старый человек стоит четырех молодых.

Кто не почитает старость, не любит и молодость.

Ум народа — в стариках, сила народа — в молодых.

Култ живых стариков вырос из культа мертвых предков. Из религиозного поклонения им, из светлой памяти о них.

Это — култ прошлого. Того доброго, что было в прошлом. Это — призыв не быть Иванами, не помнящими родства. Это — признание закономерной любви к родной истории. И поиск истоков человеческого достоинства и национальной гордости. Без чего нет ни человека, ни народа!

Бездумную любовь народ считал ненадежной. Любовь к родине может быть и трудной. Пусть эта любовь будет честной и сознательной, действенной. Пусть знает человек, за что любит. Чем лучше и больше будет знать, тем глубже будет и любовь.

Пусть каждый любит родину не только сердцем, но и умной головой, мозолистыми руками.

Ты встала рано утром. Тепло. Всю ночь кто-то топил: поступал газ, грелась вода. Ты умылась. Вода пришла из Волги по металлическим трубам — в Чувашии нет железных руд. Руки старательно мыла с мылом — в Чебоксарах мыло не

производится. Выпила стакан молока. Неизвестная тебе доярка подоила корову. Помни о ее нелегком труде...

Что ты собираешься сделать хорошего для людей? Для той доярки?

Тебе на завтрак — чай с белой булкой, с молоком. Чай грузинский. Что ты сделала для Грузии?

Я хоть перевел «Колыбельную песнь» Якова Гогешвили... Но это для чувашей... А для грузин?.. Я хоть с учениками отбирал картофель для отправки в Тбилиси.

Белая, белая булка... Ты разве пахала? Ты разве сеяла пшеницу? Я хоть в десять лет и пахал, и бороновал. В одиннадцать возил на поле рожь для посева. Ты молола муку?

Масло сливочное... Вспомнила ли ты хоть раз ту доярку?

Сидишь на кухне за дубовым столом шумерлинским. Ты посадила дуб? У меня хоть растет дубок. Посажен в честь дня рождения нашего чудесного поэта Константина Иванова в Больших Яльчиках.

Сахар украинский помешиваешь в стакане ложечкой, подаренной бабушкой. На ложечку нанесен тонкий налет золота. Но в Чувашии не добыто ни одного грамма своего золота. Кобальт тувинский в ноже, который держишь. Что ты сделала для Тувы лично?

Москва показывает себя. Ты сидишь и смотришь телевизор, изготовленный москвичами. Ты была и в самой Москве. Она тебе показала Кремль и Третьяковку. Что ты сделала для Москвы? Я хоть щипал хмель для московского пива, возил в Канаш пшеницу, был главным в транспортной бригаде. Это был мой полк, которым я командовал в четырнадцать мальчишеских лет...

А еще хочу спросить: что ты сделала для своей родной Чувашии? Доброта приходит только в делах — так говорила твоя мама, добрей которой мы с тобой никого не знали.

Я знаю, ты сделаешь много добра, может, куда больше, чем я, буду очень рад, если сделаешь намного больше. И все-таки я был вправе задать тебе эти вопросы. Когда-нибудь они помогут тебе. Может, уже сейчас помогают. Чтобы успеть сделать как можно больше, надо как можно раньше приступить к делу.

Помню, пришел на ваш вечер поэзии. Признаюсь, рас-

строился: лениво, неинтересно подготовили вы свой вечер. Что ты сделала, чтобы он был интересным? Ничего. А могла бы сделать. Может, скажешь, немного проку в том, что вечер поэзии благодаря твоему личному старанию мог бы стать интереснее. Неправда. Для всех, о ком говорил тебе, — для доярки, для людей, добывающих железо, кобальт, для людей, выращивающих чай грузинский, для твоей Чувашии, для России, для человечества необходимо, чтобы душа твоя стала как можно богаче. Очень необходимо. На такого человека надеяться можно, такой человек внесет и свою долю добра, без которого не сгинуть злу на земле.

Поэзия... Поэты... Великие труженики. Иные давно умерли, а продолжают делать добро, побеждать зло.

Теперь ты понимаешь, что значит организовать хороший вечер поэзии?

Ты едва начала ходить, а я уже приучал тебя к поэзии. Сначала через сказки. Их много было у нас. Почти двухсот народов. Помнишь дагомейскую «Неблагодарность»? Или лучшую из сказок — «Золотая земля»? Ты пересказывала ее в восемь лет. Эфиопы гостям-путешественникам дали много дорогих подарков. И золото, и бриллианты... Но, провожая их на корабль, соскребли с их туфель приставшую глину, смахнули пыль. Дороже золота, дороже бриллиантов пылинка родной земли.

Тогда ты смеялась:

— Золота не жаль, пылинку — жаль!

Теперь ты уже в этом не сомневаешься.

2

Яблоко от яблони недалеко падает.

Русская поговорка

Сегодня и завтра, возможно, и не буду писать тебе. Меня готовят к операции. Все время вызывают из кабинета в кабинет. Последний раз.

Соскучился по тебе. Хочу услышать хотя бы еще один раз, как ты говоришь «папа». Одно только счастье надо мне в моей жизни — твое счастье. Но уж так получается: твое счастье — это счастье Чувашии, России, человечества. Вот какое оно огромное, и меньше никак не желаю.

Немало твоих вопросов осталось без ответа. Многие ответы не удовлетворили тебя. Но на большинство вопросов ответы ты должна найти сама.

Без меня ты тоже думай, много и часто. Вот тебе темы для сочинений и раздумий. Вернее, эпитафьи для тем. Прочтешь эпитафю — поймешь тему.

И лошадь в сторону дома бежит быстрее.

Из дома — шагом, домой — галопом.

Покидает — со слезами, возвращается — с песней.

На чужбине замерзнешь и при солнце, дома и снег согревает.

Чем быть царем на чужбине, лучше быть дубовой палкой на родине.

Без любимой родины и солнце не греет.

В своем краю — как в раю.

И пылинки родной земли — золото.

Родина для каждого — и отец, и мать.

На своей родине, как в золотой колыбели.

Ты мое бессмертие, дочь моя, ты — моя звезда.

Ты идешь по жизни, отставая от меня на двадцать четыре года. Но где-то обгонишь меня.

Так должно быть. Это закономерно.

Было тебе и шестнадцать дней, и шестнадцать недель, и шестнадцать месяцев. Теперь идет шестнадцатый год.

Помню первый твой лепет, первое слово, первый шаг. Каждый день твой помню. Мы шли с тобой рядом по жизни. Твоя маленькая теплая рука — в моей большой. И не поймешь, кто кого ведет. Не скажешь, кто кому опора. Без будущего нет настоящего. Ты — будущее. Держа твою руку в своей, ведя тебя за собой, я опирался на тебя. Яблоко от яблони недалеко падает. Ты будешь рядом со мной, а я с тобой рядом, потому что, если и случится со мной самое тяжкое, я буду жить в твоей душе со всеми моими помыслами.

Каждый шаг твой помню. Каждый день твой помню. А тебе скоро шестнадцать, мне — сорок. На двоих нам отпущено в среднем сто сорок. Считай как можно дольше. До ста и больше. Досчитай и за меня. Считать будут и внуки мои, и правнуки твои. Жизнь бесконечна. И я бесконечен...

Помню каждый твой шаг. Помню каждый твой день. Твой день — мой день.

Будьте счастливы!

Хорошим будь — жизнь пройдет,
Плохим будь — жизнь пройдет.
Лучше жить по-хорошему.

Из чувашской народной песни

Вот я и перечитал все письма отца к дочери. Сначала пересказал их содержание в палате. Вышел из больницы — переписал для вас, шестнадцатилетние. А может, и для тех, кому побольше.

Где же отец? Почему письма не дошли до дочери? Судя по письмам, диагноз у него был такой же, как и у меня. А я жив. Может быть, и он тоже? А если случилось самое худшее, то будем считать, что письма все-таки дошли до его дочери...

— Он слишком много говорил о смерти, — сказал мне как-то дядя Миша, когда я читал тетради в палате.

Ему возразил Женя-старший — полярник, бывалый человек, прошедший сквозь сто смертей и готовый одолеть сто первую.

— Неправда, он говорил о бессмертии.

Да, он говорил о бессмертии добра на земле, о бессмертии родного народа. Я слышу его голос:

— Будьте же счастливы! При нас, а также без нас!



ЮРИЙ СКВОРЦОВ

(1932—1977)

Юрий Илларионович Скворцов родился 11 января 1932 года в д. Хорнкасы Моргаушского района Чувашской Республики в семье сельского служащего.

Окончил Чувашский государственный педагогический институт им. И.Я. Яковлева.

Работал редактором Чувашского книжного издательства, корреспондентом Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров Чувашской АССР, литсотрудником Чебоксарской районной газеты, секретарем журнала «Тăван Атӑл». Регулярно начал печататься в республиканских журналах с 1953 года.

Член Союза писателей СССР с 1964 года.

Первые произведения сочинил в студенческие годы. Известен не только как прозаик, но и как автор текстов многих популярных песен и переводчик произведений марийских, венгерских, сербских, индийских, белорусских писателей и поэтов. В своих произведениях Юрий Скворцов стремился максимально полно раскрыть духовно-нравственные качества героев, их внутренний мир, чаяния и мечты. Большое место в творчестве писателя занимали проблемы этнического стереотипа индивидуума, менталитета народа, ценности крестьянских традиций и обычаев, а также проблема человека и природы, добра и зла.

Многие рассказы писателя посвящены юным читателям: «Гусиное яйцо», «Рак», «Черная курица тети Акулины», «Шершневой мед», «Ласточкина птаха» и др.

Русский читатель знаком с творчеством Ю. Скворцова по сборнику повестей и рассказов «Красный мак», изданном в 1976 году Чувашским книжным издательством.

Умер 11 августа 1977 года в г. Чебоксары.

Красный мак*

Повесть

(В сокращении)

Зимние сумерки спустились на землю. Буран свирепствовал второй день, завьюжив всю округу. В пяти шагах ничего нельзя было рассмотреть. В такую погоду за околицу вышел человек среднего роста, одетый лишь в короткий пиджачок, и, утопая по колено в снегу, пошел в сторону ближайшего селения. Он то прикрывал руками лицо, то размахивал ими, как крыльями, точно опирался об упругие порывы ветра. Человек был весь в снегу, словно белый медведь. Валенки и ушанку быстро сковала снежная наледь. Вокруг него, словно туча белых слепней, кружились колючие снежинки и больно били по лицу. Человек наконец добежал до соседней деревни. Волчьими глазами встретили его огни в небольших окнах домов. Здесь буран несколько сбавил свой пыл, но вьюга свистела и визжала сильнее, чем в поле.

Человек поравнялся с приземистой, полузанесенной снегом избой. С трудом открыв ворота, быстро взбежал на крыльцо, веником обмел валенки и одежду. Примерзшие к валенкам и пиджачку снежинки застучали, как бусы. Человек бросил веник и дернул скобу двери.

В жарко натопленной избе стояли четыре опечаленные женщины возле постели, в которой лежал не то мальчик, не то девочка. Голубые глаза с тонкими изгибами бровей выражали покой, продолговатое лицо было неестественно бледно, грудь вздымалась тяжело. Вот раздался резкий надрывный кашель, отчего голова больного дернулась, чуть не скатилась с подушки, и стало видно, что это была девочка лет пятнадцати.

Худенькая пожилая женщина, сидевшая у изголовья больной, тихо всхлипнула. Заметив чужого человека, она перестала плакать. Незнакомец порывисто снял шапку и тихо поздоровался. Но ему никто не ответил. Тогда он решительно шагнул вперед и подошел к больной.

И тут заговорили все сразу:

— Это же он пришел!

— Это он!

* Перевод Я. Мустафина.

— И он посмел еще явиться!

Худенькая женщина медленно поднялась и уставилась на молодого человека широко раскрытыми глазами, полными ужаса и ненависти. На мгновение, казалось, она оцепенела, потом, вспомнив о чем-то, кинулась на кухню. Выбежала оттуда с кочергой и, подняв ее, двинулась на пришельца. Однако парень, ловко перехватив кочергу, спокойно смотрел на женщину.

— А ну, убирайся отсюда! Убирайся! — закричала женщина в исступлении, и ее голос сорвался на визг: — Голову разможу!.. Что вы сделали с моим ребенком? Говори! — кричала женщина, стараясь вырвать кочергу из рук парня.

Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы девочка вновь не зашла в тяжелом кашле. Женщина сникла и тихо заплакала.

— И зачем только я ее пустила в школу?! Вот чему там ее научили...

Молодой человек хотел что-то сказать, но больная опять надрывно закашлялась.

Оглядевшись по сторонам, парень прошел вперед и сел на стул. Вынул из кармана носовой платок, вытер вспотевший лоб. Потом повернулся к хозяйке и стал ждать, когда та перестанет плакать. Но, видя, что этого ему не дожидаться, парень тихо сказал:

— Успокойтесь, пожалуйста.

Две женщины, молча стоявшие поодаль, посмотрели на него осуждающе, но смолчали. Хозяйка же, медленно подняв голову, обернулась. Глаза ее налились яростью.

— Ты... ты все еще не ушел?! — Она сжала кулаки.

Одна из женщин нагнулась к ней и тихо сказала:

— Ты послушай все-таки, что он скажет...

Хозяйка безмолвно застыла в ожидании.

— Вот вы ругаете школу, меня, — устало начал парень. — Я и сам почти школьник. И виноват я только, пожалуй, в том, что готовлюсь стать учителем. Я причиню вам боль, но должен вам сказать... Ваша дочь в родном доме росла чужой. В вашей семье детьми не занимаются. Вместо убеждения и ласки — ругань, побои...

— Ты, ты... Выходит, я во всем виновата? А ты попробуй сам один вырастить такую ораву! Ты вот лучше скажи, чему

вы ее в школе научили? Волосы завивать да по клубам бегать?

— Никто ее этому не учил, — спокойно ответил парень. — Может, школа в чем-то и повинна... Но вырастить молодое поколение — это дело не только школы, но и семьи, а если хотите, то и дело всех окружающих... А если один другого будет гнать кочергой, то этим делу не поможешь. Мы просто не найдем общего языка. Но сейчас еще не поздно исправить все...

Молодой человек замолчал и пристально обвел глазами женщин. А те, то ли удивляясь его спокойному тону, то ли не соглашаясь с ним, стояли молча и глядели на парня во все глаза, будто говорил он им о чем-то диковинном...

...Полдень... Сыплет осенняя «крупа» — похожий на просо снег. По полю, задумавшись, идет девочка. Она в черном пальто с большим бобровым воротником. Концы белой шали завязаны сзади. Пальто плотно облегает стройную фигурку девочки. Голубые глаза ее устремлены куда-то вдаль. Под ногами поскрипывает схваченная с ночи морозом земля.

Небо затянуло легкой синева-бурой пленкой. На горе, справа, — небольшой, уже отряхнувший листву лес, похожий на сказочный курган улыпа. Он тянется серовато-синей полосой, напоминая ей щетину обозленного гигантского кабана. По дороге шуршат кусты молочая и осота, их пушистые головки намокли под дождем и сваялись в серые комочки. На бурьяне бьется стебель гороха, трепещет изо всех сил, но никак не может освободиться. Откуда-то, прямо как из-под земли, выбежала мышь. Заметив человека, юркнула обратно.

Между листьями ивняка, почерневшими от заморозков, щебечет целая стайка собравшихся в дорогу птичек. Они звенят так, словно кто-то позвякивает большой связкой ключей. Увидев девочку, они взмахнули крыльями, взлетели и тут же опустились на ближний куст.

Девочка постояла, посмотрела вокруг и прямо через пашню направилась в сторону лугов.

Вода в маленькой речушке зеленоватая, словно творожная сыворотка. Вот налетел порыв ветра, и вода сразу потемнела, точно над ней проплыла черная туча. Речка покрылась рябью мелких волн. На берегу грустно и устало шуршит сухая трава.

С тревогой и любопытством смотрит девочка на причуды природы.

...До этой осени для нее все было иным. Она могла целыми днями носиться с мальчишками, лазить по деревьям, играть с ними в войну, прятки. Мальчишкам никогда не давала спуска. Даже осенние пасмурные дни не могли омрачить ее настроения. И вдруг с ней что-то случилось. Все окружающее изменилось для нее. И в душе стало пробуждаться какое-то непонятное тревожное чувство... словно сердцу чего-то недоставало, словно что-то пропало. Причин нет, а на душе неспокойно, какое-то незнакомое чувство волнует ее. Исчезла, похоже, сказка детства! А может, просто какой-то хрупкий кусочек души надломился, который, как волшебство, придавал всему своеобразный цвет, радость, беспечность?

И ходит теперь Тамара по лугам и лесочкам, разыскивает свою пропажу. Пристально всматривается она в травы, цветы, листья, деревья, прислушивается к пению птиц...

И это безымянное, исчезнувшее из души, но всегда приносящее доброе и веселое настроение, кажется, сейчас сохранилось лишь в тех предметах, которые она никогда не видела и не знала. Если оно — это незнакомое, томящее душу, существовало на земле до нее, то где-нибудь да оно есть и сейчас! Может, в вещах, до которых не разрешают дотрагиваться? В делах, которые запрещают совершать?..

Однако незнакомое состояние души зачастую сменяется каким-то новым определенным и удивительно волнующим чувством. И ворвалось оно в сердце Тамары, когда они возвращались со школьного вечера. Тамара его хорошо знает, он хороший парнишка. На уроках она часто ловила на себе его взгляд, брошенный украдкой... Другие мальчишки по сравнению с ним кажутся угловатыми и совсем не симпатичными. Он сказал тогда Тамаре шепотом, таинственно, одно слово. Это слово она до сих пор слышала только в песнях. А теперь ей самой сказали это слово!

А потом они еще прошлись вдоль вот этого берега вдвоем. Казалось тогда, что они могут вечно шагать рядом, держась за руки, и слушать, как лепечут листья, как шепчется с ними ветер...

Тамара не смотрела на него, она словно летела в танце. У нее начала кружиться голова, хотя в действительности это

слово он тогда ей и не сказал, оно само, как правда, прозвучало в ее ушах. Все звуки, все предметы вокруг наполнились им. Мир стал удивительно красивым.

Он шагает рядом, говорит что-то, а она его не слышит. Она идет молча, и ей навсегда хочется удержать в сердце это чудесное, звучащее, как музыка, слово...

Но скоро он почему-то стал сторониться ее. Да и Тамара тоже, как увидит его, старается убежать. Только в классе уч-радкой взглянет на него, и тогда в душе появляется какая-то беспричинная радость. Но как вспомнит, что он стал ее избегать, так сразу горечь заполняет сердце.

Девочка старается избегать откровения с учителями, с подругами. Вот так неожиданно для себя и для других Тамара стала трудной, замкнутой и даже какой-то загадочной.

...Сумерки уже окутали окрестность. Девочке вдруг стало страшно стоять здесь одной возле речки. Она вздрогнула: а что, если сейчас вынырнет водяной, как в детских сказках, и закричит так, что задрожит небо? А может быть, и мышшь, которую она видела недавно, тоже какое-нибудь сказочное существо?

Девочка повернулась и быстро побежала в сторону деревни. У околицы, на мостике через речку, она сбавила шаг, и опять нахлынули воспоминания.

«...Вот закончишь среднюю школу и поступишь в институт, — говорили ей все. — Летом будешь приезжать в родную деревню. И все будут говорить: «студентка», «студентка!» А ты подбежишь к матери, обнимешь ее и скажешь: «Мама, я студентка!» А потом запоешь и пойдешь гулять на луга, из птичьих голосов сложишь новую мелодию...»

От этих мыслей сердце переполнилось счастьем и заколотилось в груди сильнее. Тамара рассмеялась.

...А в какой же институт ей пойти? В 9 классе многие еще не знают, куда поступать. В одно время Тамара мечтала научиться шить красиво одежду. Потом захотелось стать певицей: ведь голос у нее — всей округе на удивление!

Девочка тихо запела. Потом громче. Низкий сильный голос полетел над рекой:

— А-а-а-а...

И она еще громче повторила:

— А-а-а-а...

— А-а-а-а... — словно передразнивая ее, из-под моста ответило эхо.

...Девочка ощупью нашла в темных сенях дверную ручку и вошла в избу.

Тетушка Варук, мать Тамары, молча посмотрела на дочь, зажгла лампу. В простенке между окнами остро блеснула игла с длинным хвостом белой нитки.

Девочка сняла пальто, задернула занавеску на печи и подошла к столу.

— Где так долго пропадала? — спросила мать.

— Нигде, — резко ответила Тамара.

— Ты почему так грубо разговариваешь с матерью? Я же тебе не кто-нибудь, а мать. Родила тебя, грудью вскормила. А ты вон как благодаришь. Я в твои годы лес валила, недоедала, недосыпала...

— Мама! Ну почему ты меня все время ругаешь? — вскинула девочка голову и сверкнула глазами.

— Ай-юй! Я ругаю? Да это разве ругань? — запричитала мать. — Ты что, не видишь: дров надо наколоть, зерно занести для просушки... Весь день я как белка в колесе, а ты вон разгуливаешь! Неужто трудно самой догадаться, что нужно помочь? И как только ты жить будешь без меня? Эх, умереть бы мне, а потом воскреснуть да посмотреть, как ты здесь справляешься без меня. Небось, натворишь такое, что в избу не влезешь? По углам змеи да ящерицы заведутся, а тебя пауки оплетут паутиной и задушат... Иди, иди, бегай! И для чего только я родила тебя? Корми ее, одевай, а благодарности и помощи никакой!..

— Мама! — вскипела девочка. — Я устала от твоих упреков! — Девочка уткнулась лицом в подушку и зарыдала.

Тетушка Варук вдруг притихла, застыла посреди избы. Затем положила катушку, которую держала в руке, на стол и обессиленно опустилась на скамью. Руки ее дрожали. По морщинистой щеке скатилась крупная слезинка. Она медленно встала с места и, приблизившись к дочери, присела на край постели.

Некоторое время в избе, будто карманные часики, затикал жук-дровосек, засевший в каком-то бревне.

— Не плачь, доченька, — сказала мать, погладив девочку по голове. — Я ведь что? Я от жалости к тебе самой...

— Так уж ты меня и жалеешь, — проговорила дочь, надув губы. — Каждый раз ни за что ругаешь...

— Да я же тебя предостерегаю, доченька, от ошибок, а не ругаю. Ты есть, небось, хочешь? — уже совсем мягким голосом спросила мать и указала на хлеб, прикрытый чистой тряпочкой. — Перекуси, вон чай еще не остыл, — и, выжидательно помолчав, недовольно закончила: — Была твоя Валя, просила прийти к ней... Дома, говорит, одна боюсь. А мать, видать, все по командировкам носится.

Когда дочь ушла к подруге, тетушка Варук снова — уже в который раз! — задумалась о ее судьбе. Выросла без отца, бедняжка, да и не видела его. Был шофером, пил эту проклятую водку и угодил в колонию. Вышел оттуда, опять напился, подрался и так нашел себе смерть. Тогда Варук была вынуждена уехать от позора на чужбину. Но потянуло опять в родную деревню, вернулась. Хорошо, что колхоз построил избу. Не легко одной было налаживать жизнь. Тамару, конечно, хорошо бы выучить, да хватит ли силенок? А выучилась бы — глядишь, сама себя кормила да одевалась бы не хуже других. Только вот еще эта дружба с Валею... Да ладно уж. У них есть машина швейная, а Тамара страсть как любит шить. А против Вали она потому, что та после десятого класса не пошла в институт, а осталась работать в колхозе...

Тамара, сидя на постели, тщательно расчесывает волосы, потом заплетает их в тяжелые красивые косы. В классе почти все девочки завидуют ее волосам.

Завтрак в этом доме редко проходит без шума. Но сегодня он, кажется, пройдет тихо. Тем более, что тетушка Варук ест и никого не замечает. Неожиданно Миша взял кусок мяса и бросил кошке, которая, мурлыча, терлась об его ногу.

— Вон ты так! Коту мясо кусками бросаешь?! Да я тебя!.. Ты что, сам зарабатываешь, чтоб так мясом распорядиться?

— А почему ты ей мало даешь? — загородил лицо локтями Миша, думая, что мать сейчас ударит его.

— Замолчи! А как это много давать, ты знаешь? Идите поработайте, вот тогда и сами будете много есть и кошек кормить. Ни одного работающего нет, а ртов вон сколько! Я же вас всех одна кормлю! — Женщина вдруг растерянно посмотрела на притихших детей и ушла за печь. Оттуда послышался

ее виноватый голос: — Да ешьте, ешьте, не обращайтесь на меня внимания...

Но Тамара есть уже не могла. Она вышла из-за стола, торопливо оделась и пошла в школу, хотя до звонка еще было больше часа.

Над деревней, опираясь на столбы дыма, висит тяжелое серое небо. По дороге прыгают замерзшие воробьи. Они нахохлились и кажутся большими и сердитыми. Заиндевели телеграфные провода и стали похожи на белые вожжи.

Тамара не может забыть упреки матери. Она острожно шагает по клейкой от грязи дороге и думает, думает над словами матери.

«А может, и правда, пойти работать? Зачем учиться десять лет, если все равно оставаться в деревне полоть посе-вы?» Но ей очень хочется учиться. Ей необходимо осуществить свою мечту... Ведь с самого первого класса им учителя твердили: «Кто окончит школу, тому все пути открыты». И Тамара с детства живет мыслью об институте. А теперь все рушится... Значит, Тамара должна остаться здесь. Мир для нее будет ограничен их деревней, маленьким клубом, где зимой морозно, а летом — пыль и жара... Тогда зачем же стараться хорошо учиться? Зачем так много сидеть за уроками, что не успеваешь никуда сходить: ни в кино, ни на танцы, ни погулять?..

Мысли, что бусы без дырочек: как ни стараешься нанизать их на нить, не нанизываются, рассыпаются. Девочка многого еще не понимает, она понимает только то, что чувствует ее сердце. У нее никак не укладывается в голове, почему именно она должна пойти работать, а не Нелли — дочь председателя колхоза, или Владлен — сын директора школы. Они уже выбрали даже определенный институт, много об этом говорят, рассказывают, где будут учиться, будто уже поступили. Ведь их родители, она знает твердо, даже не заикаются о том, чтобы после школы они пошли работать, как хочет ее мать...

Никем не замеченная, Тамара вошла в класс. Ребята, как грачи, сбегаются в класс минут за пять до звонка.

Три дня назад в их школу приехали на практику несколько студентов. Иногда они приходят в класс всей группой: один дает урок, остальные слушают. К их классу тоже прикреплен

студент. В первый же день он солидно представился: «Геннадий Васильевич». Тамара сторонится его, потому что он всегда присаживается за ее парту и рассматривает ее книги, дневник.

* * *

Тамара не делит предметы на хорошие и скучные, все любит одинаково. Ее душа не успокоится, пока она не сделает уроки по всем предметам. Если не выходит какая-нибудь трудная задача, Тамара будет решать столько времени, сколько надо, чтоб ее решить, но тогда для других предметов может и времени не остаться. Ей приходится сидеть допоздна. А в полночь мать заставляет уже тушить свет.

И все же уроки Веры Федоровны, преподающей физику, Тамара любит больше других. Вера Федоровна не заставляет рассказывать правила точно так, как в книге, как это делают другие учителя. «Как понимаете, так и рассказывайте», — говорит она обычно.

Сегодня урок Веры Федоровны — первый. Учительница вызвала Тамару и спросила у нее три правила, потом заставила написать одну формулу. Тамара ответила, и Вера Федоровна поставила ей «4». Последний урок — история, ведет его директор школы Петр Петрович. За несколько минут до звонка директор поучительно говорит:

— Перед вами, ребята, сейчас все пути открыты, кем бы вы ни захотели стать: инженерами, врачами, учителями...

Директор перечисляет много специальностей и, видимо, насчитал бы их еще, но тут кто-то громко спрашивает:

— А если кто не сможет поступить в институт, тогда что делать? В прошлом году из наших выпускников поступил только один Брайнин — сын председателя сельсовета.

— На производство, друзья мои, на производство, — бодро отвечает директор. — Рабочий класс — ведущая сила! А сколько профессий только в нашем районе, так сказать, сельскохозяйственных! И все они почетны!

Ребята обратили внимание, как сын директора школы, Владлен, откинул крышку парты и начал что-то искать в пухлом портфеле. Уши его покраснели, как петушиные гребешки.

Звонок прервал патетическую речь Петра Петровича.

Неделя прошла без каких-либо перемен. Она тянулась подобно бесконечному, однообразному дню.

И все же что произошло за это время в жизни Тамары?

Тамаре казалось, что за последнее время она стала чувствовать все как-то острее, больше понимать себя. Когда была маленькой, когда еще в помине не было этого ободряющего чувства самопонимания, в ее душе было тихо, спокойно.

А теперь почти каждую перемену она стоит у окна и в глубоком раздумье смотрит на улицу, где кругом все бело. Это печалит душу. Ребятишки играют в снежки. Тамаре даже захотелось взять на руки вон того краснощекого бутуза и потискать его...

«Ведь когда-нибудь и я стану матерью...» Тамара покраснела и огляделась кругом, будто кто-то мог догадаться о ее мыслях. И тут она заметила Валентина Сорокина, который неторопливо шел по коридору настоящей мужской поступью. Тамара вздрогнула и поспешно отвернулась.

«Как скучно было бы в школе, не будь Валентина...»

Правда, Валентин в последнее время почему-то стал своенравным, необщительным. «Он даже здороваться перестал, — неожиданно для себя сделала открытие Тамара. — Постой-ка, когда мы встречались с ним в последний раз? Весной?.. После восьмого?.. Верно, и с весны больше не встречались? — уже всерьез испугалась Тамара. — И не здоровается вот уже два месяца!..»

Тамара едва сдержала себя, чтобы не окликнуть Валентина... А на следующем уроке Валентин передал ей учебник алгебры. Тамара раскрыла книгу и вздрогнула: там лежала записка и на ней написано «Голубевой». Буквы прыгали. Видно, парнишка волновался. Тем более, что в классе у него был самый лучший почерк!

Девочке показалось, что она держит в своих руках ладонь Валентина. Она украдкой взглянула на Сорокина. Тот сидел пунцовый и грыз карандаш.

Тамара тут же хотела прочесть записку, но учитель сделал замечание. Тогда она крепко сжала записку в ладони и, как во сне, просидела до конца урока. Когда прозвучал звонок, Тамара, стараясь держать себя так, как будто ничего не произошло, вместе со всеми вышла из класса.

В коридоре стоял шум, толчея. Поэтому девочка выбежала во двор. Но и здесь неуютно: сильный ветер кружит мокрые хлопья снега. Галка, взлетевшая было против ветра, повисла в воздухе и раскачивается с боку на бок. Вот ее подкинуло вверх и тут же швырнуло вниз, к земле. Только маленькие щеглы с желтовато-розовыми зобами оказались похитрее: они то вприпрыжку, то планируя по затишью вдоль строений, летят куда им нужно.

Тамара осмотрелась, завернула за угол школы и вынула из кармана письмо.

«Тамара! — прочла она. — Простите...» «Простите?...» — прошептала она, возвысив голос на слоге «те». Почему «те»? Неужели мы стали настолько чужими? На «вы» обращаются друг к другу лишь те, кто совсем не товарищи и не друзья...» Кто-то пробежал совсем рядом, громко топоча ногами. Тамара зажала письмо в руке. Когда смолкли шаги, она снова развернула листок. «...обманул. Я все объясню, когда встретимся...» «О чем это он? Кто кого обманул?.. Нет, наверное, он что-то путает...» — заволновалась девочка. И все же сердце ее тревожно дрогнуло, почуяв недоброе. Тамара еще раз внимательно прочитала письмо. Теперь уже буквы плавали перед ней, хотя она крепко держала листок. «Тогда я обманул тебя. Я не тебя — другую любил... Я и себя обманул. Я должен все объяснить тебе. Мы с тобой будем друзьями. Когда я тебе все расскажу, то ты меня поймешь. Вот увидишь, поймешь и не будешь обижаться... Напиши, когда встретимся. Валентин».

«Ну и пусть! — шептали ее губы. — Ну и пусть...»

Тамара вошла в класс с гордо поднятой головой, но слезы были готовы брызнуть из глаз. И ребята сразу заметили это.

— Смотри, как идет!

Тамара прошла к своей парте и села.

А потом произошло такое, чего от нее никто не ожидал. Елена Сардоновна, преподававшая немецкий язык, попросила Тамару ответить на первый вопрос домашнего задания. Голубева встала и вызывающе сказала:

— Я не готовилась!

— А ты все же выйди к доске. Может, что-нибудь да знаешь, — сказала учительница.

— Не хочу! — ответила Тамара и посмотрела на Валентина. Вот, мол, я какая!

— Что все это значит, Голубева?

— Ничего... — Девочка расплакалась и выбежала из класса.

Возвращаясь домой, Тамара пыталась понять, что же произошло с ней. Почему она так грубо ответила преподавателю? Ведь не Елена Сардоновна виновата в том, что Валентин не любит ее... Правда, они были очень дружны. Жили рядом, вместе играли, ходили в кино и ничего особенного между ними не было до тех пор, пока весной, после восьмого класса, Валентин не сказал ей дрожащим голосом: «Я, Тамара, хочу тебе одно слово сказать...» Она не помнит, сказал он ей то слово или почудилось. Но с тех пор Тамара потеряла покой и все в ней перевернулось. Она стала замечать, что и другие девочки изменились: чаще стали шептаться, доверяя свои тайны только своим подружкам, стали обсуждать мальчишек из другого класса, будто видели их в первый раз, жаловались друг другу на строгость родителей, в портфелях появились зеркальца, фотографии киноактеров, актрис... «Кому рассказать сейчас, что творится у меня в душе? Как набраться храбрости, чтобы извиниться перед учительницей?..» Тамара уже давно плакала, но не замечала этого. Слезы текли по холодным щекам. «Может, маме рассказать обо всем?» Но эта мысль сразу же встретила протест души: «Опять скажет: «Где же ты шаталась, что даже вся продрогла?» А потом начнет упрекать и хлебом, и одеждой, и будет жаловаться на свою нелегкую долю. Нет, уж лучше она сейчас пойдет к Вале и посидит у нее до вечера... У Вали тоже нет отца — убежал куда-то...» От этой спасительной мысли ей сразу же стало тепло — она вволю навозится с четырехлетним Колей, братом Вали, расскажет ему сказки, а он будет ее ласкать пухленькими ручками и приговаривать: «Я люблю тебя, тетя Тамара...»

Где-то дико закричала кошка. Тамара вздрогнула от испуга. Она дошла до пятистенного дома и свернула в ворота. Валя была дома одна.

— Ой, Томочка! — радостно воскликнула она и обняла подругу. — Как я тебя ждала сегодня! Сижу вот одна. Настроение муторное-муторное.

Кисло улыбнувшись, Тамара освободилась от Валиных рук, сняла пальто. Валя не заметила, что подруга чем-то расстроена. Она сразу же начала тараторить:

— Я одна дома. Мама на дежурстве. Придет только ночью. Мне страшно одной. Я сегодня всю ночь сидела и смотрела в окно. На стекло падали снежинки, красивые, красивые...

— А где же Коля? — перебила подругу Тамара.

— А Коли нет! В детский сад отдали. Теперь он только один раз в неделю будет дома, — радостно сообщила Валя.

Тамара с минуту помолчала.

— А где швейная машина? — спросила она, осматриваясь вокруг.

— Сестра забрала.

Тамара села и уставилась в окно. На душе стало совсем пусто. Валя внимательно посмотрела на подругу и только сейчас заметила, какие большие перемены произошли в характере Тамары за последние месяцы. Тамара была порой дерзкой даже с ней, Валею, которую любила и уважала. Но сегодня она была тиха и печальна. Улучив момент, Валя решила вызвать подругу на откровенность. Тем более, она кое о чем догадывалась. Ведь она тоже была влюблена после восьмого класса в Петю Кривошеева, который не обращал на нее никакого внимания. И тогда Вале казалось, что на земле нет никого несчастней ее. Ей тогда не хотелось учиться, все раздражало, а добрые советы старших только нервировали ее. Может, это было результатом того, что в детстве она не раз была свидетельницей, как ругаются отец с матерью. Валя тогда никак не могла понять, почему происходит такая перепалка между родителями. Наругавшись, родители ложились спать и сразу же засыпали, а она, уткнув лицо в подушку, украдкой плакала, жалея и мать, и отца. Утром отец, хмурый, уходил на работу, выпив на дорогу несколько ковшиков воды. Мать вслед с укором и мольбой говорила:

— Не пей уж сегодня. Сколько можно?

— Без тебя знаю! — отрывал отец и громко хлопал дверью.

А Валя лежала не шелохнувшись, чутко ловя каждое движение взрослых. Всю трагедию семьи она поняла намного позже, когда стала учиться в третьем классе. Однажды, возвращаясь из школы, она услышала на улице разговор соседа, которые, глядя на нее, говорили участливо:

— Хоть бы ребенка пожалел, если ему жена не дорога...

— Где уж там! Пьянице дороже зеленого змия ничего на свете нет...

— Пьяница за рюмку мать родную продаст...

Тогда Валя прибежала домой и хотела рассказать отцу, как плохо о нем говорят соседи. Однако сделать ей это не удалось: пьяный отец гонял по дому мать и грозился поймать ее и убить.

— Папа, не надо! — закричала девочка и вцепилась отцу в пиджак.

— Ты... ты... еще ребенка натравливаешь на меня, на отца! — еле вороча языком, проговорил пьяный и с силой оттолкнул девочку. Валя отлетела под лавку и ударилась головой об стену...

Потом Валя долго лежала в больнице и отца уже больше не видела. Говорили, что он их бросил. Ее с тех пор будто подменили — она часто грубила матери, соседям, завидовала девочкам, у которых были добрые отцы, дралась с мальчишками. А когда влюбилась в Петю из параллельного класса, то мать, тихая женщина, совсем не могла совладать с ней.

Валя была уверена, что Петя тоже должен любить ее, тем более, что на школьном вечере он прислал ей записку: «Валя, я влюблен в вас. Х.» С тех пор Валя не находила себе места. Она терпеливо ждала два года, но Петя так и не сказал ей больше волшебного слова. Она почти еженощно видела его во сне. Он приходил к ней как сказочный принц. Она представляла, как пройдет с ним перед односельчанами... Но это были только мечты. На выпускном вечере Валя узнала, что Петя любил ее подругу Олю. Перед Валею померкло солнце. Во всех людях она теперь видела своих врагов, желающих ей только зла и неудачи.

Тогда Валя в отместку решила с первым попавшимся парнем пойти куда угодно и на что угодно... Может быть, легче было бы Вале, если бы у нее был более открытый характер и дома царило благополучие. А то как раз в это время к ним вернулся отец, пожил три года, подебоширил и снова исчез. Родился братишка, и вот уже четвертый год об отце ни слуху ни духу.

Валя в институт не стала сдавать, а осталась в деревне работать дояркой. Она стала еще скрытней, чуждалась людей. Как ни пыталась мать узнать, что творится с дочерью, как ни молила рассказать, почему она такая, так ничего и не

добилась. Только в работе Валя находила удовлетворение. Она с упоением ухаживала за своими коровами, телятами и не теряла надежды, что года через два-три поступит в сельскохозяйственный институт. Другим ее утешением был братишка Коля. Она могла часами отвечать на его сотни «почему» и «что это такое». Наивные, до предела искренние вопросы ребенка будили в ней добрые чувства, которые, как ей казалось, давно уже были погашены в ней.

Зная по себе, что такое одиночество, Валя заметила Тamarу, у которой тоже не было отца. Вале как-то удалось подружиться с Тамарой, хотя она знала, что мать Тамары не одобряет дружбы дочери с ней.

И вот сегодня Валя решила выведать все, что творится в душе ее подруги, с которой она раньше не заводила подобных разговоров. Видно, и Тамаре нравилось, что Валя не допрашивает ее расспросами, а позволяет вволю повозиться с Колей.

— Тамара, — ласково заговорила Валя, — скажи мне, почему ты бежишь из дома и почему так молчалива?

Тамара недоверчиво взглянула на подругу голубыми глазами, но, встретив добрый взгляд, отвернулась.

— Если не хочешь отвечать, не надо, — тихо сказала опять Валя.

И тут Тамара, припав к косяку окна, точно прислушиваясь к вою начинающегося бурана, беззвучно зарыдала.

— Не хочешь говорить, не надо, Тамарочка, — начала успокаивать подругу Валя. — Я ведь просто так спросила. Вижу, ты какая-то взвинченная... Думала, может быть, я тебе чем помочь могу...

Тамара подошла к Вале и, как маленькая, уткнув голову в колени, разрыдалась пуще прежнего.

— Ты знаешь, ведь меня никто не любит... Валентин не любит... Учителя не любят... Дома мать ест поедом, чуть что, попрекает каждым куском хлеба...

— Ты успокойся, Тамара, и расскажи мне все толком, ведь я тоже любила... И сейчас твоя беда чем-то похожа на ту, что испытала я. — Валя подняла голову подруги, вытерла ей слезы. — Я знаю, Тамара, с чего начались все наши беды — с отцов. Они были пьяницы, но их все терпели. Терпели мы, дети, терпели соседи, старались не замечать их пьянок на работе,

уговаривали их годами наши мамы. Но семьи наши уже были с червоточиной. Мы видели дома каждый день драки, ругань. Пытались как-то осознать, что же все-таки происходит у нас в семьях. Наконец мы озлобились на всех — вот это самое страшное, Тамара. А тут еще непрошенно пришла первая любовь... — Валя говорила неторопливо, точно мыслила вслух. Заметив, как при последних словах вспыхнули щеки Тамары и глаза уставились на нее, Валя продолжала медленно: — Да-да, пришла любовь. Ведь она не спрашивает нас, как живут родители, дерутся они или нет...

— Я-я... я люблю одного парня... — тихо подала голос Тамара.

— Ну и хорошо, — как бы между прочим ответила Валя.

— Он очень хороший... красивый...

— Верю.

— А он меня не любит, — подавленным голосом сказала Тамара.

— Это не страшно. Такая девочка, как ты, должна найти хорошего человека.

— Не знаю почему, но я еще злей стала после того, как узнала, что Валентин меня не любит. Он, оказывается, ко мне относился как друг...

В этот вечер Тамара рассказала подруге о себе самое сокровенное. Вале было трудно понять, где Тамара чувствует себя хуже: в школе или дома? Расскажи Тамара все это матери, тетушка Варук просто слушать бы не стала о душевных переживаниях дочери. Для начала она попросту бы побила Тамару.

В школе учителя заметили, что Тамара влюбилась в кого-то... Молодой учитель Геннадий Васильевич пытался понять строптивую девочку, несколько раз вызывал ее на откровенный разговор, но из этого ничего не вышло. Тамара все больше замыкалась в себе, перестала дружить с одноклассниками, по-прежнему вызываясь вела себя с учителями. Молодой учитель несколько раз видел Тамару в клубе со взрослыми парнями. Заметив Геннадия Васильевича, девочка хватала с подоконника пальто и стремяглав бросалась на улицу. Вслед ей улюлюкали пьяные голоса да фальшиво пиликал гармонист. Учитель встретил в клубе еще нескольких учениц из девятого класса. Об этих встречах он ничего не сказал в школе, но

для себя сделал вывод: «Школьницам скучно, и их надо занять чем-то более интересным, чем танцульки в клубе».

Заговорив однажды в учительской о работе сельского клуба, Геннадий Васильевич был поражен тем, что вот уже много лет никто из учителей не был в клубе и совсем не знал, что там делается.

На удивленный взгляд практиканта учительница арифметики сказала:

— У нас у каждого дома семья, хозяйство, и нам некогда расхаживать по клубам. Тем более, что там хоть волков морозь.

— Вот-вот, поэтому-то нам и необходимо знать, как проводят свой досуг наши ученики. У них сейчас переходный возраст. Порою простое любопытство может окончиться печально...

Учителя отмолчались.

Рассказывая о практиканте, Тамара намекнула, что она нравится Геннадию Васильевичу.

— Ну и чудесно, — сказала Валя, — что молодой учитель так внимателен к тебе. И не такая уж ты несчастная, как представила все вначале. Я тебе говорила, что я тоже была влюблена, как и ты, и тоже в девятом классе и тоже страдала, так как он меня не любил...

— Ты страдала? — удивилась Тамара. — А я думала, что ты никого еще не любила, кроме своих коров и Коли!

— А ты что весь вечер сидишь в платке? — спросила вдруг Валя и попыталась помочь Тамаре развязать платок. — Снимай, сейчас будем пить чай. — Но Тамара отскочила, как ошпаренная, и снова превратилась в озлобленного зверька.

— Да ты что, Тамара?

Девочка, заплакав, опустила на плечи платок... И тут Валя ахнула:

— Да что ж ты, глупенькая, наделала? Где твои косы?

— Сегодня после школы зашла в парикмахерскую...

— Зачем ты это сделала?

— Парни в клубе посоветовали...

— Какие парни?

— Петр Вильяминов... Ты его знаешь... Он смеялся над моими косами, когда танцевали, говорит, что это за детский сад...

— Шофер, что ли? Тот, что ходит всегда пьяный и лохматый?

— Он... Говорит, что теперь совсем не модно с косами, только в деревнях и ходят с косами, а в городах все девчата стригутся под мальчишек, а парни отпускают волосы до плеч...

— Да кого ж ты послушалась? Мать-то хоть знает?

Тамара покачала головой, тяжело вздохнула, нервно заходила по комнате.

— Как же ты теперь домой покажешься?

Тамара молчала.

Неожиданно открылась дверь, и холод белым туманом хлынул в избу. На пороге стояла тетушка Варук.

— Так и знала, что ты здесь! Боже мой! На кого ты похожа?! — всплеснула руками женщина. — Где твои косы? — Она забегала по комнате, заглядывая под стол, под скамейку. Потом схватила дочь за волосы и стала рвать их. — Чтобы не было их совсем! — кричала мать в исступлении. — И за что только мне бог послал такое наказание?..

— Тетя Варук, что ты делаешь? Разве можно так?

— Молчи! Сама-то хороша! Заманиваешь ее, а потом к парням тащишь! Знаю я вас! Пошли домой! Там я еще поговорю с тобой! — Тетушка Варук вытолкала дочь, не дав ей одеться. Валя попыталась заступиться за подругу, но женщина оборвала ее бранным словом.

...Тамара болела тяжело, долго. У нее оказалось двустороннее воспаление легких. Тетушка Варук, наверное, из-за своего упрямства так и не отправила бы Тамару в больницу, если бы тогда не прибежал Геннадий Васильевич, которого известила обо всем случившемся Валя, подробно рассказав молодому учителю о своем разговоре с Тамарой.

Сегодня девочку наконец привезли из больницы. Она сильно похудела. В тот же день Тамару навестили одноклассники. Девочка еще лежала в кровати, по шею накрытая одеялом. Девочки обратили внимание на красивое полотенце, висевшее на трюмо. Их глаза невольно остановились на необыкновенных узорах полотенца. Тамара заметила это и, улыбаясь, сказала:

— Это я в больнице вышила... Это хандыс, кунчек, птичий скачок, — пояснила девочка способы вышивки и увле-

ченно начала рассказывать о своеобразии каждого способа. Девочки и ребята слушали Тамару внимательно и смотрели на нее во все глаза, точно видели ее впервые. Когда Тамара, усталая, откинулась на подушки и замолчала, ребята наперебой стали рассказывать ей о школьных новостях: о подготовке к Новому году, кто с кем дружит, о том, как они всем классом ездили в Чебоксары в театр и все это сделал Геннадий Васильевич, хотя многие учителя и не одобряли его затеи: а вдруг кто потеряется в городе, да и поездка в автобусе не из легких в зимнюю пору. Но Геннадий Васильевич сумел сделать так, что ребята поехали...

Почувствовав, что Тамара устала от такого большого наплыва новостей, вскоре ребята попрощались и ушли. А Тамара долго лежала, прикрыв глаза, и сердце ее наполнялось счастьем.

После выздоровления Тамара навестила свою старшую подругу.

— Опять к ней пошла? — спросила с упреком мать.

Раньше бы Тамара обязательно резко ответила матери. А сейчас девочка спокойно сказала:

— Да, к Вале. Она для меня самый лучший человек в деревне.

— Так уж и лучший?.. Ишь ты, как заговорила! Была бы лучшим человеком, дояркой бы не работала, а училась бы в институте, как другие... Отец был непутевый, и она далеко не ушла.

— Мама, ну зачем же так? А у нас отец разве путевый был? Тоже был пьяница, вот и тебя довел...

Мать хотела еще сказать что-то, но только махнула рукой и ушла в переднюю.

Валя очень обрадовалась приходу Тамары. Она только что пришла с фермы, и от нее вкусно пахло парным молоком. Она приветливо усадила Тамару за стол и стала раздеваться. Сняла резиновые сапоги, отмыла их от навоза и поставила за печку, вытрясла телогрейку от сеной трухи, потом помыла руки. Делая все это, Валя рассказывала Тамаре о своей работе и в то же время расспрашивала ее о здоровье, о больнице.

Тамара подробно рассказала Вале, как к ней приходили ребята из школы вместе с Геннадием Васильевичем.

— Все говорят: в институт пойдем, — закончила Тамара и выжидательно посмотрела на подругу. — А ты как думаешь насчет института?

— Это хорошо, что твои одноклассники учиться хотят, — под села к Тамаре Валя и обняла ее за худенькие плечи. — Вот только не было бы это ради диплома... Я знаю, надо мною многие смеются: «Стоило учиться десять лет, чтобы корове вымя мыть». Слышать мне это, конечно, обидно. Очень обидно. Но теперь-то я точно знаю, что хочу быть зоотехником. Раньше я еще и не знала, куда мне идти учиться. А теперь полная ясность. Я люблю коров, телят, я их понимаю. Посмотри, во что эта любовь превратилась, — и Валя показала подруге свои потрескавшиеся, с желтизной, как у курильщика, пальцы. — А если еще я тебе скажу, — хотя ты, может быть, и знаешь, — что я трижды хожу на ферму, а другие доярки два раза, то я наверняка выгляжу в глазах некоторых односельчан душой со средним образованием. Но ты-то понимаешь меня. У меня теперь есть цель, я знаю, где я могу больше приносить пользы людям. Ведь нам в школе говорят с первого класса: мол, перед вами открыты все дороги, все пути. А как попасть на нужную из них, как ее выбрать, мы не знаем, да просто и не думаем. И учителя почему-то обходят молчанием этот вопрос. А как это ошибочно!

Валя умолкла и отошла к окну.

— Ты уж не сердись, Тамара, что я все о себе да о себе.

— Что ты, Валя, я обо всем этом думала, пока болела, там много времени было... А ты умная и очень хорошая... — Тамара покраснела и в смущении выбежала из дома.

...Весна прошла незаметно. Тамара успешно сдала экзамены за девятый класс и была безмерно рада этому — не отстала-таки от ребят. Некоторые учителя сомневались, что она сумеет догнать товарищей — уж больно много было пропущено уроков. Вначале Тамара и сама не верила в свои силы. И неизвестно, как бы обернулось все, если бы не помогла Валя. Правда, тетушка Варук по-прежнему выговаривала дочери по этому случаю:

— Опять зачистила к ней, — Тамара понимала, кого имела в виду мать. — Ой, не доведет она тебя до добра!

— Мы же с ней занимаемся, — отвечала дочь. — Она мне помогает в учебе.

— Знаю, знаю, чему она тебя учит! — многозначительно говорила мать.

Может быть, тетушка Варук и вцепилась бы, как раньше, дочери в волосы, если бы не помнила слова молодого учителя: «Если, Голубева, вы и в дальнейшем будете так обращаться с детьми, особенно с Тамарой, то придется нам с вами в другом месте встретиться».

И вот теперь, когда все горечи и переживания были позади, Тамара, хотя ее и оставляли дома, решила поехать с группой школьников во главе с Геннадием Васильевичем на сенокос.

* * *

Луга были в километрах шестнадцати от деревни, поэтому выехали ранним утром на трех подводах. На передней телеге тряслись трое: экономист колхоза Мирон Титович Вицов, сухощавый мужчина с высоким лбом и кротким, как у голубя, характером, любитель проводить летнее время на свежем воздухе; его сын Володя, в этом году окончивший десятый класс и очень похожий на отца, такой же светловолосый, с коричневыми глазами, и Настя — конюх, женщина лет сорока, приземистая, с мужским характером.

На второй телеге ехали учитель-пенсионер Семен Павлович, еще четыре года назад преподававший в школе биологию, Геннадий Васильевич, Тамара, подруга Рая и дядя Тамары — Василий Можаяев. Он долгое время жил среди русских, но, несмотря на это, чисто говорил на чувашском языке.

На последней, особенно гроыхавшей и скрипевшей телеге, ехали три паренька-девятиклассника и две девочки.

Лошади, не видевшие несколько дней хомутов и отъевшиеся за это время, никак не могут войти в ритм бега. Они идут лениво, часто останавливаются, а на подъеме пошли еще тише.

Только что взошедшее солнце заливает ярким светом все вокруг. Чистое небо предвещает, что день будет жарким. Дорожная пыль, слегка прибитая росой, прилипает к колесу, и за телегой остаются сизо-белые полосы. По левую сторону — туманная пойма, пруд водяной мельницы. И на пойме, и в поле бродят стада коров, овец, только что выгнанных из деревни.

Ребята на третьей подводе запевают песню. Володя сонно наблюдает за окружающей природой и в то же время поглядывает на телегу, на которой едет Тамара. Володе тоже хочется, чтоб она посмотрела в его сторону, но она склонила голову и, чему-то улыбаясь, стегает прутиком по придорожным кустам.

Когда подъем стал круче, все сошли с телег, на лошадях ослабили и чересседельники.

Наконец дорога выровнялась, и подводы вскоре въехали в сосновый бор. Разлапистые ветви высоких стройных сосен сверху соединились друг с другом, образовав своеобразный навес. Дорога здесь вся переплетена корнями могучих деревьев, телегу бросает с боку на бок, когда она попадает в рытвины. В ямках все еще стоит вода, хотя дождь прошел еще позавчера. В лесной тени лежат догнивающие коряги, сухой валежник. Над лошадьми кровожадно вьются крупные слепни, и животные судорожно трясутся всем телом, нещадно хлещут себя хвостами.

Остановились, не доехав до края леса с полверсты. Мужчины распрягли лошадей. Настя и девчата сложили сбрую на телеги. Геннадий Васильевич помог ребятам сгрузить с телеги вещи и пошел выбирать место для шалаша. Девчат он послал искать родник, чтобы была питьевая вода. Можаяев, Вирцов, Володя обходят участок, отведенный под косьбу.

— Сегодня уж и косу в руки брать не стоит, — говорят взрослые, — трава сухая. Завтра по росе начнем... — И они уходят рубить ветки для шалаша, девчата собирают валежник на дрова, носят воду, чистят картошку.

— Шалаш будем строить только для девчат, а сами и под небом не пострадаем, — говорит Можаяев. — Так что ли, мужики? — обращается он к ребятам. Те молча кивают в ответ головой.

Утром Мирон Титович еще до восхода солнца разбудил сына. Володя спустился умываться в овражек, где бил родник, да такой холодный, что даже зубы ломит. Спрятался он под красной ивой, в густых зарослях орешника. Вода в нем чуть желтовата, но на вкус хороша, немного солоноватая и мягкая. Такая вода хорошо утоляет жажду.

Вскоре сюда же, напевая, спустилась Тамара. Услышав ее голос, Володя быстро вытерся и, надев майку, присел под куст орешника. Девушка, зажав коленками платье, нагнулась

к воде, умылась, потом стала расчесывать все еще короткие, как у мальчишки, волосы.

Володя знал Тамару с первого класса. И только сейчас она ему показалась необыкновенно красивой. Он смотрел на нее как замороженный. Боясь смутить девушку своим присутствием, Володя быстро и бесшумно поднялся из овражка. Ему невольно вспомнилось, как накинулась на него мачеха, когда он сказал дома, что самая лучшая девочка в школе — это Тамара Голубева из девятого класса, хотя она и очень замкнутая.

— Нашел хорошую девочку! — кричала мачеха. — Да знаешь ли ты, кто у нее родители? Отец алкоголик, а мать истеричка и грубиянка. А яблоко от яблони недалеко падает, ты это должен знать... Еще не известно, почему ее положили в больницу и почему ваш практикант уделяет ей особое внимание, — недвусмысленно закончила женщина.

Володя начал было горячо защищать Тамару, но тут вмешался отец:

— Прекрати пререкаться с матерью!

«Нет, Тамара вовсе не такая, как о ней говорят в деревне! Она — чудесная!» — думал Володя, шагая по лесу. Он чувствовал сейчас во всем теле необыкновенную легкость, необъяснимая радость переполняла душу. Ему хотелось скорее начать косить — и чтобы его обязательно видела Тамара! — петь, кричать...

Лес проснулся от перезвона кос, который раздавался то в одном, то в другом месте и был похож на переключку каких-то диковинных птиц. Это правили смолянками свои косы косари. Потом вдруг по всей поляне стал раздаваться звук, похожий на дыхание сказочного улыпа. Хаш-тык! Хаш-тык! Птицы, вначале испуганные этим странным звуком, притихли, потом, видимо, привыкли и тоже начали подавать голоса. Под косой безвольно падают зонтичные омежники, кукушкины слезки, кустики земляники. Звонко цвиркая, высоко прыгают потревоженные кузнечики.

Взрослые начали косить с одного конца, школьники — с другого. Молодость есть молодость, и ребята, частенько забывая о косьбе, начинают рыться в траве, собирать ягоды. Тогда раздается подбадривающий голос Геннадия Васильевича:

— Хватит, лакомки, после работы ягод отведаем!

К полудню становится жарко, и ребята, обгоняя друг друга, спускаются к ручью. Первым до воды добегают Володя. Набрав воды, он выходит из оврага. Навстречу ему бегут к ручью девчата.

— Володя, дай глоток воды! — кричит Тамара. — Я прямо умираю от жажды! — И она подставила руки.

Юноша с радостью налил в пригоршни Тамары воды. Когда их глаза встретились, Володя заметил, что от ярких солнечных лучей зрачки у девочки стали маленькими-маленькими.

Взрослые тем временем уже вскипятили чай с листьями малины и смородины. Сели обедать. Володя чувствовал, что на него украдкой посматривает Тамара. От этого ему становилось еще жарче, и он забывал отдать отцу кружку с чаем, из которой они пили вдвоем. Отец отнес рассеянность сына к усталости.

Остаток дня Володя находился в плену какого-то непонятного чувства. Вечером он уединился, и все ему казалось новым, будто он видел впервые и этот темный лес, и открытую поляну... Солнце только что опустилось за дальний перелесок, а деревья и трава сразу же порозовели, и чуткая тишина царственно наложила свою власть на все живое. Только озорные кузнечики стрекочут мелодично, как бы боясь нарушить этот первозданный покой. Но так тихо лишь до появления первых звезд.

...Володя долго не может уснуть. Он слышит, как в соседней деревне поют девчата, играет гармонь. Временами кажется, что песня звучит совсем рядом, на поляне. Вдруг на дереве начинает жужжать какая-то букашка, попавшая в паутину. А вот заухала сова, точно нарочно пугает ребят. И тут Володя заметил: из шалаша, где спали девушки, кто-то вышел. Человек, как лунатик, передвигался по поляне, оставливался, что-то разглядывая вокруг. Володя узнал Тамару. Он неслышно поднялся, чтобы не разбудить отца, и пошел к девушке.

— Ты что тут делаешь? — спросил юноша, подойдя к Тамаре.

— Посмотри, какие красивые светлячки! — И она ткнула ногой трухлявый пенёк. — Посмотри, они манят, как звезды...

— Очень красивые, — согласился Володя и осторожно взял Тамару за руку.

Так они проходили до первых лучей солнца, взявшись за руки.

Наступивший день для Тамары был по-особенному красив. Она замечала все, мимо чего раньше проходила, не обращая внимания. Девушка с умилением разглядывала подберезовики на крепких ножках, их тяжелые коричневые шляпки блестели, точно смазанные маслом. Даже в монотонном жужжанье пчел, круживших над пышной, усыпанной желтыми цветками липой, Тамаре слышалась чарующая музыка. Вдруг ее слух уловил залиvistый, на грани срыва, посвист соловья. Тамара заметила, что соловей каждый раз высвистывал другой мотив, более совершенный и более красивый, чем предыдущий...

Если для многих ребят две недели покоса тянулись долго, то для Володи и Тамары они показались мгновением. И в день возвращения в деревню они погрустнели, это заметил даже Геннадий Васильевич. Перед отъездом он предложил:

— Пойдите-ка, погуляйте по лесу, пока мы здесь все соберем.

— Верно, — добавил Тамарин дядя. — Нарвите цветов... Поработали вы хорошо.

Володя и Тамара поотнекивались немного, а потом медленно пошли в сторону леса. Когда они скрылись от людских глаз, то побежали наперегонки.

— Володя, стой, я не могу больше!.. — остановилась, едва переводя дыхание, Тамара.

— Тамара, ты знаешь... — Юноша подошел к ней. — Мне так хорошо сейчас, — начал путанно Володя.

— Мне тоже... Как хорошо, что я поехала на покос!..

— Тамара, ведь я давно... знаешь, очень, ну... люблю тебя... — Володя не знал, что говорить дальше, во рту все пересохло, и, казалось, еще минута обоюдного молчания — и у него лопнут от напряжения нервы, остановится сердце. Володя во все глаза смотрел на Тамару и ждал.

— Я... Я... тоже... — прошептала Тамара и сделала шаг вперед. Володя обнял ее дрожащие, как в лихорадке, плечи.

— Тамара...

— Володя, если ты не пройдешь по конкурсу, не уезжай, пожалуйста, из деревни, — сказала тихо-тихо девушка, уткнув лицо в грудь парня. — Мне без тебя будет плохо...

- Не уеду, конечно, не уеду! Мы будем вместе, Тамара.
- А на следующий год мы поедem снова, хорошо?
- Хорошо...

...На горе, в густой пелене тумана, похожей на обрушившуюся на земле тучу, стоят парень с девушкой. Издали их нечеткие силуэты кажутся добрыми духами, рука об руку летающими по небу.

Еле уловимый звон осиновых листьев предвещает о приближении ветра. Чувствуется, как по-богатырски свободно дышит утренняя земля.

А на востоке, словно распускающийся красный мак, заалело утро. Там, окутанное в красную пелену зари, дремлет в колыбели восхода будущее счастье двух влюбленных сердец... Красный мак вешает им счастье.



МИХАИЛ ЮХМА

Родился в 1936 году

Михаил Николаевич Юхма родился 10 апреля 1936 года в с. Сугуты Батыревского района Чувашской Республики.

Окончил Батыревскую среднюю школу, чувашское отделение историко-филологического факультета Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева.

Некоторое время работал в республиканском краеведческом музее, учителем средней школы, редактором Чувашского книжного издательства. Он был в числе учредителей первых независимых общественных организаций в Чувашии.

Первые произведения опубликованы на страницах батыревской районной газеты «Авангард». С тех пор его стихи, рассказы и очерки, повести и романы, пьесы печатались на многих языках. Всероссийскому читателю он известен по историческим романам и повестям «Дорога на Москву», «Голубая стрела», «Кунгош — птица бессмертия» и др. Во многих произведениях М. Юхма поднимает проблему возрождения чувашского народа, культуры, обычаев и традиций, духовных начал родного народа. В них писатель предупреждает, что нарушение добрых традиций народа, его этики, отклонение от общечеловеческих норм ведет к разрушению личности, нравственной деформации нации и ее уникальной культуры. «Человек и природа» — следующий аспект художественных исследований писателя.

М. Юхма — народный писатель Чувашии, заслуженный работник культуры Чувашской Республики, является лауреатом многих советских, российских и международных литературных премий.

Проживает в г. Чебоксары.

Шурсямга, молодой волк*

Главы из повести

8

С каждым днем Шурсямгу все сильнее и сильнее тянуло к Саркке. Он уже больше не убегал далеко от волчицы, часто останавливался, поджидая подругу, а потом и вовсе перестал отходить от нее. Волки повсюду появлялись вместе и неизменно бежали рядом — плечом к плечу.

Однажды, когда солнце уже скрылось за дальними лесами и волки, как обычно, рыскали по окрестным холмам и опушкам, не теряя из виду знакомого перелеска, Шурсямга неожиданно игриво толкнул Саркку влажным носом в бок и отпрыгнул в сторону.

Саркка с нарочитым удивлением посмотрела на волка, вроде бы не понимая, что это с ним вдруг произошло.

Шурсямга повалился в снегу и лег на живот, будто приглашая Саркку подойти к нему, а как только она улеглась подле него, ласково лизнул ее в ухо. Волчице понравилась ласка Шурсямги, но разлеживаться на одном месте ей было невтерпех. Саркка поднялась и направилась к перелеску Када. Шурсямга вскочил на ноги и двумя прыжками настиг волчицу, держась теперь, однако, не у ее плеча, а поближе к хвосту...

На поляне волки долго возились, как маленькие щенята, боролись, вставая на дыбки, шутя покусывали друг друга то за бока, то за шею, без усталости валялись в мягком и пушистом снегу.

Казалось, что они совсем не думают о возможных опасностях, которые всегда подстерегают диких зверей, о существующих где-то людях, о дружбе и вражде, об отдыхе и голоде... Им было весело и хорошо. На всей земле, что принадлежала сейчас только им двоим, воцарились покой и мир. И если на эту поляну вдруг забежал бы какой-нибудь любопытный зайчишка, то волки, даже заметив косога, пожалуй, не тронули бы его...

Наступила весна. Пора зарождения новой жизни. Томительное время любовных игр.

* Перевод С. Барченко.

Из города Валяхха приехал в начале марта. И первым, кого встретил в деревне, была его соседка. Она как раз расчищала занесенную снегом тропинку, что вела от дороги к калитке.

— И-и-и, Валяхха! — поздоровавшись, с притворным сожалением запела соседка, воткнув лопату в снег.— Уж я-то думала, что ты волка убитого несешь, а это у тебя чемодан через плечо... Небось, в городе-то волков нету?.. А у нас никакого житья от них, проклятых, не стало! Ты знаешь вдову из Анаткасов?.. Ну ту, у которой сынишка года три назад помер?.. Так вот, пошла она в Када за хворостом, а на обратном пути два волка чуть ее не сожрали. Вот те крест... Она, бедная, едва ноги от них унесла... Нет, Валяхха, надо мне, видать, все же в Шемуршу идти, тамошних мужиков просить, чтобы избавили от разбойников. Так и Палюш в Шемурше живет. Вот это охотник так охотник! Уж он-то волка не упустит!..

Обидные речи соседки будто кипятком ошпарили Валяхху. Ведь если даже эта балаболка такое себе позволяет, то, значит, другие люди теперь и подавно сомневаются в его охотничьем мастерстве?..

— Типун тебе на язык! — не утерпел он. — Ты думаешь, что Валяхха в городе перестал быть охотником? Или разучился держать ружье?..

— Экая невидаль — ружье держать! Да это и любая баба сумеет! — дерзко откликнулась соседка.

Но Валяхха не стал с нею спорить, попусту время терять, а молча пошел к своей избе.

На следующее утро, не обращая внимания на оттепель и падающий мокрый снег, он отправился на охоту.

Все ближние и дальние лесные чащобы обошел Валяхха, все овраги да буераки облазил, почти под каждый куст заглядывал, однако волчьих следов так и не обнаружил. «Надо было этого чертова волка еще зимой ухлопать, а не ждать до весны, — хмурясь, раздумывал усталый охотник по дороге в деревню. — Должно быть, повстречал наш Шурсямга волчицу, да и отправились они куда-нибудь в другие места. Или же давным-давно угодили под картечь приезжих охотников...

А свернуть с дороги да хорошенько обшарить густые кус-

тарники в перелеске Када, который можно было без особого труда пройти вдоль и поперек, измотавшийся за день Валяха так и не догадался...

10

...Наступили теплые, погожие дни.

Однажды в сумерках Шурсямга лежал в густых зарослях, возле вывороченного ветром старого вяза, под корнями которого находилось укромное логово. Близилась пора выходить на охоту, но Саркка не показывалась из норы. Волком овладело беспокойство. Шурсямга заполз внутрь логова, чтобы узнать, в чем там дело, и напомнить Саркке об охоте. Но волчица встретила его сердитым рычанием. Он слегка попятился, однако Саркке, должно быть, это показалось недостаточным, и она больно укусила его в бок.

В иное время Шурсямга, конечно, не простил бы своей подруге такого непочтительного к нему отношения. Но сейчас инстинкт подсказывал волку, что он не должен пускаться в ход зубы, а обязан подчиниться требованию Саркки и побыстрее убраться прочь из логова.

Смирив обиду, Шурсямга выбрался наружу, отбежал в сторону и оглянулся, поджидая Саркку. Однако волчица так и не покинула укрытия.

Порыскав в перелеске и не встретив никакой добычи, Шурсямга опять вернулся к вывороченному вязу. Волк уже успел забыть о нелюбезном приеме, который оказала ему Саркка, и хотел привычно нырнуть под свисающие корни дерева, чтобы все-таки понудить подругу следовать за ним на охоту, но его снова не пустили домой.

Загораживая своим телом вход, Саркка мордой оттолкнула Шурсямгу, как бы прося оставить ее в покое. Из глубины волчьего жилища доносился какой-то странный, не знакомый Шурсямге запах, там происходила еле слышная возня — и все это озадачивало волка. Правда, он уже вполне осознал, что не имеет права оставлять без внимания желания Саркки, и поэтому на сей раз даже не пытался проникнуть внутрь логова, а покорно улегся перед входом. Голова Саркки показалась на поверхности, но волчица все же не решалась окончательно покинуть убежище. Глаза Саркки смотрели на Шурсямгу требовательно и недовольно.

Настойчивость волчицы подняла Шурсямгу на ноги. Он наконец понял, чего добивается от него Саркка, и побежал на охоту в одиночку.

Волк возвратился к логову лишь с утренней зарей, таща на спине ягненка. Сам Шурсямга даже не прикоснулся к мясу, положил добычу у входа в логово и отошел в сторону. Спустя некоторое время Саркка выбралась из норы и принялась спокойно поедать принесенную Шурсямгой пищу, не обращая при этом на него ни малейшего внимания, как будто так бывало всегда...

Теперь Шурсямге приходилось охотиться одному. Но он уже твердо усвоил свои новые обязанности и неизменно приносил добычу к логову. А однажды, когда ему удалось поймать забежавшего в перелесок израненного совиными когтями зайца и Шурсямга вернулся домой пораньше, навстречу ему из логова вылезла Саркка, а вслед за ней выкатился похожий на клубок шерсти волчонок.

Это удивило Шурсямгу. Последнее время возня в логове почти прекратилась, писка не было слышно, и волк, конечно, не знал, что из всего принесенного Сарккой помета в живых остался лишь этот забавный шенок. Очевидно, долгая зимняя бескормица сказалась на волчице, и остальное потомство Шурсямги появилось на свет чересчур слабым, чтобы выжить.

Волк поднялся со своего места и настороженно приблизился к малышу. Готовая в любую минуту защитить этот беспомощный комочек, Саркка подозрительно следила за каждым движением Шурсямги.

А волчонок ничуть не испугался подошедшего к нему отца. Он сразу же сунулся под брюхо волку и начал тыкаться в него тупой мордочкой, отыскивая соски. Шурсямга обнюхал волчонка и, осторожно переступив через него, ласково лизнул опрокинувшегося на спину малыша. Саркка успокоилась и одобрительно потерлась мордой о плечо волка.

Так Шурсямга познакомился со своим сыном.

11

Впрочем, это событие покуда не внесло в жизнь Шурсямги особых перемен. Он по-прежнему охотился в одиночку, исправно кормил семью, хотя волчонок пока довольствовался материнским молоком.

Как-то под вечер Шурсямга неспешно трусил по дну поросшей травой глубокой ложбины, которая находилась неподалеку от деревни. Обычно ложбина пустовала, и по ней было удобно подбираться к самой околице. Но сегодня на травянистом склоне паслась корова, и волк по привычке начал подкрадываться к ней, хотя и понимал, что без помощи Саркки эту добычу ему не одолеть.

Корова почуяла волка. Тревожно замычав и пригнув рога-тую голову, она с грозным фырканием принялась разрывать передними копытами землю, стараясь отпугнуть волка. Шурсямга, однако, не испугался. Присев на задние лапы, волк с любопытством наблюдал за ее маневрами.

Быть может, поэтому он не сразу заметил мальчика, который вдруг появился на склоне ложбины и бесстрашно направился к волку, размахивая тоненькой хворостиной.

— Уходи отсюда, противная собака! — еще издали кричал мальчик. — Ты зачем пугаешь корову?

Шурсямга не тронулся с места. Он только слегка оскалился и насторожил уши.

— Я кому говорю? Уходи! — не унимался мальчик.

Он подошел к волку совсем близко. Гибкий кончик хворостины задел морду Шурсямги. Волк отпрыгнул подальше и опять опустился на задние лапы. Даже испытанная только что боль почему-то не пробудила в Шурсямге злости и желания броситься на мальчишку. С волком внезапно произошло то же самое, что случилось с ним давно, на зимней дороге, когда он поддался Саркке и задумал напасть на женщину. Как и в тот раз, Шурсямгу удержали смутные воспоминания. Но сейчас сдерживающее чувство было несравненно сильнее, потому что семилетний мальчик, его звонкий голос, движения, круглое лицо — все это как бы вдруг вернулось к Шурсямге из невозвратного прошлого. Нечто сходное с нежностью пробудилось в угрюмой волчьей душе...

Но мальчик, разумеется, и не подозревал о тех чувствах, которые одолевали волка. Он даже не предполагал, что перед ним настоящий волк, и продолжал размахивать своей хворостиной, отгоняя медленно отступающего Шурсямгу. Наконец мальчику показалось, что он достаточно напугал эту огромную собаку с белой отметиной на лбу.

— Хас! Пошли домой! — сказал мальчик корове, подстегивая ее хворостиной.

Но ту и подстегивать было не надо. Корова повернулась и припустила рысью в деревню. Мальчик беспечно побежал за ней, даже не оглянувшись на Шурсямгу.

А волк еще долго смотрел на гребень ложбины, за которым скрылся мальчик. Шурсямга никак не мог подавить тех чувств, что всколыхнулись в нем при виде этого человеческого детеныша. И если бы сейчас кто-нибудь посмел напасть на этого ребенка, Шурсямга, ни минуты не колеблясь, кинулся бы на помощь...

12

А жизнь шла своим чередом. И тем, кто пришел в этот мир, надо было жить, расти, крепнуть. Исполняя предназначение природы, взрослые должны были заботиться о своем потомстве, а потомство — любить и почитать тех, кто подарил им жизнь. И не на этом ли простом и непреложном законе зиждется все сущее на земле? Что это — долг, голос крови?.. Но не все ли равно, как назвать это неистребимое чувство, которое не дает угаснуть роду, оборвать связующие его незримые нити...

Великой любовью друг к другу наградила мать-природа Шурсямгу и его маленького сына.

Волку теперь не терпелось поскорее вернуться с охоты домой, где его ждал маленький сын. И как только Шурсямга бросал у входа в логово принесенную добычу, оттуда тотчас же выскакивал радостный волчонок и набрасывался на еду. А волк с ласковым ворчанием смотрел на возню малыша, для которого во всем мире не было покуда еще ни боли, ни страха, ни смерти. Ограниченный уютным логовом и вытптанной перед входом в него площадкой, на которой всегда появлялось вкусное мясо, мир волчонка был радостным и беззаботным, потому что на страже его стояли неутомимые отец и мать...

Когда волчонок достаточно подрос, его начали оставлять в логове одного, а Саркка отправлялась на охоту вместе с Шурсямгой. Это пришлось по душе волку, потому что ему давно уже надоело рыскать за добычей в одиночестве.

Однажды волки бежали краем леса, как обычно резвясь, и нарочно покусывали друг друга, когда Саркка вдруг резко свернула к ореховым кустам, за которыми вблизи опушки паслись на жнивье домашние гуси.

Выглянув из-за орешника и не обнаружив возле гусяного стада людей, осмелевшие звери бросились в самую гущу беспорядочно гогочущей и хлопающей крыльями гусяной орды. Волки не были голодны, но тем не менее они принялись ловить и хватать за горло неувертливых птиц.

Уже с десятков окровавленных белых гусяных туш валялось на желтом жнивье, когда с близлежащей птицефермы выбежали люди и с криками бросились спасать оставшихся гусей. Волки немедленно направились к лесу...

Подбежавшие люди успели не только отогнать хищников, но и разглядели, что у одного волка на лбу белело пятно...

Едва лишь весть о том, как разбойничали в гусяном стаде Шурсямга со своей волчицей, достигла избы Валяххи, он немешкая начал готовиться к серьезной охоте...

На следующий день с первыми проблесками зари Валяхха был уже за деревней. Он понимал, что упустить волков и на этот раз означает для него весьма ощутимую потерю охотничьего престижа уже не только перед вьедливой соседкой, но и перед всеми односельчанами.

13

...На этот раз картечь угодила Шурсямге в левую переднюю ногу, но не задела сухожилий и не перебила кости, а прошла сквозь мякоть.

Волк сперва и вовсе не почувствовал, что он ранен. Не отставая от Саркки, он перескочил через дорогу едва ли не перед лошадиной мордой и понесся чащобой, стремясь подальше уйти от охотника. Однако вскоре левая лапа у него вроде бы подломилась, и Шурсямга упал. Рыча от боли и страха, волк вскочил, но, прохромав несколько шагов, опять свалился на землю. Отбежавшая было волчица вернулась к Шурсямге. Злобно поскуливая и обнажая зубы, она толкнула его мордой в бок, как бы приказывая подняться. «Надо уходить! Поднимайся, если хочешь спасти свою жизнь!» — звучало в ее требовательном поскуливании. Собрав все свои силы, Шурсямга

на трех ногах бросился вперед. Доковыляв до густого орехового куста, волк забился в самую его середину и больше подняться уже не смог.

Саркка догадалась об этом, потому не стала вновь понуждать Шурсямгу к бегу. Она обогнула куст и кинулась прочь, негромко подавая голос, чтобы отвлечь на себя идущего по кровавому следу охотника.

Притаившись в зарослях лещины, Шурсямга издали увидел вышедшего на прогалину Валяхху. Тот, ничего не слыша и держа ружье на весу, часто останавливался и наклонялся, чтобы получше разглядеть оставшиеся на траве капли волчьей крови. Неподалеку от куста они как будто пропали, и Валяхха выпрямился. Волк вжался в жухлую прошлогоднюю листву, словно хотел слиться с ней.

А охотник, опять наклоняясь и внимательно осматривая чуть ли не каждую травинку, подходил все ближе и ближе.

Злоба и ненависть охватили поверженного волка, шерсть на его загривке вздыбилась, он едва сдерживал рвущееся из горла рычание. Шурсямга боялся человека и его смертоносного оружия. Но сейчас он был готов броситься на охотника, чтобы убить его или самому погибнуть в борьбе, как повелевал закон леса.

И в этот самый миг, когда он уже изготовился к последнему прыжку, невдалеке послышался громкий вой Саркки.

— Ага-а-а... Вот вы куда улизнули! — пробормотал Валяхха, прислушиваясь к волчьему вою. — Ладно, сейчас я к вам пожалую... — Он повернулся и крадущимся, неслышным шагом направился на голос Саркки.

Шурсямга облегченно расслабил напряженные мускулы и в изнеможении закрыл глаза. Казалось, неминуемая смерть и теперь обошла его стороной.

Призывный вой Саркки раздавался то справа, то слева от охотника. Временами он как бы приближался к человеку, то снова удалялся. А когда Валяхха окончательно запутался в непролазных дебрях и не мог уже определить, в какой стороне находится та прогалина, где он в последний раз видел капли крови, голос Саркки вовсе пропал за дальними холмами.

Валяххе не оставалось ничего иного, как опять возвращаться в деревню с пустыми руками.

А волк до глубокой ночи не решался выбраться из своего укрытия. Шурсямга зализывал рану, чутко прислушивался к шорохам, ловил ноздрями переменчивые ночные ветерки. Но запахи и звуки уже не таили в себе опасности. Тогда волк покинул ореховый куст и, припадая на раненую ногу, медленно заковылял к логову.

У входа его встретила радостная Саркка. Пока Шурсямга отлеживался в орешнике, она успела не только одурачить Валяхху, но и притащить из деревни поросенка, остатками которого теперь щедро поделилась с раненым главой семейства...

Больше недели не вылезал Шурсямга из логова. За эти дни он еще сильнее привязался к своему сыну. И когда лапа Шурсямги почти зажила, ему не особенно хотелось покидать укромное свое жилище. Но делать было нечего — ведь заботы о пропитании семьи опять возлагались на его плечи. Вскоре Шурсямга даже попробовал поохотиться без помощи Саркки. Однако, не надеясь покуда еще мериться силами с какой-нибудь лесной дичью, волк потрусил к человеческому жилью.

Шурсямга и духом не ведал, что тем самым выставит охотника Валяхху на посмешище всей деревне.

14

В хозяйстве у Валяххи были корова и телка. Вдвоем с женой охотник помаленьку обиходил скотину. Они попивали свежее молоко, сбивали домашнее масло. Никакой нужды не водилось в доме Валяххи. Но его жена ни с того ни с сего вдруг обзавелась еще и козой...

Случилось так, что жена Валяххи однажды вечером забыла запереть дверь в хлеву. А когда вернулся домой муж и они спокойно улеглись спать в избе, козе приспичило прогуляться по двору. Откуда же ей было знать о том, что ослабевший от раны Шурсямга наведается нынешней ночью в деревню?

Волк, разумеется, тоже не предполагал, что разгуливающая при лунном свете по двору коза принадлежит знаменитому на всю округу охотнику, ружье которого причинило недавно Шурсямге столько страданий...

В надежде на легкую добычу волк перемахнул через низкий заборчик огорода, проскользнул в открытую дворовую

калитку, но коза бесстрашно встретила хищника рогами. Коровы и телка тоже тревожно замычали в хлеву. И Шурсямга, успев только несильно цапнуть козу за бок, предпочел убраться подобру-поздорову.

Выйдя утром во двор, Валяхха глазам своим не поверил. Уж он-то никак не думал, что волк осмелится забраться летом к нему во двор. Но порванный бок козы и волчьи следы на огородных грядках не оставляли в этом ни малейшего сомнения. По следам охотник быстро определил, что в гостях у него побывал все тот же распроклятый Шурсямга.

— Ну, стой! Я тебя проучу! — с досадой ворчал Валяхха, проходя огородными межрядьями. — Отобью у тебя охотку по дворам шарить... Вовек не забудешь!..

Хотя к вполне объяснимой досаде охотника сейчас примешивалось и другое чувство. Ведь поди ж ты, он, Валяхха, ранил этого волка зимой, едва не прикончил недели три назад возле перелеска Када, а серый разбойник все не унимается. Должно быть, выводок у него подрастает и семейку-то свою волчью кормить надо...

— Ты чего там бормочешь, старый? — окликнула Валяхху жена. — Дожила я с тобой! Над таким охотником, как ты, уже и волки потешаются. Последнюю козу со двора тащут!..

— А ты не шуми на всю улицу, — примирительно сказал Валяхха. — Чего кричать-то? Не уташили твою козу, не беспокойся. Теперь она и мне пригодится...

В голове у Валяххи постепенно созрел хитроумный план, как половчее и без особых хлопот добыть ему этого злополучного волка. Промыв рану козы карболкой, помазав ее йодом, Валяхха вбил посередке огорода кол и под вечер надежно привязал к нему козу.

— Пускай она одну ночку на воздухе постоит, — сказал жене Валяхха. — Ничего с ней не случится.

— Господи, да никак, он совсем у меня с ума спятил! — запричитала жена, всплескивая руками. — Решил все-таки скормить мою козочку волку!..

— Будет тебе болтать! — строго прикрикнул на жену Валяхха. — Не зря говорят, что у бабы волос долог, да ум короток. Сказано тебе — ничего с ней не случится, значит, цела останется...

В сумерках Валяхха прихватил из избы армяк, снял со сте-

ны ружье и взобрался на сеновал. Отодрав две-три плахи, охотник проделал в стене сеновала подходящее отверстие, проверил, хорошо ли видна из него привязанная в огороде коза, удобно ли прикладываться к ружью, расстелил армяк и прилег на него.

С наступлением ночи коза забеспокоилась. Ее дребезжащее бляение безмолжно доносилось с огорода, и это подбадривало Валяхху.

— Покричи там немножко, покричи, — тихонько бурчал себе под нос охотник. — Скорее волка приманишь. Уж отсюда-то я его, голубчика, достану...

Валяхха не отводил глаз от привязанной в огороде козы, внимательно оглядывал чернеющую на грядках ботву, чтобы не пропустить ни единого движения и не прозевать подкрадывающегося волка, но ничего подозрительного не замечал.

А небо тем временем начали заволакивать как бы поднимающиеся из-за околицы облака, ночной мрак сгустился, и Валяхха стал не на шутку побаиваться, что в такой темнотище и руки своей не разглядишь, а не то что подбирающегося к приманке волка. Однако вскоре взошла луна, облака поредели, и стало светлее...

Коротать на армяке медленно тянущиеся минуты оказалось куда томительнее, чем предполагал Валяхха. Охотника начало клонить в сон, но едва лишь он справился с дремой, как ему неудержимо захотелось курить. «Дак ведь придет он за козой или нет — черт его знает, этого волка, — раздумывал Валяхха. — А я всего один разок-то и затынусь... Армяком прикроюсь... Авось волчина дыма не почует...» Охотник вынул трубку, набил ее табаком, осторожно похлопал себя по карманам, однако спичек не обнаружил. Посасывая негорящую трубку, Валяхха решил перетерпеть до появления волка. «Вот ухлопаю его, тогда и покурю», — успокаивал он себя. Но чем дольше он думал о том, как закурит после удачного выстрела, тем сильнее становилось желание закурить немедленно. «Хотя погоди, а как ты потом закуришь без спичек? — спохватился охотник. — Все равно бежать за ними в избу... Давай-ка я лучше сразу за ними сбегая, пока волка нет... А потом уж и закурю...»

Но прежде чем спуститься с сеновала, Валяхха еще и еще раз самым тщательным образом оглядел огород — все было спокойно.

Для того чтобы сбежать в избу, нашарить на шестке коробок спичек, опять взобраться по крутой лестнице на сеновал и бесшумно подступить к проделанному в стене отверстию, Валяххе понадобилось, наверное, не больше минуты. И если бы существовал подобный вид спорта, а все перемещения охотника контролировались бы спортивными судьями, то Валяхха, несомненно, побил бы мировой рекорд.

«Что-то приумолкла моя коза-дереза, — подумал он, прислушиваясь к гулкому стуку собственного сердца. — Как бы беды не было...» Немножко отдышавшись, Валяхха выглянул в отверстие и чуть не выронил ружье. Между черными грядками отчетливо белел обрывок веревки...

Видимо, Шурсямга тоже терпеливо караулил свой миг и оказался проворнее охотника...

15

Возможно, волк даже и близко не подошел бы к этой несчастной козе, если бы знал заранее, сколько проклятий призовет на его голову вновь оплошавший охотник. Но Шурсямга не был провидцем, а всего лишь волком, который твердо усвоил, что однажды упущенную добычу следует попытаться взять еще раз — и он ее взял.

— Нет, старая, теперь я сам стину в лесу, но весь волчий род изведу под корень! — немного успокоившись, посулил жене Валяхха и потише добавил: — Только ты уж соседям-то о козе не говори... Скажи, мол, просто подохла — и все... Не то позора не оберешься. Проходу мне не будет...

— Да разве шила в мешке утаишь? — засомневалась жена. — От людей-то, поди, ничего не укроется...

— Э-э, да что тут с тобой толковать? — Валяхха сокрушенно махнул рукой. — Известно — бабий язык, как плохая мельница-ветряк. Ветра нету, а он все мелет. Я этого волка из-под земли достану. Нынче же утром за ним пойду. В Када у него, наверное, логово устроено. Жаль, что я раньше об этом не подумал. Ну ничего! Покуда не разышу — не вернусь... Ты только язычок-то свой малость попрिдержи. Не болтай им зря по деревне...

— Ладно уж, ладно... Ступай... Может, хоть какие ни есть косточки от нашей козы соберешь, — не удержалась от ехидного напутствия жена.

Однако расстроенный Валяхха промолчал. Да и нечего было ему сказать-то в свое оправдание.

На охоту он отправился ни свет ни заря. Увязал котомку, перекинул за спину ружье и вышел к околице огородами, чтобы не повстречать ненароком въедливую соседку либо кого-нибудь из односельчан. Не то обязательно прилипнут с разговорами, и тогда своего позора от них не спрячешь...

Пожалуй, никогда еще не выматывался так Валяхха. Но все-таки ему повезло. Во-первых, он нашел волчье логово, а во-вторых — вернулся домой лишь поздней ночью. В противном случае ближние и дальние соседи окончательно замучили бы его своими притворными ахами да охами по поводу козы, которую волк так нахально уташил из-под самого носа лучшего в округе охотника.

Никому не ведомо, какими судьбами, но весть об этом происшествии в тот же день разнеслась по всей деревне. Быть может, пронирливая соседка подслушала, как ночью препирался Валяхха со своей женой во дворе? Кто знает...

Но как бы там ни было, а с утра и до вечера к избе охотника беспрерывно навевывались люди. Приходили они вроде бы для того, чтобы выразить Валяххе сочувствие, а на самом деле поглазеть на него да посмеяться над очередной Валяххиной промашкой. Однако, видя в окошке только пригорюнившуюся хозяйку, молча уходили восвояси.

Теперь же Валяхху больше не заботили возможные насмешки односельчан. За плечами у него сидел в котомке живехонький волчонок.

— Вот, гляди, — самодовольно сказал жене Валяхха, доставая волчонок из котомки и держа его на весу, ухватив двумя пальцами за загривок. — Этот зверь дороже любой козы стоит! Можешь считать, что волчьи шкуры у нас уже на заборе висят.

— Как бы не пришлось тебе шкуру нашей коровы туда повесить. Да и телочки заодно, — равнодушно взглянув на волчонок, уколола охотника жена.

— Опять ты, старая, за свое принялась! — возмутился Валяхха. — Ни черта ведь не знаешь, а туда же... Они за своим волчонок хоть на край света побегут. Неужто ты даже этого не понимаешь?

— Зато ты у меня, видать, слишком много знаешь да понимаешь! — обиделась жена. — Оттого, должно быть, и смеются над тобою в деревне...

Впрочем, Валяхха не расслышал последнего замечания жены, потому что был уже за порогом. Не теряя времени, он пошел ставить свои капканы. Скулящего волчонка Валяхха оставил пока в избе. И тот, пустив на пол лужу, не мешкая забился под печь.

А обращаться с волчьими капканами охотнику было не впервой. Он заранее выдержал капканы вкупе с цепочками в крепком можжевелевом настое, чтобы отбить запах железа. И сейчас быстро расставил их в подходящих местах, притрусив землей и прикрепив прочными цепочками к глубоко вкопанным тяжелым колодам.

— Давай-ка сюда нашего зверя! Куда он тут у тебя спрятался? — спросил жену Валяхха, возвратясь в избу. — Привяжу я его в огороде, там, где коза наша стояла... Или нет — лучше во дворе... Все равно родители за ним через огород побегут да и окажутся в моих капканах...

Он извлек волчонка из-под печи и направился во двор. Там Валяхха привязал волчонка возле сарая, запер внутреннюю дворовую калитку, затем постоял немного на крыльце, покурил на свежем воздухе всласть и только тогда вернулся в горницу и спокойно улегся спать.

16

За день Валяхха прочесал перелесок Када вдоль и поперек. Но на вывороченный ветром вяз охотник набрел лишь к вечеру, когда волков поблизости от логова не было. Иначе, пожалуй, волчьей паре довелось бы совсем худо. А так они потеряли своего волчонка, однако сами остались целыми и невредимыми.

Хотя рассуждать подобным образом свойственно, конечно, скорее человеку, да и то далеко не всякому. Отчаянию же осиротевших волков не было предела.

В тот день Шурсямга и Саркка очень рано ушли на охоту, долго рыскали в ивняках у реки Хырла, потом обшарили окрестные опушки и кустарники, но никакой живности поймать им не удалось. По пути к птицеферме волки свернули к логову и еще издали почуяли запах человека. Саркка первой

сунулась внутрь развороченной норы и, не найдя в ней волчонка, тоскливо завыла. Ей не понадобилось много времени, чтобы понять, кто и каким образом похитил ее сына. Волчица была готова немедленно поспешить к нему на выручку.

Шурсямга тоже обнаружил следы человека, который унес их волчонка, но бросаться в погоню очертя голову, по мнению волка, не годилось. Запах следов уже остыл, а сумерки еще недостаточно сгустились. Появляться же в деревне засветло волк не решался. Поэтому Шурсямга попытался ободрить и удержать Саркку. Он положил ей голову на спину, но волчица, которой всегда нравилась подобная ласка Шурсямги, внезапно огрызнулась и больно укусила его в шею. Волк растерянно отпрянул в сторону, а Саркка пустилась к ложбине, что вела к деревенской околице.

Шурсямге не оставалось ничего другого, как последовать за Сарккой...

Правда, волки все же не покидали ложбину до ночи, а затем, прячась в кустах и огородной ботве, прокрались к подворью охотника.

Покуда Валяхха возился в огороде со своими капканами, звери неслышными тенями сновали вдоль низкого забора. Но едва лишь охотник привязал волчонка к вбитому возле сарая колышку и, покурив на крыльце, ушел в избу, Саркка ринулась к сыну, не разбирая дороги.

Нетерпеливость и неосмотрительность волчицы оказались для нее роковыми. И уже через несколько шагов тугие железные челюсти капкана с лязгом сомкнулись на ее передней лапе...

На рассвете заспанный Валяхха, позевывая и протирая глаза, вышел на крыльцо. Он подозрительно оглядел двор — волчонок, свернувшись клубком, лежал у сарая. Тогда охотник вразвалку направился к огороду — и невольно разинул от удивления рот. На грядках сидели рядышком два волка. Заметив Валяхху, они одновременно вскочили, оскалились и с глухим рычанием вздыбили шерсть.

— Ружье давай, старая! Ружье-е-е! — засипел Валяхха, напроць позабыв о том, что жена еще и не думала вставать.

Пятясь и не спуская глаз с неподвижных волков, Валяхха отступил к крыльцу, на цыпочках взбежал по ступенькам,

бросился в горницу и сорвал со стены двустволку. Трясушимися руками заталкивая на ходу патроны в казенник, он опять выбежал во двор.

Оба волка разом кинулись прочь, но один из них тут же упал и задергал лапой, которую защебил привязанный к цепи капкан.

— Ага, попалась! — торжествующе воскликнул Валяхха, разобрав, что в капкане волчица.

Однако в душе охотника все же шевельнулось сожаление — ведь Шурсямге вновь удалось улизнуть. Валяхха мельком заметил, как закачалась листва на черемуховых кустах на соседском огороде, и догадался, что волк покуда еще не убежал далеко, а затаился где-нибудь.

А Шурсямга и в самом деле остановился неподалеку, злобно глядя сквозь ветки на идущего к Саркке человека, медленно поднимающего ружье. До самого рассвета волк старался вызволить оплошавшую подругу. Он вырыл капкан, яростно грыз цепь, но одолеть железо не сумел. И вот теперь наступали последние минуты в жизни Саркки.

Шурсямга понимал ее беспомощность перед человеком, который сжимал в руках ружье. Волк всем существом своим хотел помочь ей, но даже любовь не смогла подавить в нем страха смерти.

И Саркка уже знала, что к ней приближается неотвратимая смерть. Однако волчица не собиралась отдавать свою жизнь без борьбы. Щелкая зубами и грозно рыча, она прыгнула вперед, чтобы вцепиться в горло человека, но цепь рванула ее обратно и опрокинула на спину. Саркка мгновенно вскочила на ноги...

И тут в утренней тишине грохнул выстрел.

Рассчитавшись с волчицей, Валяхха на всякий случай прошел в конец огорода, переступил через заборчик на участок соседки. Но Шурсямга не стал больше испытывать судьбу. Одним прыжком он преодолел открытое пространство, что отделяло его от поросшей низкими елочками поскотины, и помчался к ложбине.

Без особой надежды на удачу Валяхха выпалил волку вдогон и повернул к убитой волчице.

— Ничего, побегай еще маленько, — бормотал на ходу охотник, обращаясь к исчезнувшему Шурсямге. — Все равно

далеко не убежишь. Семейство твое у меня, значит, скоро ты опять заявишься.

Подхватив мертвую волчицу за ноги, Валяхха приволок ее во двор и бросил около сарая.

Увидев мать, волчонок радостно запищал, сунулся к ее брюху, разыскал сосок и жадно припал к нему. Но ни единой капли молока не вытекло из холодного материнского соска. Это огорчило волчонка. Он требовательно тыкал мордочкой в ее обмякший живот, пробовал даже укусить неподвижно лежащую мать, но все его старания были напрасны. Тогда волчонок сел на задние лапы и жалобно заскулил...

И хотя крепко досадили эти проклятые волки охотнику Валяххе, однако и его чуть слеза не прошибла. Будто оборвалось у него что-то внутри, когда глянул он на скулящего подле убитой матери волчонка...

Он даже не заметил, что на крыльцо вышла жена.

— Э-э, дак с полем тебя, старый! — поздравила она мужа. — Хоть от одного разбойника наконец-то избавились. Ты чего ж не радый?.. Это волчица что ли?..

Валяхха молча кивнул, хмуро посмотрел на жену и сказал с запинкой:

— Ты вот чего, старая... Осиротили мы его, значит... Зверя-то нашего... А голодом его морить не годится... Ты ему молока налей.

— Да налью, налью, — с пониманием откликнулась жена. — Ты не переживай...

Валяхха ничего не ответил жене, а ушел в огород и долго ковырялся там, переставляя капканы.

В этот день люди снова зачистили в избе Валяххи, все поздравляли его, хвалили сноровку и наказывали поскорее изловить и волка. Но Валяхху не радовало восстановление его охотничьего авторитета, внимание соседей тяготило, а на волчонка он и вовсе не мог смотреть — кошки скребли на душе охотника Валяххи.

Дня два Валяхха исправно переставлял пустые капканы. Первые легкие утренники уже трогали инеем все еще зеленую траву в низинах, на березах за околицей будто кто-то желтые лоскутки развесил, а в осинниках появились на ветках ярко-красные пятки.

Поеживаясь от холода, Валяхха разглядывал в огороде волчьи следы и удивлялся хитрости и чутью Шурсямги. Волк неизменно обнаруживал замаскированный капкан и обходил его стороной. Однако эти же капканы мешали Шурсямге подобраться к сараю, возле которого каждую ночь охотник привязывал волчонка.

На третье утро Валяхху разбудило недоброе предчувствие. Он набросил на плечи стеганый ватник и поспешил на улицу. Во дворе у сарая лежал на земле обрывок веревки, а волчонка не было. «Ну что ж, значит, родитель его увел, — не испытывая ни разочарования, ни злости, подумал Валяхха.— Интересно, а как он все-таки капканы-то миновал?»

В огороде, на припорошенных инеем грядках, волчьих следов не оказалось. Охотник вышел за ворота и тут увидел в улежавшейся за ночь пыли свежие отпечатки лап Шурсямги. Отчаявшись, наверное, преодолеть капкановые заграждения, волк зашел с улицы, перепрыгнул через забор и спокойно утащил своего волчонка...

Валяхха присел во дворе на толстое бревно, которое припас для того, чтобы распилить на доски и подлатать ими стену сарая, закурил трубку и начал припоминать, сколько раз так или иначе пересекались жизненные пути его, Валяххи, и этого неуловимого волка. Выходило, что уже больше чем достаточно. Но если раньше при мыслях о Шурсямге охотник чаще всего ощущал только досаду и злость, то сейчас он думал об этом хищнике без какого-либо раздражения, а с возникавшим уже у него однажды сочувствием и даже жалостью. Не было у охотника больше желания гоняться за несчастным зверем, но Валяхха понимал, что оставить волка в покое ему тоже не удастся. Сам не захочет, так односельчане заставят. Та же соседка, въедливая, у которой волк овцу резал, житья не даст...

— А что, пойду-ка я в Шемуршу, — вспомнив о соседке, вслух проговорил Валяхха, выколачивая о бревно докуренную трубку. — Там у Палюша есть пара хороших лаек. Они волка не упустят. А может, и сам Палюш согласится поохотиться вместе со мной?.. Глядишь, Палюшу-то и посчастливится.

После обеда Валяхха отправился в соседнюю деревню, чтобы договориться с Палюшем насчет собак и о сроке совместной охоты.

Благополучно уташив со двора охотника своего волчонка, Шурсямга понес его в перелесок Када, к старому логову. Волку почему-то казалось, что там их встретит Саркка, как бывало не раз, когда он возвращался с охоты. Но у поваленного вяза никто не встретил Шурсямгу и его маленького сына. В развороченной норе до сих пор еще сохранялся запах человека, и это заставило волка ощетиниться и глухо зарычать.

А обрадованный волчонок, которого отец бережно опустил на землю, тотчас скатился в знакомую нору и улегся там в самой ее глубине.

Шурсямга порыскал вокруг логова, обнюхивая старые следы волчицы, потом уселся на задние лапы, поднял морду к небу и протяжно завыл.

— У-у-уа-а-у!.. — тоскливо понеслось над вершинами на-супленных деревьев.

Волк прислушался, не долетит ли к нему откуда-нибудь ответный вой, но никто не отозвался на горестный призыв Шурсямги. Тогда он заполз в нору, осторожно ухватил зубами волчонка за загривок и вытащил из логова. Дольше оставаться в потревоженном человеком жилище было нельзя.

Утренняя заря застала Шурсямгу в непролазной чащобе, далеко от перелеска Када, проселочных дорог и лесных деревушек. Голодный волчонок пищал, дрыгал в воздухе лапами, норовя вырваться из пасти отца. Однако волк не обращал на него внимания и уходил все дальше и дальше в недоступные дебри.

Наконец Шурсямга почувствовал, что надо передохнуть и накормить сына. На краю сухого оврага рос густой орешник, и волк направился туда. Положив волчонка под куст лещины, Шурсямга принялся к легкому ветерку и внимательно огляделся...

Волчонок поднялся на нетвердые ноги и вопросительно посмотрел на отца, как бы спрашивая, долго ли они еще будут куда-то бежать. Шурсямга ласково лизнул своего несмышленого сына, затолкал поглубже под ореховый куст, а сам потрусил по склону оврага. Волчонок хотел кинуться за отцом, выкарабкался из-под куста, но Шурсямга оглянулся и, заворчав, показал сыну клыки. Ворчание его означало:

«Если ты сейчас же не спрячешься, то получишь основательную трепку!» — и волчонок это прекрасно понял. Он проворно юркнул под куст.

Прокормиться в богатом осеннем лесу хорошему охотнику не составляет большого труда. Вскоре Шурсямга подкараулил зазевавшуюся на брусничнике глухарку-копылуху и перекусил ей крыло. Волк притащил раненую птицу к ореховому кусту и положил ее в сторонке. Волоча крыло по земле, глухарка попыталась спастись бегством, но из куста на нее бросился волчонок и, свирепо рыча, схватил за горло, как бы не чувствуя ударов твердого птичьего крыла и царапающих когтистых лап...

Шурсямга одобрительно смотрел на отчаянно борющегося с глухаркой волчонка, но не сделал ни единого движения, чтобы помочь сыну. А когда птица затихла, они быстро разорвали ее и съели.

После еды волчонок улегся под кустом, ожидая, когда же отец понесет его дальше. Но Шурсямга, очевидно, решил, что малышу пора уже становиться на собственные ноги. Подтолкнув несколько раз капризничающего сына, Шурсямга слегка куснул его, и волчонок мгновенно оказался на ногах.

Инстинкт подсказывал Шурсямге, что останавливаться еще рано. Надо уйти как можно дальше от тех мест, где обитает человек, застреливший Саркку. И Шурсямга снова повел своего сына по лесным буеракам и чащам.

У подножия невысокого лесистого холма, поросшего малиной и шиповником, Шурсямга заметил барсучью нору. Волк осторожно приблизился к темному отверстию, тщательно принюхался, внимательно обследовал все вокруг и понял, что хозяин давно покинул свое жилище. Тогда Шурсямга взял волчонка за загривок, и вскоре они уже спали в просторной и теплой норе.

Волчонок не знал, сколько времени они провели на новом месте. С наступлением сумерек отец уходил на охоту, днем они спали, а над входом в нору, укрывая их и храня, все шумел и шумел прозрачный осенний лес.

Дикий зверь всегда помнит о возможной опасности, и поэтому даже сон не притупляет у него обоняния и слуха. Шурсямга часто приоткрывал глаза, поводил носом, наострив

уши, прислушивался к доносящимся в логово звукам и опять укладывал голову на лапы. После гибели Саркки волк устроил свою осторожность — вся ответственность за жизнь волчонка легла теперь только на него одного. И, наверное, трудно было бы найти другого зверя, который столь же ревностно исполнял бы свой родительский долг. Ведь не зря же в чувашских деревнях говорят о заботливых отцах, что они пестуют своих детей, словно волки волчат...

Вокруг все было так, как тому и положено быть в не потревоженном человеком осеннем лесу.

Покой и радость наполняли Шурсямгу, когда он взглядывал на безмятежно спящего сына. И, переполненный этой радостью, волк нежно прикоснулся своей мордой к теплому боку волчонка...

Уши Шурсямги еще оставались неподвижными, когда его сердце внезапно сжалось от страха. Ему показалось, что где-то далеко-далеко прозвучал лай собак. Волк вылез из норы, повернул нос против ветра и насторожил уши. Теперь у Шурсямги уже не оставалось сомнений — за дальними холмами и перелесками, то усиливаясь, то затихая, раздавался злобный собачий лай.

При иных обстоятельствах волка не слишком бы обеспокоил невесть где раздающийся собачий брех. Но сейчас Шурсямга понимал, что его сыну может грозить опасность, а поэтому волк решил принять все мыслимые меры предосторожности.

Проснувшийся волчонок подумал, что отец опять отправляется на поиски нового места. И хотя у малыша не было никакого желания покидать барсучью нору, он все же выбрался наружу, готовясь следовать за отцом. Шурсямга немедленно затолкал его внутрь норы и на всякий случай показал ему острые клыки.

«Не вздумай высовывать нос из логова, затаись и сиди смирно! Я скоро вернусь!» — услышал волчонок в сердитом рычании озабоченного отца.

Разумеется, волчонок не посмел послушаться родителя, а свернулся клубком на самом дне логова и затих...

А Шурсямга, постояв у входа в нору, приняхавшись и послушав незатихающий злобный лай, тронулся навстречу собакам...

По захлебывающимся собачьим голосам Шурсямга понял, что они напали на его старый след и теперь идут к этой самой барсучьей норе, в которой волк оставил своего сына.

Это, казалось бы, упрощало задачу Шурсямги — перехватить собак и доказать им, что здешние дремучие дебри принадлежат ему. Тут его дом, и он в нем хозяин. Но прежде надо было выяснить, не идет ли за этими слишком самоуверенными псами человек со смертоносной железной палкой. И потому Шурсямга, сделав круг, пропустил собак мимо себя. Псов было двое, и они, ничего не замечая вокруг, неслись вперед по волчьему следу. Обе собаки были, пожалуй, немногим помельче самого Шурсямги, и волк сознавал, что ему придется драться с ними не на жизнь, а на смерть. Однако это не пугало Шурсямгу, и он был уверен, что сумеет защитить своего беспомощного сына, если, конечно, за собаками не идет человек. И тут в ноздри волку ударил запах пороха и человека. Шурсямга замер, укрывшись за можжевельным кустом, глядя, как на поляну осторожно выходит ненавистный человек. В руках он держал ружье...

Не теряя больше ни минуты, Шурсямга рванулся наперерез собакам. Ну что ж, значит, схватку с ними придется пока отложить. Самое главное сейчас — увести собак подальше от норы, от спокойно спящего в ней сына. Пока они не добрались до логова, их надо остановить. А там — посмотрим...

Выскочив на открытый со всех сторон бугорок, Шурсямга прислушался к совсем недалекому уже лаю и, задрав морду, протяжно завыл:

— У-у-у-о-о-у-у!..

И если собаки восприняли этот вой как грозный боевой клич и приглашение помериться силами в кровавой схватке, то пробудившийся от близкого их лая испуганный волчонок услышал в голосе отца совсем другое. «Что бы ни случилось со мной, сынок, лежи тихо, не выходи из норы!» — снова предупреждал его отец.

Собаки разом круто взяли влево, и уже через несколько прыжков они заметили неподвижно стоящего на открытом бугорке волка.

При виде разъяренных своих врагов Шурсямга и сам едва подавил охватившую его ненависть. Дикая злоба на миг затуманила его сознание. Волку захотелось броситься на них, но

он вовремя вспомнил о неумолимо приближающемся человеке со смертоносной палкой и кинулся в противоположную от логова сторону, к далеким прибрежным ивнякам, чтобы, окончательно отвратив опасность от сына, переплыть через реку Хырла и уйти в тамошние глухие леса, где его уже не настигнут ни собаки, ни человек...

Если бы Шурсямга мог предположить, что охотников окажется двое, то он, конечно, повел бы себя иначе. Волк вдоволь попетлял бы по здешним дебрям, постарался бы отвести собак подальше от людей, разделался бы с глупыми псами на какой-нибудь укромной полянке, а затем ушел бы в недоступную глубь леса. Но Шурсямге было неизвестно, что накануне Валяхха договорился с Палюшем устроить засаду на берегу реки Хырла. А ведь именно туда спешил волк. И как раз там, укрывшись в зарослях ивняка напротив устья глубокого лесного оврага, поджидал сейчас бегущего от преследователей волка охотник Палюш из деревни Шемурши.

Торопившийся за собаками Валяхха был только загонщиком. Его обязанности заключались нынче лишь в том, чтобы направить волка в овраг и гнать к реке.

До сих пор все шло так, как задумали люди.

А на западе, куда бежал теперь уверенный в собственных силах и в своей хитрости Шурсямга, уже зажглась и тускло мерцала первая вечерняя звезда...

Однако едва различимая эта звездочка вдруг ярко вспыхнула и, стремительно прочертив по небосклону, канула в неугасших солнечных лучах.

Без нее в небе стало пустынно и сиротливо...

Так не звезда ли уходящего от погони овдовевшего волка Шурсямги, который видел смерть волчицы и сейчас был готов ради спасения сына пожертвовать собой, закатилась только что над вечерним лесом? Всего лишь маленькая, тусклая звездочка...

Нет, пускай живет волчонок, пускай не скудеют леса и продолжается звериный род на земле.

Слышишь, Шурсямга? Не надейся на свою хитрость, покидай, пока не поздно, овраг. У тебя достаточно сил, рванись вверх по его крутому склону — и ты будешь спасен!..

Река Хырла хотя и не особенно широка, но достаточно полноводна. Вьется она лесной стороной, то выглядывая из-за щетины елок, то теряясь в непролазных зарослях черемухи и смятого половодьем ивняка.

Палюш устроился в густом ивняке, напротив выхода из оврага, и внимательно прислушивался к неумолчному лаю собак. Судя по всему, они шли по горячему следу, и волк должен был показаться на узкой прогалине, что отделяла овражное устье от прибрежных зарослей, с минуты на минуту.

Все ближе и ближе собачий лай...

Охотник ждал волка, готовился к выстрелу, но все же он слегка растерялся, когда зверь выскочил из оврага и понесся прямо на него.

Шурсямга летел громадными прыжками, очевидно надеясь с ходу проскочить прибрежные ивняки, переплыть реку и тем самым сбить собак со следа.

Он не услышал выстрела. Из кустов навстречу Шурсямге блеснул огонь, острая боль опалила грудь, и волк без звука перекувыркнулся через голову...

Да, въедливая соседка Валяххи была права: охотник Палюш из Шемурши оказался действительно хорошим стрелком.

— Гото-о-о-ов!.. — по-мальчишески тонким голосом пронзительно закричал он, опуская ружье и выскакивая из засады. — Гото-о-о-ов!..

Но Шурсямга был еще жив.

Он даже услышал голос человека. И этот торжествующий, радостный крик вдруг как бы унял нестерпимую боль, что сковала волка. Какое-то вечно теплившееся в нем, глубоко запрятанное в волчьем сердце и не подвластное ни человеку, ни зверю чувство внезапно охватило его.

Так ведь это же мальчик!.. Да-да, тот самый, добрый маленький человек, который приютил его в детстве, теперь звонким своим голосом позвал погибающего Шурсямгу. С поразившей его самой ясностью волк увидел своего давным-давно пропавшего друга. Как хорошо с ним играть, возиться на полу в избе, прыгать к нему на мягкую постель!.. Но почему же мальчик опять покидает его?.. Куда же ты, мальчик?.. Не уходи, постой!..

Волку захотелось побежать за мальчиком, но тот исчез. И вместо него перед распростертым Шурсямгой появился охотник со своим пахнувшим смертью ружьем.

И тогда овладевшая волком нежность сменилась такой неистойвой, такой мрачной злобой, которая едва не подняла его на ноги для последней в своей жизни битвы. Шурсямге показалось, что он шелкнул зубами, грозно зарычал, но из его горла вырвался лишь слабый хрип...

Удивленный необычной живучестью волка, Палюш невольно подался назад, отступил в сторону.

И тут Шурсямга, собрав остатки сил, приподнял голову. Он увидел заросли ивняка, поблескивающую сквозь них реку, далекий спасительный лес... Однако не отрезанный человеком путь к спасению хотелось увидеть сейчас Шурсямге. Он жаждал увидеть своего сына. И если бы всемогущая природа даровала бы в этот миг волку человеческую речь, то в предсмертном его хрипе охотник Палюш уловил бы последние напутствия, которые давал Шурсямга своему несмышленому сыну: «Не бойся, сынок! Я далеко увел собак, и они тебя не найдут!.. Но все же спрячься получше, потому что ты теперь остаешься один... Я сделал для тебя все, что мог... Слышишь меня?.. Пусть будет счастливой и несгораемой твоя звезда!..»

На узкую прогалину выкатились ослепленные азартом погони собаки. Не обращая внимания на стоявшего рядом охотника, они бросились к поверженному волку.

Голова Шурсямги тяжело легла на лапы...

А Валяхха в это время сидел в лесу на пне и пытался закурить трубку. Он слышал выстрел, слышал пронзительный крик Палюша и торжествующий лай собак. Валяхха знал, что его враг Шурсямга мертв. Он прислушивался к равнодушному шуму леса у себя над головой и все сыпал и сыпал табак из горсти мимо своей, чуть подрагивающей в руке, трубки.

Над лесом взошла луна. Но она еще не была золотой, не сияла в полную силу отраженным от солнца светом. Пепельный лик ее был бледен и тускл. А выплывшее вдруг из-за деревьев длинное облачко, словно волчьим пушистым хвостом, прикрыло половину лунного лика, устремив свой загнутый кверху край к далеким звездам.



ГЕННАДИЙ АЙГИ

(1934—2006)

Народный поэт Чувашии Геннадий Николаевич Айги (Лисин) родился 21 августа 1934 года в д. Шаймурзино Батыревского района Чувашской Республики.

После окончания Батыревского педучилища в 1953 году он поступил в Литературный институт в Москве. Более десяти лет Г. Айги работал в Государственном музее В. В. Маяковского, где занимался исследованием творчества этого русского поэта.

Первые книги Айги увидели свет в конце 1950-х годов на чувашском языке; на родном языке он продолжает писать до 60-х годов. Впоследствии короткий период времени он был поэтом-бilingвом, а в первой половине 60-х в своем творчестве полностью перешел на русский язык.

Творческая судьба Айги сложна и необычна. Долгое время на родине поэта его поэзию обходили молчанием или же упоминали о ней в негативном контексте. Однако за рубежом его произведения получили высокую оценку. В 1972 году Айги стал лауреатом Французской академии за перевод на чувашский язык антологии «Поэты Франции». За пределами страны на иностранных языках вышло около двадцати его книг; на русском языке избранная лирика поэта отдельной книгой вышла в Париже в 1982 году. Лишь в начале 90-х годов широкий круг российских читателей получил возможность познакомиться с оригинальной поэзией Айги: в 1991 и 1992 годах в Москве выходят два его объемных сборника — «Здесь» и «Теперь всегда снега».

Основой творчества Айги является родной фольклор, чувашская литературная традиция, берущая начало от творчества М. Сеспеля, русская литература и традиции французской сюрреалистической поэзии (и в первую очередь Бодлера и Элюара), которую он глубоко постиг при переводе антологии «Поэты Франции». На

пересечении этих, казалось бы, столь различных поэтических традиций родился яркий поэтический феномен Айги.

Поэзия Г. Айги имеет богатую культурную основу. В своем творчестве поэт обращается к образам поэтов Б. Пастернака и Д. Бурлюка, художников К. Малевича, В. Татлина и М. Шагала, русского философа Н. Лосского, вступает с ними в межкультурный диалог. Айги — один из немногих современных поэтов России, сознательно и последовательно развивавший в своей поэзии традиции французского сюрреализма и русского символизма.

Свободный стих ассоциативного типа, который использует Айги, отражает своеобразие и неповторимость его поэтического мышления.

Г. Айги умер 21 февраля 2006 года.

О да: Родина

была как лужайка страна
мир — как лужайка
там были березы-цветы
и сердце-дитя

а как те березы-цветы ветром этого мира сдувались
и розы-снега
окружали как ангелов-нищенок вздох
сельских безмолвных!.. — и с их Свето-Жалостью
вместе
светили

(здесь — место молчанью
такому же долгому
как их бесконечная жизнь)

мы назывались — *Сияния этого* многие
каждый скрепляя
свеченье живое
вторично в страданьи

(та же
и здесь
тишина)

и слушали-были: что чистота скажет Словом единым?
не прерываясь
лучилось:
мир-чистота.

Снег

От близкого снега
цветы на подоконнике странны.
Ты улыбнись мне хотя бы за то,
что не говорю я слова,
которые никогда не пойму.
Все, что тебе я могу говорить:
стул, снег, ресницы, лампа.
И руки мои
просты и далеки,
и оконные рамы
будто вырезаны из белой бумаги.
А там, за ними,
около фонарей,
кружится снег
с самого нашего детства.
И будет кружиться, пока на земле
тебя вспоминают и с тобой говорят.
И эти белые хлопья когда-то
увидел я наяву
и закрыл глаза, и не могу их открыть,
и кружатся белые искры,
и остановить их
я не могу.

Отъезд

Забудутся ссоры, отъезды, письма.
Мы умрем, и останется
тоска людей
по еле чувствуемому следу
какой-то волны, ушедшей
из их снов, из их слуха,
из их усталости,
по следу того, что когда-то называлось нами.
И зачем обижаться
на жизнь, на людей, на тебя, на себя.
Когда уйдем мы вместе,
одной волной,

когда не снега и не рельсы, а музыка
будет мерить пространство
между нашими могилами.

Отдых*

Мы отдохнем! Не торопи меня.
Повремени. Не спрашивай об этом.
Люблю я видеть на исходе дня,
Как белый цвет граничит с черным цветом.
Ложится снег на тайны мостовой,
На этот камень, выпуклый, как маска
С лица Бетховена...
От нас с тобой
Теперь зависит этих тайн огласка.
Смотри: дитя обертки от конфет
Все втаптывает в снежное свеченье,
Как будто клеит марки на конверт,
Имеющий огромное значенье.
И трогательный высится фонарь,
Как в давности, как в сказке Андерсена,
Как темно, и близится финал,
И все вокруг плачут, и пустеет сцена.
И слабость, и покой владеют мной,
Мне плакать хочется и не спешить с ответом.
Восходит над моею головой
Конструкция обледенелых веток.
Мы к отдыху близки, как никогда,
Но в небесах от головокруженья
Теряет равновесие звезда,
Опять внушая мне соблазн движенья.
Я говорю себе: «О, не пора ль?» —
И вот, согласно моему смятенью,
Несется современная спираль.
Закрученная этою метелью.
Проходит сквозь меня гул поездов,
Несущихся неведомо откуда,
Фонарь, ребенок, окна городов,
И все это — как ощущение чуда.

* Перевод Б. Ахмадулиной.

Ночь принимает очертанья дня,
И странно мне осознавать все это.
Мы отдохнем! Не торопи меня.
Спи, милая! Спи до рассвета.

Детство

Желтая вода
на скотном дворе —
далека, холодна, априорна,
и там, как барабанные палочки,
не знают конца
алфавиты диких детей:
о Соломинка, Щепка,
Осколок Стекла,
о Линейные Скифские Ветры,
и, словно карнавальная драка в подвалах,
Бумага, Бумага, Бумага,
о юнги соломинок,
о мокрые буквы на пальцах!
Здесь и теперь — это как бы режет,
но только меня, не вас!
Режет — через картины и платья
и через когти птиц!
Коровьи копыта — яркие, невероятны,
что-то — от въезда в бухту,
что-то — от бала,
и сразу, как стучащие рельсы,
яркие, широкие, беспощадны
обнимающие нас соучастники —
руки, сестры, шеи, мамы!
Разгуляемся снова, разгуляемся,
снова заснем и пройдем
Не вчера, не сегодня, не завтра, а-а-а-а! —
Сквозь крики детей,
через мокрые буквы,
через картины и платья
и через когти птиц!



НИКОЛАЙ ТЕВЕТКЕЛЬ

Родился в 1937 году

Николай Александрович Теветкель (Петровский) родился 11 июля 1937 года в д. Савка Ибресинского района Чувашской Республики.

Еще в начальных классах начал рисовать и писать. Много читал, стремился к познанию окружающего мира. Марк Твен был самым любимым писателем липовского школьника. Жестокий мир героев М. Горького был близок сталинской «цветущей эпохе», в которой несмотря на красивые лозунги господствовала нищета простых крестьян, именуемых «колхозниками». Школьная библиотека и клуб липовчан были богаты художественной литературой: стеллажи книжных шкафов были переполнены произведениями чувашских писателей и русских классиков. Здесь также читали зарубежную классику. Богатство духовного мира дополняла сама природа, где весной дремучие леса покрывались буйной зеленью и звенели соловьиным хором.

В 1954—1956 годах будущий писатель учился в профессиональном училище г. Мариинского Посада на столяра-краснодеревщика. Потом работал в Ибресинской мебельной фабрике.

В 1958 году Николай Теветкель начал учиться в Чебоксарском художественном училище. И так, одновременно слагая стихи, он усердно искал тайну акварельных красок. Тощий кошелек колхозного труда родителей не позволил ему закончить всю программу училища. Николай Теветкель в разное время работал столяром, плотником и художником-оформителем в производственных организациях г. Чебоксары. В 1979—1981 годах учился на Высших литературных курсах при Литературном институте им. А.М. Горького Союза писателей СССР.

Перу Н. Теветкеля принадлежат разные по жанру литературные произведения — от нежных лирических стихов, сонетов, поэм, трагедий в стихах до широкомасштабного романа в прозе.

К популярным произведениям Николая Теветкеля относятся роман «Черный браслет», поэма-легенда «Росиночка», роман в стихах «Киреметь», «Сонеты» и др.

Н. Теветкель — заслуженный деятель искусств Чувашской Республики, член Союза писателей СССР с 1976 года.

Проживает в г. Чебоксары.

Из цикла сонетов «На вечных струнах...»*

* * *

Не разберешь — в эфире ли, в камине?
Играет скрипка — стон, призыв и плач.
В душе, как вихрь, кружится Паганини,
И ночь, как черный конь, помчался вскачь.

И снова для тебя они ничтожны —
Все познанные страсти бытия.
И знаешь ты, что самосомненье ложно,
Что без людей ничто любое «я».

Течет, гремит, тоскуя и пылая,
Земная жизнь — симфония без края:
И скрипки зов, и смех, и слезы в ней.

И что сильнее: время? Паганини?
Тревожит душу вечный плач в камине,
На вечных струнах — руки наших дней.

* * *

На прошлую жизнь зачем ты киваешь?
Жизнь — грустное эхо тяжелых утрат.
А рану души не исцелить. Ты знаешь,
Прошел бурелом. Но ветры гудят.

А память — не лгунья.
Как это не странно,
Мы чистыми были как утренний снег.
Ты — мертвая маска.

* Перевод В. Захарова.

Увяла ты рано:
Кто нас воскрешает? Бальзама уж нет.

Летали мы в грезах с мечтой непорочной,
Вдруг крылья повисли.
Был сорван полет.
Любовь не бывает с пропиской бессрочной,
И хрупкое счастье разбилось как лед.

Честь тоже не скатерть. Ее нам не смыть,
Но просим у бога бесчестье забыть.

Путь*

Печален путь к закату бытия,
И песни нас не радуют в пути.
Лишь на исходе гаснущего дня
Кричу я солнцу:
— Будь со мной, свети!..

И пусть глупец сияет в тот момент,
Когда души светило закатилось, —
Но из дерьма мыслишек хилых
Я не воздвигну лживый монумент.

Ведь долг поэта — волею своей
Преодолеть ухабы и сомненья;
Вдали увидев пыль прошедших дней,
Зажечь себя огнем стихотворенья.

Но колесо судьбы сменить нельзя:
Не мы его изобрели, друзья!

Мастерство*

Сонет

Огонь отважный,
умный и безмолвный
на многое
откроет нам глаза.

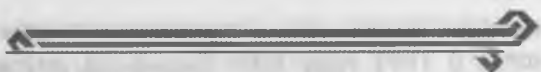
* Перевод Ю. Никонычева.

Бегут от сердца
пламенные волны,
торопит в путь
особенный азарт.

Вот — мастерство!
Воспламеняюсь от сердца
оно бежит-сияет
по строкам.
Сто раз умрет
и вновь оно воскреснет,
чтоб силу чувства
дать изведать нам.

Так не дадим
мечте своей угаснуть,
побегам мысли
не дадим увясть...
И в том, наверно,
Подлинное счастье,
Что люди обрели над словом власть.

Коль в слове дремлет
сила возрождения,
то не миновать нам
краха разрушенья.



ЕВА ЛИСИНА

Родилась в 1939 году

Ева Николаевна Лисина родилась 26 июля 1939 года в д. Именево Батыревского района Чувашской Республики. Детство ее прошло в д. Шаймурзино. Отец, Николай Андреевич, был талантливым педагогом, погиб в 1943 году. Мать Евы знала, кроме родного, русский и татарский языки.

После окончания Первомайской средней школы Е. Лисина поступает в Московскую сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева, где учится в 1956—1962 годах. Затем работает в Ботаническом саду МГУ, лаборатории бионики Первого медицинского института им. И. М. Сеченова.

Тогда же включается в литературную деятельность: выучив турецкий язык и успешно сдав экзамен, поступает на работу во Всесоюзную государственную библиотеку иностранной литературы, где проработала 20 лет старшим редактором. С книжными выставками русских советских писателей объездила много стран. Одновременно Е. Лисина преподает родную литературу чувашским студентам, обучающимся в театральном училище им. М. С. Щепкина. В эти годы она перевела на чувашский язык пьесы А. Н. Островского, Эдуардо де Филиппо, Пьетро Гариней и Сандро Джованнини, Юджина О' Нила.

В 1988 году ее приняли в члены Союза писателей СССР.

Ныне Ева Лисина — писатель-профессионал.

В 1987 году на первом Всесоюзном конкурсе на лучшую детскую книгу за повесть «Лопоухий Илюк» она удостоилась премии.

В 1991 году радиостанция «Немецкая волна» проводила конкурс рассказов и пьес среди авторов, проживающих в СССР. Рассказ Евы Лисиной «Кусок хлеба» занял там первое место. Автором на основе этого рассказа позже была написана пьеса,

которая прозвучала в эфире нескольких крупных радиостанций ФРГ. В 1992 году Е.Н. Лисина за рассказ «Летающее озеро» получила премию газеты «Литературная Россия».

Рассказы Е. Лисиной переведены на многие языки.

Проживает в г. Москве.

Кусок хлеба*

Рассказ

«Нет ничего дороже хлеба», — говорят чуваши.

Я это знаю, знаю с малых лет. Дни, когда мне удавалось поесть хлеба, остались вехами в моем детстве.

Вспоминается один из таких дней...

Вот мама будит меня на рассвете:

— Говорят, в этом году инвалидам разрешат косить жнивьё. Сама же видишь — наша Лизук совсем больная, сводила бы ты ее в больницу. Может быть, дадут ей инвалидность, тогда у нас будет сено. Ведь без коровы мы пропадем, — говорит мама. И мне сразу становится страшно. Вот сейчас она скажет: «Кроме тебя идти некому». Правда, некому. У нас больше никого нет. А маме надо идти на колхозное поле — полоть свеклу, ее участок сплошь в сорняках, наверное, и сегодня не прополет.

Моей сестре одиннадцать лет, она старше меня на два года. Раньше Лизук была совершенно нормальной, но уже год, как с ней что-то случилось: все путает, а временами вообще ничего не понимает. И в деревне теперь прозвали ее «дурочка Лизук».

— Если Лизук дадут инвалидность, у нас будут деньги, и я сошью тебе новое платье, — говорит мама, умоляюще глядя на меня. — Кроме тебя идти некому.

Очень хочется верить, что она и вправду сошьет мне новое платье, но я знаю, что ничего этого не будет, — в нашем доме слишком много дыр. А на сердце у меня так тоскливо, как будто заблудилась в темном лесу. «Боженька! Боженька! — думаю я. — Где же эта больница? Куда нам идти? И вернемся ли мы до вечера?»

* Перевод автора.

А мамин голос становится уверенней, она воодушевляется, словно хочет сообщить мне радостную весть.

— А знаешь, в районе есть столовая, сводишь Лизук в больницу, зайди туда. Там часто продают хлеб. Если не будут давать отдельно, возьми суп, а уж с супом обязательно дадут кусок хлеба.

Хлеб?! Дальняя дорога больше не пугает меня. Мамины слова проникли в самый затаенный уголок моего сердца. Иногда, во время страды, в нашем колхозе давали по целому ломтю хлеба, и я его пробовала. Но я, девятилетняя, родившаяся в год войны, не помню, чтобы моя мама когда-нибудь пекла его.

Ради хлеба я готова была пойти хоть на край света.

— А до больницы далеко? — спрашиваю я, хотя знаю, что все равно пойду.

— Восемь верст. Выйдешь из деревни, пойдешь к селу Турхан. Его мельница видна издали, на нее и держи путь, никуда не сворачивай, иди по этой дороге и попадешь в райцентр. Больница — длинный белый дом.

Обрадованная моим согласием, мама вдруг умолкает, смотрит на меня долгим взглядом, словно сомневается в чем-то. Потом вздыхает и крепко обнимает меня. Мама обнимает меня, а я чувствую себя сиротой — мне надо идти в неизвестные дальние края.

На дорогу мы с Лизук выпиваем по чашке молока. Я ошупываю тряпочку, в которую мама завернула деньги. Потом беру Лизук за руку, и мы выходим на улицу.

— Дурочка Лизук! Дурочка Лизук! — кричат дети.

Я бы погналась за ними, но сейчас надо торопиться, поэтому иду молча. Лизук, как больной ягненок, тихо плетется за мной.

— Дурочка Лизук! Дурочка Лизук!

Я хочу быстрее выйти из деревни, чтобы не слышать насмешливых криков.

Ветлы села Турхан выше и темнее наших, они словно спрашивают: «Что вы тут делаете?» Подальше бы от них, и я тяну Лизук на середину дороги. И дорога здесь другая, хотя она покрыта пылью, а идешь по ней как по острым камням. За нами несется мальчик, оседлавший палку. Мы бежим от него и, чтобы спрятаться, вбегаем в какой-то дом, дверь ко-

торого открыта настезь. Оказывается, лавка. То ли потому, что я вышла из дома голодная, сразу же замечаю большой ящик с карамелью. И Лизук его заметила. Теперь дергает меня за рукав:

— Еля, купи мне карамель, купи!

Торопливо развязываю тряпочку. Но тут меня будто что-то кольнуло: ведь я хочу купить хлеба! Узелок надо спрятать. Но Лизук, всегда тихая и покорная, вцепляется в него и, стиснув зубы, тянет к себе. Я отталкиваю ее, но она опять и опять набрасывается на меня. Продавец с удивлением смотрит на нас. Изо всех сил хватаю Лизук и выволакиваю ее на улицу.

Останавливаюсь оттого, что перехватило дыхание. Оказывается, мы бежали. По обе стороны — ровные поля. На краю дороги стоит мельница. Ее огромная тень дергается на ржаном поле. Вдалеке видно одно дерево. Оно, одиноко стоящее посреди огромного поля, почему-то кажется мне родным и близким. Смотрю на него и постепенно успокаиваюсь.

Как кипяток льются лучи света. Глаза щиплет от пота. Травы бессильно расстилаются по тропинке. Горяча не только пыль, даже листья обдают жаром. Лизук дышит тяжело, через каждые десять-пятнадцать шагов умоляет посидеть. Но если сейчас посидеть, потом вставать будет тяжело — она этого не понимает. Дорога бесконечна.

И вдруг мы с сестрой радостно вскрикиваем: нас догоняет воз, груженный всяким старьем. Это — знакомый старьевщик, он разъезжает по всем деревням, бывает и у нас. Старьевщик останавливает лошадь, мы рассаживаемся среди мешков тряпья и грязных шкур.

— Вы из какой деревни? — спрашивает старьевщик.

— Мы из Синьяла.

— Чьи дети?

— Мы дети Хеведусь.

Он и маму нашу знает! Это придает мне смелости, и я расспрашиваю его, где же здесь столовая и когда она работает. Вот счастье: столовая работает каждый день.

— А хлеб они там сами пекут?

— Нет, вон за столовой пекарня, там и пекут.

Пекарня, этот маленький домик с черной жестяной трубой, так и завораживает меня, она кажется мне той прекрасной страной, куда в сказках попадают в конце концов

добрые богатыри. На наш воз, пахнувший затхлостью и хлебом, ветер навевает медовый запах. «Хлебом пахнет...» — ме-рещится мне.

Мы слезаем с воза около столовой. Меня тянет туда посмотреть, есть ли там хлеб, но все же решаю по-другому: сначала надо дело закончить. Сделаю дело, а потом уж... а потом уж будет праздник! Я беру сестру за руку и веду к белому дому.

Держась за руки, мы входим в больницу.

Внутри — длинный коридор. По обе стороны — двери. Перед одной из них собралась толпа калек. Те, которым не хватило места на скамейке, стоят или сидят на полу.

— Здесь смотрят инвалидов? — спрашиваю я у высокого мужчины.

Он хочет ответить, но у него начинает трястись голова. Мне страшно, и я невольно отступаю назад. Мужчина, видя как напугал меня, и сам пугается и, чтобы заглушить свой хрип, одной рукой закрывает рот, другой указывает мне на дверь.

Мы располагаемся на полу. Вровень с моим плечом кто-то протянул на стул распухшую, завернутую шерстяным платком ногу. Поднимаю голову и вижу рядом на скамейке старую женщину, это ее нога так распухла.

— Что с вашей ногой? — допытываюсь я.

— Косили допоздна, вот в темноте и поранилась.

— Это хорошо. Вам запросто дадут инвалидность. А вот у моей сестры и ноги, и руки целы, только голова кружится.

Очередь двигается помаленьку: люди заходят и выходят. Все они могли бы быть здоровыми, крепкими, но один из них — без руки, другой — без ноги, а третий и вовсе без глаз. Я вспоминаю мамины слова: «Пусть без рук, без ног, слепой, но только бы ваш отец вернулся с войны...» Сейчас смотрю на таких людей, и каждый из них кажется моим папой...

... Кто-то трясет меня за плечо:

— Не плачь, доченька, не плачь, маленькая.

Успокаивающий — сосед мой. Он сидит, перевязанный ремнем, на маленькой тележке. Ноги его отрезаны выше колен. Культы он обернул пустыми штанинами, лоснящимися, как старая кожа. Но страшнее всего его руки: слишком длинные для короткого квадратного тела, их плоские ладони похожи на ступни ног.

А голос у него ласковый.

— Вот скоро домой пойдете. Фамилии ваши записали?

О том, что сначала надо было записаться, я слышу впервые.

Безногий дядя отталкивается обеими руками, тележка его катится по коридору. Он приводит меня в маленькую комнату и что-то там объясняет. Меня спрашивают, из какой я деревни и зачем пришла? И заполняют какую-то бумагу.

Возвращаемся обратно. Холодно в коридоре. Окна, выходящие на запад, кажутся совсем черными.

Неожиданно я слышу нашу фамилию. Наверное, это просто совпадение, нам с Лизук еще сидеть и сидеть. А безногий дядя кивает мне головой и улыбается, его лицо, напоминающее растрескавшуюся глину, ласково светится.

— Идите, идите, вас вызывают.

Кто-то толкает меня в спину, кто-то открывает дверь, и мы оказываемся в большой комнате.

За длинным столом сидят трое: женщина в очках, мужчина и девушка, которая выбегала в коридор за лекарством. Лизук прижимается ко мне. Я сажаю ее на стул, стоящий перед врачами, и, чтобы ей не было страшно, кладу свою руку на ее плечо. Первой спрашивает женщина в очках и так пристально смотрит на нас, что Лизук вцепляется в мой фартук, а мне хочется спрятать куда-нибудь свои босые ноги. От страха я не знаю, что отвечать. Она ждет, потом начинает сердиться, почему-то ругает мою маму:

— Потом удивляются, откуда берутся такие, вон с детства без присмотра болтаются.

Тогда другой врач выходит из-за стола, подходит к нам, гладит Лизук по голове и расспрашивает про нашу маму, где она работает, почему сама не смогла прийти. А после этого обращается к больной:

— Сейчас зима или лето?

Лизук оборачивается ко мне, словно ждет от меня помощи. Но доктор делает мне знак, чтоб я молчала. Лизук хватается за руку и шепчет:

— Холодно! Мне холодно! Зима!

Женщина в очках усмехнулась. А я еле сдерживаюсь, чтобы не заплакать.

— Когда шла сюда, что ты видела? — спрашивает женщина.

— Карамель видела... — тихо отвечает Лизук.

Больше Лизук не спрашивают. Молодая девушка очень долго слушает ее сердце, проверяет глазное дно.

— Твоя сестра не больна, — заключает потом женщина в очках. — Просто ее надо лучше кормить, ей надо давать масло, яйца, сливки.

В ее перечислении меня поражает слово «сливки». Разве сливки едят?! Их собирают для пахтанья, получившееся масло сдают государству, а вот пахта остается для нас. Пока я размышляю об этом, врачи пишут для нас какую-то бумагу.

Наконец мы выходим в коридор, и я с облегчением протягиваю эту бумагу безногому дяде. Оказывается, человека можно оглушить обыкновенными словами:

— Доченька, от этой бумаги вам никакой помощи. Твоей сестре дали только третью группу. Зайди еще раз, поговори с врачами. Скажи им прямо. Они скоро закончат, подожди немного.

Лизук дрожит. Мне тоже холодно. Вместо того, чтоб спросить о деле, я выпаливаю совсем другое:

— А до этого мы успеем сходить в столовую?

— Успеете! А деньги у вас есть? Тогда идите поешьте и приходите обратно.

Мы выходим на солнечный двор. От долгого сидения в темном коридоре в глазах темнеет, передо мной плывут желтые, зеленые круги.

Сразу зайти в столовую не хватает смелости — мы топчемся у двери.

— Вы в столовую? Если да — заходите, а то мы скоро закроем, — говорит девушка, стоящая на крыльце. И правда, сразу же за нами она накидывает крючок на дверь.

— Девочки, вам чего?

— Хлеба.

— На продажу хлеба нет.

Но я не теряюсь, я крепко помню мамины наставления, поэтому развязываю узелок и протягиваю мятую бумажку:

— Тогда дайте нам миску супа. А вместе с супом — хлеба. Нас двое.

Нам взвешивают два куска хлеба. Осторожно, будто двух только что вылупившихся птенцов, кладу их на ладонь. Они

еще теплые. Мой рот наполняется слюной. Но мы их съедем не сейчас. Моя мечта — как сказка: когда пойдем домой, мы сядем в поле у дороги: поле — огромное-огромное, вдалеке видно то дерево, которое показалось мне родным, мы сидим с Лизук на траве и смотрим на него, надо, чтобы поблизости никого не было, я разломлю один кусок пополам, и, никого не стесняясь, медленно-медленно, долго-долго мы будем есть хлеб... Хорошо бы другой кусок донести до дома... А там разделим его на три части — и опять будем есть хлеб!

Нам приносят миску супа. Мама учила нас всякую еду делить поровну, и мы решаем есть суп по очереди. Но ждать, когда Лизук проглотит ложку, — мучение: мы вчера ели с ней свербигу, может быть, поэтому, а может, от простуды, но губы сестры сильно распухли, она не может глотать горячий наперченный суп, ждет, чтоб он остыл, дует. Это как насмешка надо мной, только душу травит. Не выдержав, я придумываю другой способ. Лизук безропотно соглашается. Теперь каждый ест по две ложки. Я проглатываю их мигом, потом сижу и жду. Наверное, до Лизук дошло, как я мучаюсь, она уже не дует, торопится, после каждого глотка стонет от боли.

На дне миски осталось еще три-четыре ложки, когда я увидела, что мимо окна проходит доктор. Куда он идет? Неужели закончили работу? А вдруг он пошел домой? Потом ведь его не найдешь!

— Лизук, ты сиди тут, смотри, без меня суп не ешь. И хлеб не трогай! — наказываю я и бросаюсь на улицу.

Догоняю доктора и трогаю его за рукав:

— Дядя! Дядя доктор!

Показываю ему бумажку:

— С этой бумажкой нам дадут сено?

Доктор не понимает моих слов. Тогда я спрашиваю во второй раз:

— С этой бумажкой нам разрешат косить сено?

По лицу доктора я вдруг догадываюсь, что по этой бумаге нам ничего не дадут. Передо мной по краю ясного неба вверх-вниз, вверх-вниз качается солнце, и его красные лучи широким потоком ползут ко мне по железной крыше. Я не могу объяснить по порядку. Вокруг нас собирается толпа. Слышится чей-то дикий крик.

Оказывается, это я кричу:

— Мы умрем! Без коровы мы умрем!

В моей памяти крутятся зимние вечера, когда мы ходили воровать колхозную солому: далеко от деревни, в поле, открытый всем ветрам, стоит стог, дергаешь, дергаешь заледенелую солому, а сама дрожишь — вот-вот схватит тебя сторож... Оглушенная, я кричу еще громче. Доктор гладит меня по голове. Его слова пробираются ко мне как сквозь толстую стену.

— Если бы вы жили в городе, твоей сестре назначили бы первую группу. У нее ведь руки-ноги целы, поэтому решили, что в деревне она сможет работать, вот и дали ей третью группу.

А я думала, что взрослые не ошибаются! Я задыхаюсь, мое дыхание — словно маленькая речка, которая хочет сбросить камень, преграждающий ее течение.

— Дядя доктор, что ты говоришь?! Ведь ее называют «дурочка Лизук»! Как она может работать? Вчера она вместе с мамой полола свеклу и вместо сорняков выдернула всю свеклу! Бригадир потом ругал нас! Сказал, что за такое вредительство сажать надо...

Силы мои иссякли. Я плачу. Доктор все гладит меня по голове.

— Успокойся, маленькая. Сейчас уже поздно, врачи разошлись. Приводи сестру на следующей неделе. Мы посмотрим ее еще раз. Я сделаю все, чтобы у вас была корова. Даю тебе слово. Эту бумагу оставь здесь. А маме скажи, что, мол, все хорошо, только печать не успела поставить. А сейчас идите, уже вечер.

Подолом фартука вытираю лицо и, обеими руками сжимая голову, которая дергается от икоты, бегу за хлебом, оставленным в столовой.

Лизук сидит на лестнице, а на двери столовой висит замок.

— Хлеб! Где хлеб?! — кричу я.

Лизук вскакивает и озирается кругом. Одним взглядом я обхватываю ее всю: карман фартука пуст, в руке тоже ничего нет.

— Хлеб, где хлеб, говори!

Лизук дрожит:

— Не... не... не знаю...

Бросаюсь к окнам столовой. Хватаясь за наличники, подтягиваюсь вверх, смотрю сквозь стекло: там только пустые столы.

Я — опять перед Лизук.

— Куда ты дела хлеб?!

— Не знаю... Сказали, что закрывают, и я вышла сразу же после тебя. А хлеб-то ведь не наш, он остался на столе...

Чернота обволакивает все. И в середине этой черноты — Лизук, та, которая потеряла хлеб.

Я опять бросаюсь вперед. Мои кулаки ударяются обо что-то мягкое. Земля качается под ногами. Столовая то пропадает, то, сверкая своими окнами, ползет ко мне. Черные рамы окон стоят передо мной как ряды кладбищенских крестов. Отступаю назад. А кулаки мои, как цепи, молотят и молотят. Только когда раздается тонкий жалобный крик, вся крепость в ногах и руках гаснет вмиг, и я оседаю наземь. Старые бревна столовой — цвета ржаного хлеба, от мха между бревнами слышится запах ржаного хлеба. Пыльная земля — как дно печки — горяча и пахуча. В этом мире, пахнущем хлебом, и цвета хлеба, только лицо моей сестры красно от крови.

Мы хватаемся за руки и бежим. Шелестит теплый вечер. Спускается солнце. На небе облака — как река с золотыми берегами и золотой рябью по воде.

Для огромного поля две девочки — только две былинки, даже слабый ветер сгибает нас, как бурьян. На ржи трепещет сияющий круг от заходящего солнца. Мне жаль его, жаль, я ведь знаю, оно должно радовать сердце, но сейчас оно кажется ненужным, как шюльгеме на шее голодной женщины.

... Кто-то спешит нам навстречу. Походка — мамина...

Видно, даже за целый день не иссыкли мои слезы. Последние капли, горячие до того, что от них могут появиться волдыри на теле, падают на мамин фартук.

— Ну что, поели хлеба? — спрашивает мама.

В груди у меня что-то хрипит, я хочу проглотить комок, вставший поперек, но не могу ни проглотить, ни выплюнуть его. «Нет, не удалось нам поесть хлеба», — хочу сказать я, но вместо этого произношу совсем другое:

— Поели.

— Дочурка, а что ты вся в крови? — обнимает мама Лизук.

Сестра смотрит на меня, потом прячет голову под мамин фартук. Я вижу, как трясутся под фартуком ее ключицы. «Ах!» — говорит мама и обеими руками, с двух сторон, прижимает нас к себе.

Глаза высыхают. Моя душа свободна, как ветер в скошенном поле. Я рассказываю, как учил меня доктор. Мама смеется, радуется, как малое дитя.

В темноте мы приходим домой. Сразу же после ужина я засыпаю. Мне снится волшебный сон.

Будто мама затопила печь. На столе стоит квашня, пых! пых! поднимается тесто.

— Ой-ой-ой! Как бы тесто не убежало! — хлопочет мама, точь-в-точь как жена председателя (сама видела — знаю). Она приносит муку, насыпает ее на доску и начинает раскатывать тесто.

В это время стучат в окно. Я губами оттаиваю лед на стекле и сквозь маленькую дырочку смотрю на улицу. Там поднялся буран, я вижу, как рывками сдвигается край соломенной крыши соседкиного дома. Перед нашими окнами стоит толпа ребятишек. Они зовут меня:

— Еля, пошли воровать солому!

А я им говорю:

— А у нас полный сарай сена! Теперь никуда не пойду! В прошлом году я все ходила, столько уроков пропустила. Теперь ни одного урока не пропущу, буду хорошо учиться и выучусь на доктора. Как стану доктором, всем вам раздам сена!

Услышали они мои слова или нет, но, борясь с беснующейся вьюгой, тронулись в поле. Крутящиеся вихри выбивают снег из-под ребячьих ног, ребята падают и вместе со своими санками проваливаются в сугроб.

Дома тепло. Мама уже выгребает жар из печи, вспыхивают, гаснут, бегут друг за другом голубые огоньки. Вот мама ставит хлеб в печь. Хлеб у нас не караваем, а отдельными ломтями.

Я улыбаюсь. От этой улыбки растаивает всякая боль и наступает блаженство. Не выдерживая его, глаза мои наполняются слезами. Я — самая счастливая девочка на свете. Я жду, когда выпечется кусок хлеба...



НИКОЛАЙ ИСМУКОВ

Родился в 1942 году

Николай Аверкиевич Исмуков родился 2 марта 1942 года в с. Первомайское (Большие Арабузи) Батыревского района Чувашской Республики.

Окончил Первомайскую среднюю школу, Уральский государственный университет им. А.М. Горького, аспирантуру, затем докторантуру Московского государственного педагогического университета.

Работал в школе, техникуме, вузах республики. С 1993 года трудится в Чебоксарском кооперативном институте Московского университета потребительской кооперации — является деканом заочного отделения, заведует кафедрой философии и культурологии. Свою научную деятельность он посвятил проблемам категорий философии. Им опубликовано несколько монографий и более ста научных статей.

Н. Исмуков удачно сочетает дар философа и поэта. За годы творческой работы выпустил более десяти поэтических сборников. Его стихи переведены на русский, татарский, марийский, башкирский, украинский, итальянский, французский языки. За поэму «Митта» и роман в стихах «Ахър самана» (Светопреставление) удостоен премии им. В. Митты, за сборник четверостиший — Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства. Как отмечает поэт и литературовед Аристарх Дмитриев, этот сборник «стал заметной вехой не только в его творчестве, но и в поэзии в целом. Тонкие наблюдения и неожиданные образы, эмоциональный всплеск и мудрая сдержанность придают стихам Николая Исмукова особую доверительность, их воспринимаешь как раздумья поэта-современника о вечном и преходящем, о трудной доле человека — быть связующим звеном между Землей и Небом». Известный московский поэт Алексей

Шитиков особо подчеркивает силу воздействия удивительной, возвышенной поэзии на читателя: «...Поэзия Н. Исмуква делает духовный мир человека более осмысленным, прибавляет мужества оставаться неsgiбаемым перед любыми ветрами клеветы и предательства, обиды и несправедливости. Своей болью снять боль с другого — не в этом ли целебное чудо поэзии?!»

Николай Исмукв — доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель искусств Чувашской Республики.

Проживает в г. Чебоксары.

У холма предков*

*Отрывок
из «Неоконченной поэмы»*

Пестреет холм
Подушкой цветною,
Периной пышной
Разостлался луг.
И лампою в ночи над головою
Повис луны печальный
Светлый круг.

Пред красотой природы
Я немею...
И счастлив тем,
Что все мне близко здесь,
Что по-чувашски
Я ее сумею
Талантливо и трепетно прочесть.

Земля моя!
Навеки мы едины, —
Ты силы нам
В дороге трудной дашь.
Здесь берега Булы
Желтеют глиной,
Как будто скулы

* Перевод Л. Симоновой.

Смуглые чуваш.
Вот скромно
И торжественно одета
Склонилась ива,
Сдержанно тиха,
Душе моей близка
Картина эта.
Мне чудится чувашская сноха...

Родные сердцу
Арабузь и Атык,
Сидель, недалеко и Юндаба.
Мне воздух ваш, мои деревни,
Сладок,
Величьем дышит
Каждая тропа.

Холм-богатырь!
Безгласный страж деревни,
Как светлый образ
Предо мной встает.
И не умом,
А лишь найтjem древним
Иду к твоим истокам,
Мой народ.

Истории ворвался
Ветер жаркий,
Клоня цветы,
В наш беспокойный век,
И поминальным светится подарком
Далеким предкам
Хрупкий келчечек.

Здесь пигалица —
Крохотная птица,
Взлетает в поднебесье голосок.
И облака плывут,
Как бы струится
С руин родимых
Булгарских песок...

Скажи,
О чем так горько плачешь, птица?
Твоей печальной песне
Нет конца.

Пойми,
Кропить слезами не годится
Овеянный легендой
Путь бойца.

А может быть,
Взлетая в поднебесье,
Твоя печаль затем звенит сейчас,
Чтоб доблесть предков
На земле воскресла
И ятаганом
Засияла в нас!

И, как следы на армяке от моли,
Белесые надгробий письма
Твоею, птица,
Тронутые болью,
Невольно пробудились ото сна.

Кудрями тех,
Кто жил на белом свете,
Светло по полю стелется
Ковыль,
Как ржавый обруч,
Закружился ветер,
Столбом вздымая
По дороге пыль...

И, молча приподнявшись
Над бурьяном,
О чем-то вечном просвистит змея.
И прошлое, пульсируя упрямо,
Доносит звуки
Из небытия.

В нас прошлое себя
Запечатлело.

Сосуды кровеносные оно
Родных булгар в мое вдохнуло тело,
И чувствую,
Что с ними я — одно...

О не печаль мне сердце
Песней, птица,
Не разрывай тоскою слезной
Грудь!

И вот уже и помнится,
И мнится
Далеких предков
Полный славой путь.

* * *

Он круглый — этот мир
Или квадратный?
Но центр его,
Где дом родимый, тут.
Куда бы я ни шел,
Стремлюсь обратно,
То время тает, облака плывут...

Могучий, вечный холм,
Ведь может статься,
Он Улыпу подушкой служил.
Когда умру,
Хотел бы я остаться
Здесь, у холма,
Где я когда-то жил.

Течет моя Була по белу свету,
И серебрится
Каждый поворот,
Как на запястье девичьем
Браслеты,
Как песни,
Что слагает мой народ.

В лесу иль в поле
Предок мой,

Все ближе
Далекий образ
В пелене веков.
Как славный Улып,
Ты шагаешь, вижу,
Касаясь белоснежных облаков.

Вы за сохою вслед,
Душой измаясь,
Тянули век лишений и беды.

Следы ль лаптей
За вами оставались?

Нет, нет!

Самой истории следы.

Коль отвернется счастье,
То едва ли

Что вымолит турхан сам у судьбы,

Вы на коленях, предки,

Не стояли,

Не кланялись,

Как жалкие рабы.

В той прошлой жизни

Не было минуты,

Когда бы радость

Распирала грудь...

Вот домотканым саваном

Окутанный

Пускается чуваш в последний путь.



ПЕДЕР ЭЙЗИН

Родился в 1943 году

Педер Эйзин (Петр Егорович Димитриев) родился 1 августа 1943 года в д. Энехметь Аликовского района Чувашской Республики.

Окончил Тиушскую среднюю школу, историко-филологический факультет Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева.

Работал учителем чувашского языка и литературы, в Красноармейской районной газете. Служил в Советской Армии. С 1968 по 2005 годы трудился в Чувашском книжном издательстве.

Первое произведение было опубликовано в 1962 году. Стихи П. Эйзина тесно связаны с традициями народной поэзии. Их отличает глубокая философичность и самобытность. Поэта глубоко волнуют проблемы обновления и развития духовной жизни родного народа. В своем творчестве П. Эйзин развивает своеобразную форму чувашского верлибра, не повторяя при этом ни русский, ни эстонский верлибр, ни японские хокку и танка. Следует подчеркнуть особую прозрачность и чистоту звучания верлибра в стихотворениях поэта — не только новых по содержанию, но и обращенных к старинным национальным этническим заветам (циклы «Зарисовки», «Песни любимой», «Старинные мотивы»). Опубликованные в застойные 1970-е годы стихи П. Эйзина (сборники «Три струны», 1971; «Костер», 1976) прозвучали как новое слово в чувашской поэзии.

П. Эйзин проявил себя и как переводчик с русского на чувашский язык (сборники «Венгерские сказки», «Летний день» В. Лукши).

Творчество поэта наиболее полно представлено в сборнике «Последняя метель» (1991). В переводе на русский язык стихи П. Эйзина опубликованы в сборнике «Весенняя капля» (1982).

За заслуги в области поэтического творчества Педеру Эйзину присуждена премия им. В. Митты (1997). Ему присвоено звание заслуженного работника культуры Чувашской Республики (1994).

Родное слово*

Родного слова свет —
с чем его сравнить?
...Безлунная темная ночь.
Вверху
сияет одна звездочка.
Родного слова свет —
этой звездочки свет.

Родного слова тепло —
с чем его сравнить?
...Холодный зимний день.
Впереди
виднеется родимый дом.
Родного слова тепло —
этого дома тепло.

Родного слова вкус —
с чем его сравнить?
...Домой я возвратился.
В руке
хлеб, испеченный матерью.
Родного слова вкус —
этого хлеба вкус.

Хлеб

Не проголодавшись,
за стол не садись:
дороже хлеба —
нет.

* Перевод *В. Широкова*.

Не вымыв руки,
за стол не садись:
чище хлеба —
нет.

Не сняв шапку,
за стол не садись:
старше хлеба —
нет.

Звезды

Звезды рождаются вечером.
Как нотные знаки.
Словно сумерки выдыхают
мелодию.

Партитура неба
предназначена
для девушек и птиц:
у каждой девушки
есть своя звездочка,
а у каждой звезды —
свой соловей.

Ночью,
как папоротник,
расцветает сердце.
И, словно заветный клад
из старых преданий,
открывается
богатство души.

Звезды умирают
с появлением солнца.

Сосны

Тебя нет,
поэтому шумят...
Тебя нет,
поэтому шумят деревья...

Как отрицание,
как отступление,
как боль —
движение сосен.

Все это потому,
что снег —
спокоен,
чист и светел.
И всякое движение —
как боль,
как отступление,
как потемнение в глазах...

И это потому,
что вместо ожидания
остался только вздох.

Тебя нет...
Поэтому шумят...
Тебя нет...
Поэтому шумят деревья...

И это потому,
что ветер
сквозь белый снег,
сквозь песню,
как прошлое,
вылетает с плеском крыльев.

У окна

Может быть, ты,
может, снежинки,
может, оконная синь,
может, сумерки?

Нахлынет грусть
на сердце,
и все

превращается
в мелодию.
Ты
и снежинка,
и оконная синь,
и сумерки.

Воспоминания
проходят,
как жаркий шепот.
Умом
непостижимые,
глазом
неразличимые
воспоминания.

Может, ты
моргнула глазом.
Может,
синеет окно,
может,
наступают сумерки,
может,
снежинка
мелькнула?

Все и так чудесно!
Лес уснул нарядный,
в сердце зреет песня.

Есть тропа сегодня —
значит, в путь-дорогу!
Есть друзья-родные —
ну и слава богу!



ПЕТР ЯККУСЕН

Родился в 1950 году

Петр Яккусен (Петр Яковлевич Яковлев) родился 26 августа 1950 года в д. Оба-Сирма Красноармейского района Чувашской Республики.

В 1967 году окончил Большешатьминскую среднюю школу, в 1975 году — историко-филологический факультет Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

Служил в рядах Советской Армии. Работал научным сотрудником, учителем в сельской школе, преподавателем Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Кандидат филологических наук, доцент.

Первые стихи опубликованы в 1967 году, затем в коллективных сборниках «Первые шаги», «Подснежники», а также в литературных журналах «Ялав», «Таван Атӑл». Как отмечает исследователь чувашской литературы В. Степанов: «Творчество П. Яккусен — единое целое, как одна книга и сама жизнь, поразительно точно огибающее на старте сложные рельефы вековой народной мудрости, фольклора. На суд читателей выносятся неожиданные, красивые и глубокие умозаключения».

Является автором ряда поэтических сборников и детской прозы. В стихах преобладает философская лирика. Поэзия П. Яккусен пользуется большой популярностью среди молодежи.

Петр Яккусен также является переводчиком, автором книг и научных статей по чувашскому языку и фонологии.

* * *

За степью, посреди лесов,*
Где посторонних нет следов,
Округло озеро сверкает.

* Переводы А. Дмитриева.

И профили далеких гор,
И судеб прожитых узор —
Все там навеки оседает.

Ты не ищи свой образ в том
Глазастом зеркале тайком —
Оно лишь звезды отражает...

* * *

Перед тобою стою, Богородица!
Ты мне грехи отпусти.
Честь и бесчестье со мною, как водится, —
Нету другого пути.

Нет ни Отчизны другой, ни товарища,
Нету замены родне.
Я на чужое и прежде не зарился,
Нынче тем более — нет.

Только поклон — за лучи животворные,
Хмурю ночь у окна.
Вместе с народом и чашу позорную
Дай осушить мне до дна.

* * *

Коль беспокоит совесть,
Весь мир не осуждай:
Садись на первый поезд
И — станции считай..

Все дальше будешь мчаться,
Оставив отчий дом.
Где счастье и несчастье —
Распутывай потом.

Пускай смешно немножко
От этой суеты.
Купейное окошко
Бездумно, как и ты.

Вот проплывает мимо
Очередной пейзаж.
Но поезд этот — мнимый,
А все огни — мираж.

* * *

А бывает — выпадает
Благодатная пора:
На березы налетают
Шаловливые ветра.

Сохнут скошенные травы,
Запах сена тут и там.
И куда-то за ветрами
Устремляешься ты сам.

Миг — сольешься с белым светом:
Ты — береза, ты — и рожь...
Враки — будто люди смертны,
Никогда ты не умрешь!

* * *

Приблизил к цели незаметно
Меня сегодня первый снег:
Он словно верую заветной
Очистил душу мне навек.

Там, где кружение снежинок,
Как будто ангелы поют...
И не твое ли древо жизни
У сердца самого, вот тут?

Уходит сумрачная осень,
И лица благостны у всех.
На все, что косно и несосно,
Ложится белый-белый снег...

* * *

Синевой очей своих овальных
Душу мне очаровала ты...

А теперь в окошко смотрят мальвы —
Белые, пурпурные цветы.

На лугах бываю ли, на нивах —
Где ты, цвет мой синий, выручай?
Будто снова можно стать счастливым,
Как при первой встрече невзначай...

Синевою глаз твоих овальных
Промелькнули колдовские дни.
Смотрят мне в окно сегодня мальвы,
Но совсем не синие они.

* * *

Город — белый камень, ты — не для меня,
Может, и привыкну, но любить — ни дня.

Сколько встреч ненужных целый день вокруг!
Только ночью ива мне приснится вдруг.

Ствол ее, наверно, стал от моха сед,
Да и нам, конечно, не семнадцать лет.

Но рыдать не стану (нет в запасе слез).
Уж и в сельском доме мне не жить всерьез.

* * *

В восторге, что круженьем плавным
Нисходит первый снегопад,
Я воробьям — птенцам недавним —
Чуть-чуть крупы насыпать рад.

Есть прелесть у зимы в начале
И страх, когда такой птенец,
Сплошную белизну встречая,
Быть может, думает: «Конец?»

Мир удивляет нас немало
С той, потаенной, стороны:
Открой глаза — цветов не стало,
Но как пленительны они!



РАИСА САРБИ

Родилась в 1951 году

Будущая поэтесса Раиса Сарби (Раиса Васильевна Яковлева-Бородкина) родилась 2 января 1951 года в с. Норваш-Шигали Батыревского района Чувашской Республики.

Окончила Норваш-Шигалинскую среднюю школу, чувашское отделение историко-филологического факультета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

Работала редактором детской литературы в Чувашском книжном издательстве, заведующим литературно-драматической частью Чувашского государственного театра кукол, главным редактором чувашского женского журнала «Пике» (Сударушка).

Стихи Раиса начала писать рано, еще в школьные годы.

Известность к поэтессе пришла в 1972 году после выхода в свет первого сборника стихов «Парне» (Подарок). Книга стихов «Розы в росе», выпущенная в издательстве «Молодая гвардия» в 1977 году и получившая первую премию издательства, принесла молодому автору всесоюзную известность.

Особое место в творчестве поэта занимают темы Родины, любви, нравственной чистоты человека. Пишет на чувашском и русском языках. Р.Сарби — тонкий лирик. Она в своих поэтических произведениях раскрывает внутренний духовный мир, думы и мечты своих современников, пытается философски осмыслить движение истории, жизни народа. Ее стихи для маленьких — это уроки нравственности, привитие малышам духовных ценностей родного народа. Она является автором более 20 поэтических сборников. Стихи Р. Сарби часто публикуются в газетах, журналах, коллективных сборниках. На ее стихи композиторами сложено более двухсот песен.

Р.Сарби пишет не только стихи, но и пьесы для детей и взрослых. Ее пьесы в стихах «Звездная мечта», «Бабушкина сказка»,

«Первые шаги», «Захотелось кукле замуж» поставлены на сцене республиканского театра кукол. Драма «Поговорим» с успехом шла в чувашском драматическом театре.

Р.Сарби перевела с разных языков на чувашский десятки пьес, сказок, стихов, рассказов, новелл. Ее стихи и пьесы также переведены на многие языки народов мира.

Р.Сарби — лауреат молодежной премии Комсомола Чувашии им. Михаила Сеспеля, Всемирной премии поэзии тюркских народов им. Нежипа Фазыла.

Проживает в г. Чебоксары.

Встреча в Риме

Рим...
Колизей!
Смотрю во все глаза.
Вокруг — седая древняя краса.
И вдруг я слышу — кто-то окликает
меня: «О мисс, мисс!» И ко мне
подходит пожилая иностранка.
«О мисс! — восклицает. — Силь ву пле!»¹
А дальше — ничего не понимаю.
«Ферштее нихт», — я отвечаю ей,
кой-как немецкий школьный вспомнив свой.
«Дойч?» — спрашивает леди по-немецки.
«Советиш», — отвечаю, улыбаясь
(и словно гусли в сердце зазвенели —
так это слово на устах звенит).
«Советы! Из России! Так и знала!» —
на русском вдруг воскликнула старуха.
И стала торопливо, что есть духу,
рассказывать: «Была в России я.
Там — светлые, волшебные края.
Еще бы раз там побывать, еще бы...
Увидеть мне Россию наяву...»
Слова такие услышав, зову
старуху в гости к нам, в Чувашский край,
на Волгу, посмотреть село Шоршелы.
От слов моих старуха побледнела:

¹ «Пожалуйста» (франц.) и дальше «Не понимаю», «Немка», «Советская» (нем.).

«Ты из Чувашии?! Ах, доченька моя,
теперь я вижу: младшею сестрою
приходишься ты земляку-космонавту!»
«Да, — говорю я, — Николаев Андриян
и вправду брат мой, старший, кровный брат».
И вдруг я слышу, что уже звучат
родимые чувашские слова
в устах седой и грустной иностранки.
Я удивилась — до того чиста
была родная речь в ее устах —
и продолжала: «Да, я Андрияна
еще студенткой видела. И он,
прославленный космический герой,
сам называл тогда сестрой,
и это запомнилось навек...
Но верю я и в то, что каждый человек,
кто б ни был он — мой брат или сестра,
и станет миром братства и добра
земля людей, прекрасная планета.
И не погаснуть солнечному свету».
Так говорила я старушке этой...
Она в руке мою держала руку,
а на лице ее проглядывала мука,
и солнце южного сияющего дня
не в силах было сумрак разогнать
в ее глазах. И вот она опять
со мной заговорила по-чувашски:
«Поклон России, дочка, передай!
Поклон земле добра, стране свободы,
поклон ее великому народу, —
счастливую в борьбе обрел он жизнь...
Москве золотоголовой поклонись
и Чебоксарам, и широкой Волге,
и космонавта родине — Шоршелам,
и родникам их передай поклон.
Хочу я, чтоб цвела и хорошела
страна единых наций и племен.
Там, — слышишь, дочка! —
родина моя...
Да-да, чувашка я!

«Чувашка я...» —

промолвила почти неслышно, глухо
седая леди, элегантная старуха.

И повела свой горестный рассказ...

«Чувашка. На Волге родилась...

И каждый день я Волгу вспоминаю.

Мне жить, быть может, считанные дни
осталось. Но в родном Чувашском крае
хотелось бы мне умереть... Огни
села родного вижу и поныне
я в каждом сне.

Живу здесь, как в пустыне,
родную мать покинувшая дочь...»

И женщина заплакала, и прочь
пошла...

И вслед за ней я побежала:

«Постой, аппа»¹.

(Мне болью сердце сжало
и горечью.)

«Постой, поведай мне,
как оказалась ты в чужой стране?» —

«Чувашка я. Чуваш был мой отец —
владелец лавок, состоятельный купец.

Он веку знаний тоже отдал дань:
послал учиться он меня в Казань,
единственную дочь, наследницу свою,
чтоб я с образованием и умом
вела б торговлю за него потом.

Но только-только начала учиться —
октябрьский над миром грянул гром.

И не пришлось мечте отцовской сбыться...

Тогда мне было лишь семнадцать лет.

И показалось мне: весь белый свет
перевернулся на глазах вверх дном.

Как разобраться было мне во всем
круговороте? — я была юна.

Вокруг — бои, гражданская война.

Провинциалке, было мне не ясно:

¹Аппа — сестра. Почтительное обращение к старшей (чуваш.).

кто прав, кто виноват, за кем идти,
под белым знаменем или под красным?
Никто не мог мне подсказать пути...
Повсюду — кровь, разруха, голодуха,
тиф, беженцы — сплошной раздор вокруг...
И вот тогда единственный мой друг,
избранник сердца, мне и предложил:
— В России — катастрофа!
Прочь бежим!
Здесь в этой буре нам не уцелеть.
Ты видишь, милая, — в смятенье вся земля! —
... И мы бежали, словно крысы с корабля,
охваченного штормом и пожаром.
Покинув землю дедов и отцов,
с любимым за границу я бежала.
Он был доволен — белый офицер,
что выжил в буре, что остался цел...
И где только мы с ним не побывали —
за проволокой, в тюрьме и в подвале,
пока не оказались мы в Париже.
— Здесь, — он сказал, — к самой фортуне ближе! —
Но вся любовь его прошла, когда
стряслась со мною горькая беда:
я тяжело надолго захворала.
И он решил со мною «не возиться» —
исчез, меня покинув он, пропал.
И я одна осталась за границей,
совсем одна, без денег, без друзей
и без работы...
Но тут на счастье —
только счастье ль это? —
мне итальянец предложил один
его женою стать. И, не любя,
пошла я за него, чтоб не сойти
с ума от голодухи и позора...
С тех пор полвека в Риме я живу —
чувашка, ставшая «синьорой»...
Живу? Нет, сплю, пожалуй, наяву.
Мне кажется, полвека эти сном
тяжелым были, а на самом деле

в краю чувашском я живу своим,
на Волге милой...
Кажется, проснусь —
вокруг меня Чувашия и Русь.
Но пробужденья нет — и быть не может.
Тоска и стыд, и боль мне сердце гложут...
Но в год, когда шоршелский мой земляк
поднялся в космос на коне крылатом,
и целый мир его услышал голос,
услышал речь героя-чуваша,
мне показалось — сердце расколосось,
в быль воплотилась сказочная небыль
легенд чувашских. Серебром лучистым,
как колокол, вдали запело небо
моей отчизны. И моя душа
туда рванулась. Я тогда туристкой
поехала на родину свою...
И поняла я, что в чужом краю,
где жизнь я прожила, мне и осталось
окончить дни.
Что я могу отдать теперь
отчизне? — лишь одну больную старость,
как нищая, стучась в родную дверь.
За этой дверью — счастье молодое,
живое счастье гордых чувашей,
прекрасная, возвышенная доля...
И я шепчу: цветы и хорошей,
Чувашия моя!
Горжусь, что я —
чувашка, что тобою рождена.
Я за ошибку юности сполна
всей горькою судьбиной расплатилась!»
...Я замолчала, и со мной простилась
моя землячка старая...
Стою
я в центре Рима, рядом с Колизеем,
и чувствую, как сердце все сильнее
колотится в груди.
Скорей, скорее
увидеть бы мне Родину мою!



НИКОЛАЙ ИЖЕНДЕЙ

Родился в 1953 году

Николай Ижендей (Николай Петрович Петров) родился 14 февраля 1953 года в д. Верхняя Шорсирма Цивильского района Чувашской Республики.

После окончания Красноармейской средней школы продолжил учебу в Чувашском сельскохозяйственном институте. В 1976 году был призван в Советскую Армию. Отслужив, вернулся в родную деревеньку, которая считалась тогда неперспективной. 15 лет работал инженером-механиком и руководителем среднего звена в родном совхозе. Долгие зимние вечера проводил над книгами, литературой занимался самостоятельно, по велению сердца.

Н. Ижендей с 1990 по 1996 годы заочно учился в Чувашском государственном университете им. И.Н. Ульянова на факультете чувашской филологии и культуры. Работая в сельской школе с 1991 года, он практическим и творческим трудом воспитывает подрастающее поколение, умножает народную культуру, поддерживает добрые традиции сельского труженика Чувашии.

Первое стихотворение было опубликовано в 1971 году в районной газете «Цивильский вестник» (Путь Октября), а вскоре его стихи появились на страницах республиканской периодической печати. Первая книга стихов «Чёвёлпи» (Щебетунья) вышла в 1993 году в Чувашском книжном издательстве. Изучая мотивы чувашской мифологии и народной философии, Николай Ижендей создал собственный свод правил образного мышления. Расширяется гражданский кругозор, растет его поэтическое мастерство. Поэма «Голос нерожденного ребенка», опубликованная в 1995 году в журнале «Ялав», обратила на себя большое внимание общественности и сразу была переведена на русский язык, а затем и на другие языки.

Н. Ижендей известен и как сказочник. Юные читатели с интересом читают «В стране ста тысяч цветов», «У круглого озера» и другие его сказки.

Член Союза писателей Российской Федерации с 1994 года.

Голос нерожденного ребенка*

Поэма

1. Первая неделя

Еще не знает ни одна душа,
Что новой жизни зародилось чудо,
Неведомую птицей в мир спеша...
А это я! Меня услышите всюду.

Но и отец не знает, даже мать
Пока не догадалась... Есть я все же.
Вселенная, спеши меня узнать,
Хоть я на всех на прочих не похожий.

Луна шепнула ласково: «Малыш!»
И солнце улыбнулось: «Это ты ли?»
«Серебряною птицей в мир спешишь
Иль золотой?» — они меня спросили.

Сынок иль дочка — разве в двух словах
Вы мне загадку жизни объясните?
Я не хочу на птичьих быть правах.
Я — человек! К себе меня примите.

Коль есть на свете солнце и луна,
И вечности законы не иссякли,
Вселенная принять меня должна.
Настанет срок рождения...
Не так ли?

2. Третья неделя

Что я такой малюсенький, кому
Какое дело? Веточкой на древе

* Перевод Л. Симоновой.

Здесь скажет слово каждый человек,
Здесь искрами сердца людей зажгутся.

Поэт-волшебник, разве в стороне
Останусь я неведомою птицей?
Я — человек! Так помоги же мне
К делам людским навеки причаститься.

3. Седьмая неделя

Движеньем нежным полнось изнутри,
Играют ручки, ножки пляшут сами.
Ах, мама, мама! Только посмотри,
Как хочется мне оказаться с вами.

Но что такое? Не могу понять:
Обуза я? Какое злое слово...
«Не одолеем ноши!» — шепчет мать.
Зачем отец нахмурил брови снова?
Родители!
Я не обуза, нет.
Настанет время — буду вам опорой.
А вы опять про деньги, про бюджет
Печальные ведете разговоры.

А я-то, песней ласточки звеня,
Все больше силу чувствую соколю,
Зачем же вы не слышите меня?
Души моей вы не узнали, что ли?

Отец мрачнее тучи: не понять,
Куда летит страна, в какую бездну?
Инфляции собаку гонит мать,
А я ликую — все мне интересно.

Играют ручки, ножки хоть сейчас
Готовы в путь, веленью дня послушны.
Вот погодите — вырасту, и вас
Избавлю от инфляции бездушной.
Отец клянет парламента закон,

А мне один закон на свете ведом.
Закон любви... Имеет право он
Вести народы за собою следом.

Закон любви... Он освещает тьму,
Лишь с ним возможно пролететь
над бездной,

И тот, кто в жизни следует ему,
Не может стать обузой бесполезной.

А счастья срок наступит или нет?
Коль мать с отцом благословят
в дорогу,
Свет месяца и солнца ясный свет
Мечтам твоим исполниться помогут.

А я хотел бы принести с собой
Закон любви и нежности... Повсюду
Пусть в этом мире чувствует любой
Земной любви живительное чудо.

Пусть тот закон сияет день и ночь
И каждого коснется благодатью,
Чтоб мог я обездоленным помочь,
С лихвой и радость,
и добро раздать им.

Я снова сердца мамы слышу песнь...
Оно, мне душу содрогая, бьется.
Вселенная — я получаю весть —
Нет, не подолом маминым зовется.

4. Восьмая неделя

От крика вздрогнув, я проснулся вмиг
И замер, обратившись во вниманье.
Чей до меня донесся горький крик?
Из садика сестра вернулась — Таня.
Неужто, Таня, белый свет не мил,
Что так кричишь обиженно и громко?
И кулачком тебе я погрозил:
Не надо плакать, глупая девчонка!

Сотри скорее струи слез с лица,
Но голос мой не достигает цели,
Из моего уютного дворца
Опять меня расслышать не сумели.

Домашний собирается совет.
Нас четверо теперь со мною вместе.
Но средь родных меня не слышно, нет!
Пока в семье мой голос неуместен.

Все взоры — к Тане, все о ней слова,
Отец и мать, мы — равные на свете.
Но, зная, еще я не обрел права
На этом первом жизненном совете.

А слезы Тане заслонили взор,
И жалуется глупая девчонка,
Как на обиду, как на свет позор:
Ее подружка дразнит чувашленком.

Эх, Таня! Несмышлелыш милый наш,
О, как хочу твою утешить душу:
Чувашка — мать, да и отец — чуваш,
Какое слово славное, послушай!

И если б кто-то так меня назвал,
Мол, чувашленок,
сердце было б радо!

Я б от души того расцеловал:
Заметили, узнали — вот отрада!

Пойми, Танюша, что причины нет
Ни жаловаться, ни рыдать упрямо,
Души чувашской робкой льется свет,
Его так щедро излучает мама.

А как с тобою ласков наш отец,
Он на руки берет тебя, Танюша.
Биение родительских сердец,
О девочка упрямая, послушай.

А я хотел бы, ласточкой звеня,
Летать вокруг рыдающей сестрицы,

Чтобы она заметила меня
И улыбалась нежно «новой птице».

Мать утешает, и отец готов
Свою дочурку одарить вниманьем...
Но что я слышу среди добрых слов:
«Забудь о том, что ты чувашка, Таня!

Ты знаешь хорошо другой язык,
Так говори на нем легко и смело».
Отец! Отец! Душа моя на миг
От этих страшных слов окаменела.

Вы по головке гладите дитя,
А наш родной язык дрожит от страха.
Зачем же вы толкаете шутя
Его, невиноватого, на плаху?

Ах, мама, мама! Говори со мной,
Мне удели внимание и милость.
Ответь, чем плох он,
наш язык родной?
Зачем ты за него не заступилась?

Тебе, отец, которому беречь
Очаг родной, ужель не больно это:
Ты наш язык, родную нашу речь
Не защитил от грубого навета.

Вот солнышко — радушный
светлый лик
Взошел над нами и утешил Таню.
Она смеется — плачет наш язык.
О, как понятно мне его рыданье!

Мне во дворце моем покоя нет:
Меня отсюда не услышат снова.
Ах, выпорхнуть бы ласточкой
на свет,
На крыльях вознести родное слово!

5. Девятая неделя

Бывает: вдруг волной накатит грусть,
От радости сильнее сердце бьется,
Ребенком счастья в мире назовусь,
В нем так огромно золотое солнце.

Мне ведомы дыхание тепла,
Добра и зла стремительные стрелы,
Та бдительность, что сотни лет была
Родных племен спасительным уделом.

Предчувствие мне наполняет грудь:
Инфляции собака рыщет рядом.
Под сердце мамы спрятаться, нырнуть,
Ах, мама, выдавать меня не надо.

Все мысли злые разгони, развей,
Ни дьявольской душой гореть от века,
Ни лешим быть в лесу, среди людей —
Мечтаю стать достойным человеком.

И так повсюду дьявольская рать
Не только по лесам бродить готова,
Ей ничего не стоит обломать
Родные ветви с древа родового.

И вот уже, тревоги не тая,
Мечусь, ищу спасения дорогу,
Далекая прабабушка моя
В моей крови заговорила строго:

«Пугала нашу женщину беда
Горячки послеродовой виденье,
Но крошечку души своей всегда
Она звала надеждой и спасеньем.
Хотя одной ногой была в гробу,
Готовила пеленки для младенца,
Благодарила бога и судьбу
За щедрый дар, за доброе наследство».

Злым духом для тебя не стану, нет!
Эби¹ улыбку добрую не спрячет.
Здоровым, сильным появлюсь
на свет,
А нынче уж не так страшны горячки.

Ты крошечку души своей храни,
Решать за бога — грех, я это знаю.
Пусть только он мои считает дни,
Не брось меня собаке в пасть, родная!

Коль песня мамы, волшебство творя,
Мне силы придает, то превратится
И крошечка души в богатыря,
Пусть, мама, божий замысел свершится.

6. Десятая неделя

В рубашечке-скафандре кувырок
Исполнил я, и рад, и горд собою,
Смотри, отец, как ловок твой сынок,
Он может сальто выполнить любое.

Молчанием отец ответил мне...
Неужто и теперь я — ноль пред вами,
Неужто в нашей маленькой семье
Не наделен я равными правами?

Давай поговорим с тобой, отец,
На равных, как с мужчиною мужчина,
Признайся, объясни мне, наконец,
Тяжелых дум, молчания причину.

Шумит привольно рынок мировой,
И вот в торговой преуспев науке,
Не брезговал базаром прадед мой,
Так что ж ты опустил бессильно руки?

Я новой жизни разгадал секрет:
Выносливость твоя — всему опора,

¹ Эби (чуваш. эпи) — повитуха, тут имеется в виду акушерка.

А ты горюешь, мол, зарплаты нет,
Твой сын, отец, тебе поможет скоро.

Смотри, отец, здоров я и силен,
И мне легко во чреве кувыркаться.
А нынче так: кто ловок, только он
С удачей в жизни может повстречаться.

Так потерпи, отец, еще чуть-чуть,
Меня душою дьявола не сделай,
А срок придет: на твой нелегкий путь
Явлюсь к тебе помощником умелым.

Возглавить род — нелегкая стезя,
Но если кто родного сына предал,
Тому уже спокойно жить нельзя,
За ним пойдет возмездие по следу.

Родимый мой! Творение твое —
Чувашская душа во мне, как птица,
И коль не сможешь уберечь ее,
Какой надеждой день твой озарится?

Возьми терпенье ты в поводыри
И заслони собой дитя родное,
Приду на свет в сиянии зари,
Собой украшу древо родовое.

7. Одиннадцатая неделя

Как сладко палец я сосал во сне,
Но вдруг возникла странная картина:
С вороньим носом человек ко мне
Пришел отрезать жизни пуповину.

Он хочет привязать ее к хвосту
Буланого жеребчика... О боги!
Как мчится жеребенок на ветру,
Меня собака гонит по дороге!

Я просыпаюсь, ужасом объят.
Хочет мир, надев наряд паяца:

«Эй, чувашленок! Будь тому лишь рад
И тем гордись, что высосал из пальца».

Мир, что дарует всем счастливый путь,
И мне яви любовь свою и милость,
Чтоб пуповина жизни — счастья суть
Всю жизнь мою везде со мной хранилась.

Мир, где родятся дети для любви,
И мне яви внимание и милость.
Я — человек! И жизнь в моей крови,
Нет, не напрасно в мире зародилась.

Мир, что родные души сотворил,
Не допусти немислимой потери.
Пойми, мне белый свет отсюда мил,
Не дай в трущобах сгинуть диким зверем.

И так чуваша по земле по всей
Разбросаны — и встретятся едва ли,
Огонь сердец родной земле своей
И своему народу не отдали.

Жизнь коротка, мы гости на миру,
И потому хочу быть в самой гуще.
Но вовсе не на праздничном пиру —
Хочу спешить за впереди идущим.

О, белый свет! Плесни хотя б чуть-чуть
Любви и счастья, чтоб не затеряться,
Чтобы верша к истокам вечным путь,
В калитку жизни мог я достучаться.

Вселенная, послушай: я иду!
Отдам тебе рубашку — знак удачи.
Ведь неужели, чтоб прогнать нужду,
Навеки я заложником назначен?!

8. Двенадцатая неделя

Молчанием обижен, я заснул,
Вниз головою кувыркавшись смело,

Но разбудил меня веселый гул,
Лучистая мелодия звенела.

Чувашский гимн про солнце, небосвод...
Ах, как он льется, звукам жизни вторя,
И чья душа так радостно поет,
Когда меня за горло держит горе?

Мир, музыке внимая с высоты,
Услышать тех, кто не рожден, не может.
Ах, мама, мама! Неужели ты
Отрежешь жизни пуповину все же?

В палате белой слышен бег минут.
Кто здесь убийца?! Господи, помилуй,
Вампиры-дьяволы за мной идут!
...Вот ножницы сомкнулись
страшной силой.

В палате белой — мама... Стрелки бег
Отсчитывает краткие мгновенья.
Кто я теперь? Не леший — человек.
Увы! Лишенный права на рождение.

О, краткий миг, что песнями рожден,
Поэту он приносит славы бремя,
Так пусть мой голос зарифмует он,
Его услышьте, президент и время.

За праздничным столом сидит поэт.
И до меня, до всех несчастных вместе
Ему сейчас, как видно, дела нет.
Тогда кому нужна такая песня?

Когда с трибуны он читает стих,
Металл холодный в голосе поэта.
О, край родной! Кто защитит твоих
Детей, которым нет дороги к свету?!

Другой поэт меня услышать рад.
Он, как и я, изгой, забытый всеми.
Так не горюй, не сокрушайся, брат,
Что ты не спас меня в лихое время!

И бесстрастное время
 мелодию ту вознесло.
 Тот, кто бьет в барабан,
 затевая хвалебные речи,
 Поднимается вверх,
 чтобы славы цветы собирать.
 Замер голос младенца.
 Не вышло обещанной встречи,
 Только эхо тревожно врывается
 в душу опять.

Лира та, что судьбой с твоей участью,
 мальчик мой, схожа,
 Вторит горькому эху,
 пытаясь его поддержать.
 Так бедняга бедняге в несчастье
 сочувствовать может,
 К струнам сердца пытаясь дорогу
 впотьмах отыскать.

Песни слезы роняют с крестов прямо
 в сердце поэта...
 Если рядом на свете окажется
 двое сирот,
 Это значит, наверно,
 сиротства у них уже нету,
 Это значит, что жизнь нам
 суровый вопрос задает.

10. Через год... после моей гибели

Когда бросила мама меня,
 Пес пришел, чтоб меня унести.
 От зубов его спрятался я,
 Убежал, чтобы душу спасти.

Когда кровного предал отец,
 Черный ворон возник на пути.
 Убежал я, почуяв конец,
 Убежал, чтобы душу спасти.

Хоть и мама меня предала,
В поле в том, что имеет глаза,
Нежно липа меня обняла,
Чтобы мне обо всем рассказать.

Когда кровного бросил отец,
Дуб в лесу мой поддерживал дух.
Мне шептал: «Не теряйся, птенец», —
Лес дремучий, имеющий слух.

А сегодня исполнился год
После ангельской смерти моей,
Вольный ветер об этом поет
Поздним вечером в трубах печей.

Возвращаясь в родительский дом
Поздней ночью в весеннем саду,
Словно филин, я вою о том:
Человеком сюда не приду.

Легкой ласточкой в ласковый сад,
В сад родительский, я прилечу,
Каждой веточке крохотной рад,
О себе я напомнить хочу.

Утром вышли и мать, и отец
В сад, где я среди веток и трав.
Ах, узнайте меня наконец!
Нет! Уходят, меня не узнав...

Неужели отцу не понять,
Что душа у меня все же есть,
Как же не догадается мать,
Что она, словно ласточка, здесь...

Только Таня о чем-то своем
Все щебечет, щебечет опять,
Объясняясь чужим языком —
И не смог я сестренку понять.

Мама нежно ее обняла,
Учит пению — ласковый миг!

Я прислушался: песня плыла,
Но, увы! Не родным был язык.

Вот отец ее к небу поднял,
Вся забота — о Тане одной.
Поучительно голос звучал,
Но опять был язык не родной.
Я дивился, тоскуя, любя,
Как могло наше слово пропасть?
Неужели, родное, тебя
Тоже кинули в черную пасть?

Неужель ты, язык наш родной,
Затерялся, как леший, в лесу,
Неужель нас отдали с тобой
На съедение жадному псу?

Став травинкой, я к маме приник,
Как ласкался в сиянии дня,
Словно песня, звучал мой язык,
Только мать затоптала меня.

Обратившись в древесный сучок,
Обнимал я отца и молил,
Но он сына расслышать не мог
И на щепки сучок разломил.

Обернулся себе на беду
Ежевикой, сестренку маня,
Словно ягоду волчью, в саду
Таня пнула ногою меня.

Счастьем, съеденным псом, я сейчас,
Позабыв навсегда вашу речь,
Вою-плачу, стараясь на вас
Страх и ужас ночами навлечь.



АНАТОЛИЙ СМОЛИН

Родился в 1957 году

Анатолий Семенович Смолин родился 1 апреля 1957 года в д. Семенчино Козловского района Чувашской Республики.

После окончания в 1975 году Янгильдинской средней школы служил в рядах Советской Армии. Затем учился на филологическом факультете Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

С 1984 по 1996 годы трудился на разных должностях в редакции республиканского журнала «Шил сунат», четыре года возглавлял редакцию этого детско-подросткового издания. С 1996 года работал пресс-секретарем, затем помощником Президента Чувашской Республики.

А. Смолин пишет и на чувашском, и на русском языках. Какие бы темы ни затрагивал поэт — от бытовых до философских — его поэзию отличают доверительность интонации, естественность и задушевность, простота изложения мысли.

Особо нужно отметить переводческий дар поэта. Перу А.Смолина принадлежат высокохудожественные переводы на русский язык ряда стихотворений, баллад и поэм знаменитых чувашских поэтов М. Федорова, К. Иванова, М. Сеспеля, Я. Ухсая, П. Хузангая и мн. др. Популярны его переводы с русского на чувашский стихотворений — А. Пушкина, С. Есенина, Е. Евтушенко, И. Елисеева.

За книгу «Çаврăм» (Круг) Анатолию Смолину была присуждена республиканская молодежная премия им. Михаила Сеспеля. Он также удостоен премий им. Семена Эльгера, Марфы Трубиной, Фатыха Карима и Геннадия Айги. Анатолий Смолин — заслуженный работник культуры Чувашской Республики. Член Союза писателей РСФСР с 1987 года.

Проживает в г. Чебоксары.

* * *

Запестрели скверы,
Липы заалели.
Дым клубится серый
В парке, за аллеей.

Все размыты грани,
Нет контрастных линий.
Все сошлось в тумане
В журавлином клине.

И в промозглой рани
К нам несется песней,
Душу больно рая,
Крик из поднебесья.

В сквере скверно, пусто,
Листья крутят сальто.
Осень смотрит грустно
Лужами с асфальта.

* * *

Проехали дали такие мы
Добру поклониться добром.
Язык наш довел нас до Киева —
Стоим над великим Днепром.
Соборы стройны, не сутулятся,
По городу гордо идем.
Червоноармейская улица,
Седьмой исторический дом.
Он тут принимал резолюции,
Подвластный порывам души,
Сгоревший в огне революции,
Подснежник наш — Сеспель Мишши.
Не в ризе попа и не в мантии
Он шел к своей вере стальной,
В шинели с душою романтика
Он жертвовал смело собой.
...Дела его были такие вот...
Седьмой... Знать, магический дом...
Наш Сеспель довел нас до Киева,
А дальше мы сами пойдем.

Моя хата с краю, или Баллада о крайнем

Как-то утром занесло
Белых на станицу.
Красным так не повезло —
Побелели лица.

Моя хата с краю —
Ничего не знаю.

Как-то ночью занесло
На станицу красных.
Белым так не повезло —
Покраснели разом.

Моя хата с краю —
Ничего не знаю.

Вновь кого-то занесло:
Пуля-дура свищет.
Это мне не повезло —
Нынче крайних ищут.

А я точно знаю:
Моя хата с краю.

Из цикла «Прощание с отцом»

* * *

И в чем же смысл бытия?
В трех досках — суть венца?
Стою у гроба в грусти я,
А гроб тот — для отца.

Где благодать найти свою?
В трех горстках мудреца?
Над мрачной ямою стою,
Та яма — для отца.

Как мир огромен и велик.
Вопросам нет конца.
Я в небе вижу светлый лик,
А в лике том — отца.

* * *

Как отвести злую беду?
Ответ на вопрос не прост,
Батюшка наш — кряжистый дуб.
Отца приютил погост.

Во поле чистом древний дуб,
Не смейте сравнить с отцом.
Места себе я не найду,
С дубом ли схож я лицом?

Нынче в сравненьях, друг, я груб.
У дуба займу свой пост.
Батюшка наш — кряжистый дуб.
Отца приютил погост.

* * *

Василию Пушкину

Чувашская земля — родимый край,
Ты всех похвал и почестей достоин.
Здесь солнце — словно пышный каравай,
Тут воздух — будто на меду настоян.

Живет тут удивительный народ,
Способный веселиться и трудиться,
Который, как святыню, бережет
Жемчужины преданий и традиций.

Чарующе звучит грачиный грай,
И песней колосится здесь пшеница...
Чувашская земля — родимый край,
Позволь мне пред тобою поклониться.



БОРИС ЧИНДЫКОВ

Родился в 1960 году

Борис Борисович Чиндыков родился 1 августа 1960 года в с. Балдаево Ядринского района Чувашской Республики.

Учился на чувашском отделении историко-филологического факультета Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова (1977—1979). Окончил литературный институт им. А.М. Горького Союза писателей СССР (1984).

Работал в редакции республиканской газеты «Молодой коммунист», консультантом по вопросам литературы Союза писателей ЧАССР, литературным сотрудником в журнале «Тăван Атӑл», консультантом секретариата Верховного Совета ЧАССР. Был редактором-издателем чувашской молодежной газеты «Аван-и» (1990—1993), главным редактором международного журнала чувашской культуры «Лик Чувашии» (1994—1997). Б. Чиндыков — один из участников становления чувашской поп-музыки — ярких феноменов чувашской молодежной субкультуры.

Начало литературной деятельности относится к середине 80-х годов XX века. Широко и разносторонне работает в современной чувашской литературе. Б. Чиндыков пишет прозой, переводит, занимается публицистической и литературной критикой. Он автор нескольких пьес. В 1990 году были поставлены его пьесы «Ежевика вдоль плетня» и «Трапеза после полуночи» на сценах чувашских театров нашей республики. В 1993 году Чувашский театр юного зрителя еще раз обратился к его драматургии, поставив пьесу «У дверей».

В своей прозе, драматургии и отчасти в публицистике Б. Чиндыкову удалось выразить умонастроение чувашской молодежи 1980-х годов, ее нравственные искания и перебои чувств вплоть до душевных пароксизмов. От исследования внутреннего мира своих героев он часто обращается и к мучительному размышлению о

будущности чувашской речи, искусства, нации в целом. Для произведений Б. Чиндыкова характерны обновление выразительных средств, обнаженный стиль, попытка использовать технику «потока сознания» (отчасти это результат ученического прочтения мэтров западного модернизма, восприятия прибалтийской словесности, поэзии народного поэта Чувашии Г. Айги).

Самое известное произведение Б. Чиндыкова — «Ежевика вдоль плетня». Впервые сценическое воплощение драма получила на сцене чувашского драматического театра в 1984 году. Спектакль получил широкое признание зрителей. На Всероссийском фестивале «Лучшие спектакли России» в Орле спектакль получил первую премию (1990). На Всероссийском фестивале тюркских народов в Уфе спектакль также удостоился первой премии. Спектакль был признан лучшим и на Всероссийском фестивале «Федерация-92» в Чебоксарах. Он был поставлен на сценах театров Москвы и Санкт-Петербурга. За эту пьесу в 1993 году Б. Чиндыков удостоен Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства.

Живет и работает в г. Москве.

Ежевика вдоль плетня*

Драма в двух действиях

Действующие лица:

Валя, дочь	Мать
Призрак Васили	Радик
Призрак Отца	Марине
Йоссах, сосед	Лида, сноха

Действие происходит в конце 1970-х — начале 1980-х годов в чувашской деревне.

Действие первое

Сад за домом. Лето. Вечереет. Под яблоней на табуретке сидит Мать, она что-то вяжет. Медленно входят Радик и Марине. Марине плачет, Радик держит ее за руку.

Радик. Ма-а-ма-а-ак!.. Маа-маа-аак!.. Бабушка!..

Мать не слышит.

Маа-а-аамаа-а-аак, говойю!..

Мать. Ой, Радик... Чего стряслось-то?

* Перевод автора.

Радик. Вон Майине все плачет и плачет, не пейестает. Глаза у нее зеленые-зеленые, словно яблоки. Почему ты плачешь, Майине, спйашиваю у нее, а она говойит: пйосто мне очень хочется плакать, вот и плачу... Скажи-ка ей, мамак, чтоб пей-естала, а то, глядя на нее, мне тоже хочется плакать...

Мать. Марине, тебе больно?

Марине. А-а...

Мать. Проголодалась?

Марине. А-а...

Мать. Чего ж тогда плачешь, Марине?

Марине. Просто мне очень хочется плакать, вот и плачу. Солнце ведь тоже плачет.

Мать. А ты не плачь, ладно? А то, видишь, и Радик вот-вот заплачет, и у меня в глазах слезы. И так душа нынче не на месте чего-то... Хочешь, песенку тебе спою, а, Марине?

Марине. А-а...

Мать (*тихо напевает*).

Ой, где ягодка быстрее спеет?

На лугу, ой, спеет, на лугу.

Ой, где мак быстрее спеет?

Ой, в саду, ой, спеет, ой, в саду.

Ой, где вишенка быстрее спеет?

На лугу большом, ой, спеет, на лугу...

Ой, блондиночка, ой, где растет?

В деревушке светлой, ой, растет.

Ой, брюнеточка, ой, где растет?

В деревушке темной, ой, растет.

Ой, шатеночка, ой, где растет?

В деревушке средь ольховых зарослей растет...

Радик (*с нарочитой радостью*). Мамак, можно и я спою?

Мать. Давай, Радик, запевай, чтоб земля задрожала!

Радик.

Ваня идет в кабачок

В пасхальных кйасивых найядах.

Возвйашается из кабачка

В запачканых найядах —

Белый-белый, словно лукошко,

Чейный-чейный, словно головешка.

Э-эх!..

Как по нашей улице
Сани катятся под гою.
Когда пйхожу по улице,
Слышу, плачет девочка одна.
У-у, ветей дует, ветей дует,
Мусой подымает ввысь.
Та девчонка, не сдейжавшись,
Зайвела от души...

Марине все плачет и плачет.

Мать. Господи...

Радик. Солнышко светит, солнышко смеется, нашу Майине смешит! Глаза у нашей Майине сухие-сухие, точно вайежки на печке.

Мать. А я и не знала, что ты воду любишь, точно лебедушка... Глянь-ка вокруг, Радик, повсюду ясный солнечный день вроде и только в нашем саду дождь.

Радик. Дождик, лей, дождик, лей, на калач намажу меду...

Мать. Видишь, Радик, душа у нашей Марине большая-большая, великая-великая, как небосвод. И из нее зачем-то все капает, капает... Ведь растает наша Снегурочка!

Марине плачет еще сильнее.

Да ну вас! (*Про себя.*) Сказывают, перед бурей щенята вот так же воют...

Радик. Ту-ту-ту, ту-ту-ту! — вона самолет летит! (*В небе в самом деле слышен гул самолета.*) Таня, Танечка, не плачь, не утонет в йечке мяч!

Мать. Марине, пошли в дом.

Марине. Нет-нет, мамак, я не хочу в дом. Душно там. И стены вокруг. Я хочу слушать дыхание яблонь.

Мать. Радик, там в избе, на столе, в чашке, арбуз должен быть, разрезанный. Принеси, пожалуйста.

Радик. Айбуз? (*Быстро уходит.*)

Мать. Нарспи ты моя маленькая...

Марине. Она же умирает.

Мать. Нет. Ее убивают.

Марине. Нет, мамак, она сама повесилась, я знаю. Одна, в лесу. Она сильно-сильно любила своего Сетнера и потому, когда его не стало, решила повеситься.

Мать. Не только из-за Сетнера. Она, девочка моя, повесилась из-за обиды на весь белый свет. На жизнь свою прогневалась. Жить ей надоело.

Марине. А разве жить тоже может надоест?

Мать. Иной раз ни минуты жить не хочется...

Марине. А почему не хочется, мамак?

Мать. Потому что иногда легче умереть, чем мучиться.

Марине. Я никогда-никогда не хочу умирать, мамак.

Мать. Ты еще мала, моя девочка. Вот проживешь жизнь свою и ближе к старости начнешь ждать своего часа: сегодня ли, завтра ли...

Марине. И ты так и живешь, мамак, постоянно ждешь смерти?

Мать. Сейчас-то, летом, не помру, наверное. Зимой вот тяжело. По весне-то оно легче.

Марине. Мамак, ты только ни за что не умирай зимой, ладно? А то вдруг будут морозы, и меня не возьмут тебя хоронить. Скажут, холодно.

Мать. Эх, дурочка моя маленькая, Марине...

Марине. Мамак, я очень-очень люблю тебя. Если б не было тебя, я бы не жила на этом свете. А может, и не родилась бы вовсе.

Радик *(высовываясь из окна)*. Э-эй, Майине-Кулине, не хотите ль на базай, двухгодовалую буйенку в долг пйодавать?

Мать. Нашел?

Радик. Съел уже.

Мать. И Марине не оставил?

Радик. Я съел только один кусок. *(Марине.)* Эй ты, любимая моя подйуга Майине, хочешь айбуз?

Марине молчит.

А то ведь весь съем. И тебе ничего не достанется.

Мать. Поди, не лошадь, все-то не съешь. Неси сюда чашку.

Голова Радика исчезает в окне.

Марине. Когда вырасту, я красивая буду, мамак?

Мать. Ты и сейчас красива, точно василек. А когда вырастешь, станешь крепкой и статной, как мама. Глядишь, все парни на деревне передерутся из-за тебя. А Толик тети Кате-

рины вовсе с ума сойдет. Но ты, конечно, будешь горда и неприступна, даже краешком глаза в их сторону не скосишь. Они для тебя будто пылинки на обочине, правда?

Марине. А Радик?

Мать. А Радик тебе защитником будет. Захочет наглец какой-нибудь тебя обидеть, так Радик ему сразу: эй ты, а нука давай отсюда, от моей сестренки, а то я тебя сейчас!.. Р-раз — и наглеца того словно не бывало...

Радик (*сложив ладони в граммофон*). Один айбуз — семьдесят копеек, два айбуза — йбуль сойок, а пол-айбуза — сколько будет? Отгадаешь — тебе, не отгадаешь — мне, дойгая моя подйуга Майине...

Марине (*с печалью в голосе*). Радик, ты мой защитник, правда?

Радик. Защитник?

Марине. Ты всегда будешь защищать меня, потому что я твоя сестренка.

Радик. А ты будешь любить меня? Если не будешь любить, я не стану тебя защищать.

Марине. Радик, и тебя, и мамак, и Жучку я очень-очень люблю.

Радик. А Толика тети Катейининого?

Марине. Ты сам дяди Яшину Нину любишь. И Люсю дяди Юрки.

Радик. Не вйи, дяди Яшину Нину любит тети Катейинин Толик!

Марине. А меня?..

Радик. Говойил же, ты Толика любишь! А-а, сейдечко-то съезжилось! Эй-эй-эй, нельзя так!

Мать молчаливо долго-долго смотрит на них, затем, вытерев слезы уголком платка, уходит.

Любовь это любовь!..

Марине. Радик, айда бабочек ловить!

Радик. Каких, желтых?

Марине. Хоть каких. Лучше бы чернильно-синих, конечно, они мне больше нравятся, но их не догнать, они летают словно ветерки, быстро-быстро...

Радик. Ладно, и койичневых, и чейнильно-синих я тебе поймаю. А ты ежевики найви, вот тебе ведейко.

Марине. Я не знаю, что такое ежевика. Какого она цвета?

Радик. Сизого. Но и чейная бывает.
Марине. А вкусная?
Радик. Вкусная. Из нее мы пйиготовим вино, детское вино. Знаешь, где искать?
Марине. В лесу, наверное...
Радик. Нет, не в лесу, а вдоль плетня.
Марине. А потом в больницу играть будем? Или в магазин?
Радик. Сначала в больницу, потом в магазин. Только смотйи, я опять буду доктойом. Что у тебя болит сегодня, Майине?
Марине. Живот.
Радик. Живот нельзя, живот у тебя вчейа болел.
Марине. Тогда нога.
Радик. Нога неинтейесно. Лучше глаза или спина. Или гйудь.
Марине. Сердце.
Радик. Не сейдце, а душа. Да, душа! И впйавду, сегодня у тебя будет болеть душа.
Марине. Душа?
Радик. Да-да. Душа.
Марине. И как же ты вылечишь мою душу?
Радик. Узнаешь потом. Ну ладно, я побежал за чейнильно-синими бабочками! Ты не забыла, что я тебе сказал?
Марине. Детское вино.
Радик. Давай на спой, кто быстйее: я бабочек поймаю или ты найвешь ежевики?

Уходят: Марине — с маленьким ведерком, Радик — с сачком. Появляется
Мать.

Мать (*тихо*). Ой, душа ноет. К непогоде, что ли? Может, гроза грянет... Нужен, ох как нужен дождь-то, а то земля вся иссохла.

Где-то рядом кричит Ворона.

Какой-то вечер нынче не такой. Дым... Неужто что-то горит? Где ж это может быть?

К ней подбегает Жучка, начинает ластиться.

Жучка, о-ой, Жучо-ок! Жучка, что с тобой, Жучка? Чего ты такая грустная? В стадо тебе охота, да? Боишься, Красуля

там одна? Э-эй, придет она скоро. Слышишь, буренки заревели за деревней: му-ук! му-ук! Вымя к вечеру у них полное, тяжелое, подоить надо поскорее, а то им больно. Вот так вот оно. Такова она, жизнь, Жучка. Нынче есть, а завтра нет...

Жучка, слушая ее, жалобно скулит.

Может, калитку тебе открыть, Красулю встречать пойдешь? Надоело, небось, каждый раз под забором-то пролезать, а? *(Гладит Жучку.)*

Голос Йоссеха *(с улицы)*. Э-эй, Ольгаги! Ольгаги! Есть кто дома аль нет?

Мать. Сейчас, сейчас я... Вот, проклятая, дверь-то подперла давеча, чтоб свиней потом по всей деревне не искать... Сейчас, сейчас открою. *(Исчезает за домом и через некоторое время возвращается с высоким мужчиной лет сорока, что-то в его внешнем виде напоминает прокаженного.)*

Йоссах. Вот, Ольгаги, значит, продал я яблоки по сорок копеек, стою жду, чтоб яйца продать. Подошла одна, расфуфыренная вся, спрашивает: почему? Рубль, говорю. Повернулась к шляпе своему бородатому и говорит: рупь. Тот, в шляпе-то, посмотрел на меня, точно мышь на крупу, и говорит: девяносто. Шалишь, говорю, пусть тебе твоя курочка по девяносто несет. А она выпятила губы, как сковородник, и говорит: пошли, Ондрюшка. То-то, говорю, тебе бы голову свою, южку-вьюжку, в сумочке твоей дамской носить надо. А он: гражданин, я сейчас милиционера позову. А-а, говорю, Юрку-то этого, как его, черт бы его побрал, Василича из Орабакасов? Я его, говорю, знать не знаю и знать не хочу. Правда, пару деньков назад раздавили мы с ним три пузыря красного на двоих, так твой милиционер как пень свалился... Послушайте, гражданин, говорит мне шляпа, да вы соображаете, что говорите? Ты сам, видать, не знаешь, говорю, чем порох пахнет. А баба-то евонная: Ондрюшка, да что ты с алкашом этим время тратишь? Да все по-русски, по-русски, по-городскому... Это я-то алкаш, говорю ей, да ты сама алкашка, яйца вон бесплатно хочешь. Ты, говорю, своих кур заставь бесплатно яйца нести, мой-то, говорю, еще при социализме развитом трудятся. Потом, когда они убрались восвояси, вижу: Дина, бабенка Юри

Михалча, идет. Ну та, что в поселке заводском живет. Как всегда навеселе, конечно, руками размахивает, словно ветряк. Увидела меня и сразу: здорово, Йоссах! Ты че тут делаешь, говорю ей. Йоссах, говорит, коли есть, дай, пожалуйста, грамм сто. Вот, говорю, будет, ежели продать. Сколько, спрашивает. Три десятка, говорю. Счас, говорит, и — вжик за столовую с моими тремя десятками яиц! Эй ты, говорю, побыстрее только. У столовой подожди, кричит. Тоже мне городская, думаю про себя. Ну, уселся на ступеньке у входа, сижу жду — нет и нет. Смотрю: Колька Муравей идет с Мишкой Синицыным. Мишка, говорит Муравьев, одолжи пятерку, а? Через четыре дня получка, так сразу и верну. Мне денег не жалко, говорит ему Синица, но какая тебе польза оттого, что выпьешь лишний раз? Ну душа горит, жалуется Муравей. *(Вдруг замолкает, затем неожиданно печально, без всякой бравады.)* Ольгаги, у меня у самого душа синим пламенем горит. Если есть, дай немного, а? Я тебе и яблочок принесу, и яиц. И деньгами могу заплатить, коли хочешь.

Мать. Эх, Йоссах!

Йоссах. Ну немножечко, а? Ну не могу я...

Мать. Только бражка у меня.

Йоссах. Да хоть бражку, Ольгаги. Ах, спасибо тебе...

Мать. Подожди здесь, сейчас принесу. А то там вроде Валя.

Йоссах. Ольгаги, яблоки эти собрать?

Мать. Сама соберу. Посиди лучше, отдохни. Набегался, небось, за целый день. Я вон ничего не делаю, все равно устаю.

Когда Мать уходит, Йоссах поднимает с земли два яблока и внимательно всматривается в них. Одно яблоко большое-большое, но зеленое-зеленое, другое, наоборот, — красное-красное, но маленькое-маленькое, и к тому же, кажется, оно все зачервивело.

Йоссах *(с яблоками в руках)*.

Для того, чтобы плодоносить,
Яблоням нужно
Сначала расцвести белым цветом,
Вынести зиму,
А летом
Они сникнут,
Тихими вечерами станут

Сладко подремывать,
Чтобы однажды на белом рассвете,
Испив холодной росы,
Испустить последний вздох
В ожидании яркого солнечного дня.
А потом вместе с приходом осени
Опять начинаются мученья,
Наступают красивые холодные дни.
И ветви их снова оголяются,
И снова — ни одного, даже
самого маленького плода.
И желтые листья превращаются
в мертвенно-белые
Или же в черные-черные,
словно в ночь или в смерть.
Не плачьте, не плачьте, яблони!
Ведь иногда и холодный ливень
С мольбою, со слезами, с криком
Просится в дом...

(Глядя куда-то вдаль, словно в бесконечность.)

Лес дремучий, лес дремучий,
Почему ты так шумишь?
Почему в деревне темной
Душу страхом ты томишь?

Входит Марине с ведерком, полным ежевики.

Ну-с, друг-с, Марине, как поживаешь? Небось, как Нарспи, вся в счастье купаешься? Ну-с, друг-с, Марине, привет. *(Протягивает ей руку.)* Что это с тобой, или волк тебе повстречался? Или дядюшка Йоссах волка пострашнее, а? Волки они, Марине, разные бывают. У одного — лапы, у другого — ноги. У кого — четыре, у кого — две. Бывают серые волки, бывают бесцветные. Бывают лопухие и с ушками на макушке. Бывают в очках и без очков. Те, что в очках, пострашнее, они умные и нахальные. Ежели кто без очков спивается, на него никто никакого внимания не обращает, словно он для этого и рожден. А ежели кто в очках спивается да в шляпе, так все дружно ругают его. Будто ум заключен в очках, а? Ежели ты зрячий и без очков все очень хорошо

видишь, то ты, по правде говоря, дурак дураком. Умные никогда ничего не видят, ничего не слышат... Вот и ты, Марине, вырастешь, в город уедешь, человеком станешь, а дядюшка Йоссех по-прежнему будет пить без разбору. Конечно, и ему не всегда хочется пить, но он, дурак, назло вот этому своему нехотенью будет напиваться. Вот так-то оно, друг мой Марине. А потом говорят: кто он Йоссех? Йоссех, говорят, пьяница. И выпить с ним значит дело негодное. Вот ежели с Мишкой Синицей пьешь, то, значит, хороший ты человек, потому как, видишь ли, ветеринар он. А со мной выпить — так, значит, сразу пьяница, алкаш. Словно и не человек вовсе Йоссех, а бутылка пол-литровая. Потому что никакой не ветеринар Йоссех, не агроном и даже не бригадир. Пьянь рваная. А может, ни грамма не хочется пить Йоссеху, знает об этом кто, а? Может, оттого пьет Йоссех, что душа у него болит невыносимо? Может, от угара жизни хочет он опохмелиться?

Возвращается Мать, в руках у нее ковшик. С жалостью и состраданием, но без удивления смотрит на плачущего Йоссеха. Не сдержавшись, начинает горько плакать.

Пускай, пускай пьянь рваная Йоссех, зато душа у него чистая. Да один ли Йоссех пьет? Все пьют. Кто спивается, кто объедается. Кто — за свой счет, кто — за чужой. А кто и за счет государства. Говорят, государство у нас богатое, у государства на всех хватит. Но я до сих пор никогда ни у кого копейки не брал. У государства тоже не брал. Беру лишь то, что честно, горбом своим зарабатываю. Что зарабатываю, то и пропиваю. Кому какое дело, что Йоссех пьет? Йоссех он и работать, и пить умеет. И отец у меня и работал, и пил. И дед тоже. Чувашское застолье — оно всегда как кузница кипело. Вот так вот. Пить будем — не помрем.

Мать. На, Йоссех. Не крепкая, правда. Не настоялась еще.

Йоссех вмиг выпивает содержимое ковша.

Йоссех. Ольгаги, не слыхала, говорят, неподалеку от нашего села, в поле за оврагом, пивзавод хотят построить.

Мать. Когда строить-то будут?

Йоссех. Говорят, через пару лет запустить должны.

Мать. А кто же тогда в колхозе работать будет?

Йоссах. Нет, Ольгаги, алкоголь он только помогает крестьянину всякий труд неблагодарный исполнять. Вот нынче утром я вместе с Вассой на сенокос хотел пойти, но погнал корову — и Петровича, Михала, встретил. Так ведь он ни за что не дал мне пройти мимо своего дома, пока я сто граммов не выпил. Ну а где сто, там и двести. А когда двести... Пей не пей — башка все равно точно соломой набита. А ведь говорил я Вассе поутру: давай, говорю, пару бутылок туда, на луга, возьмем, отдохнуть малость, когда устанем. А она мне: у тебя одно на уме, горло твое бездонное, шланг резиновый! Ну я ей тогда говорю: ладно, Васса, если не две, так хоть одну. А она свое: у других мужья как мужья, а ты — пугало огородное. Я так и взорвался: это я-то пугало? Ежели не ты, кто ж тогда, Васили, что ли, говорит. Васили, конечно, парень неплохой, говорю, но неужто я такой уж плохой? Не то что плохой, а просто безобразный, смотреть на тебя тошно, кричит мне Васса. Эх, Васса, говорю ей тогда, я ведь никого не любил так сильно, как тебя люблю, не зря же я тебя в жены взял. Это ты-то любишь, взвилась она еще пуше, да ты, говорит, только бутылку свою любишь. Васса, говорю я ей тогда, хочешь, пить брошу, вот прямо сейчас, и с сегодняшнего дня ни грамму больше? Она вдруг замолчала как-то, сникла вся, опешила, видать, и говорит: ты что, Йоссах, с ума сошел? Васса, продолжаю свое, ежели я тебе надоел и давно уже меня не любишь, я, говорю, могу, это самое, и из дому уйти, не буду, не буду мешать вам, а, Васса? Она постояла, помолчала и бегом от меня: с тобой, Йоссах, от машины отстану!..

Мать. И вправду, Йоссах, поменьше бы тебе пить. Ей же тебя жалко...

Йоссах. Знаешь ведь, Ольгаги, и без Вассы девок у меня полно было, вся деревня замуж за меня хотела, а она меня за последнего человека принимает. А я, если потребуется, все своими руками могу, и не только сено косить. Вот так вот... Сколько раз в военкомат ходил, чтоб во Вьетнам отправили — солидарность свою проявить, а мне там говорят: не положено. Как так не положено, говорю им, когда у меня отец в Испании воевал, тоже не положено было, а он, говорю, медаль завоевал. А они, пни в погонах, не положено, говорят — и баста. Почему не положено, спрашиваю, а они

мне в ответ: потому не положено. Вот так-то вот: не положено, и баста. А что положено? Ничего не положено...

Где-то рядом невыносимо жутко каркает Ворона. На улице мычат коровы. Прибегает Жучка, увидев Йоссеха, начинает лаять.

Собака — друг человека. А ты, Жучка, за друга меня не признаешь. Лаешься, укусить хочешь. Шпана залезла за яблоками в учительский сад, да? Да, Жучка, да, ты, должно быть, умная собака, раз в учительском доме живешь. Ты у нас — собака сельской интеллигенции. Ну-ну, потише ты, потише... Вообще, это плохая привычка — лаять. Особенно на своего друга. Или на себе подобную собачонку. СССкверные у наССС ССС тобой имена, ЖучКККа: ты — собаКККа, я человеККК, ЙоС-ССеXXX. СССсобачья у нас ССС тобой СССудьба. СССе ля ви. Пардон...

Жучка перестает лаять, уходит во двор, через некоторое время возвращается вместе с Лидой.

Лида. А где Радик, аби?

Мать. В саду, наверно. Марине, где Радик?

Марине. За бабочками побежал.

Лида. А для чего ему бабочки?

Марине. Мне подарит. А я для него собрала целое ведро ежевики. Радик сказал, что из нее мы приготовим детское вино. *(Заметив бегущего вдалеке Радика.)* Э-эй, ку-ку! Быстрее-ей! Ох и попадет тебе!

Радик *(поет. Не переставая петь, подбегает к матери)*.

Почему я тебя полюбила,

Почему я ходила с тобой?

Почему тихими летними вечейами

Я тебя пйовожала с любовью?

Мама, ты не будешь меня бить?

Лида. За что же мне тебя бить, ты ведь у меня хороший мальчик. Послушный.

Радик. Мама, мне пйиснился сон, стйашный-стйашный.

Мать. Какой еще сон? Днем все сны на луне хоронятся, на землю только ночью спускаются.

Радик. А мне и снилась ночь. Во сне я всегда вижу ночь. Даже если днем. Осень как будто настала везде, и только в нашем саду — весна. Какая-то весенняя зима. На ветках вместо

снега — цветы. Шелчутся о чем-то. А один цветочек пйямо у меня на глазах заалел вдйуг и голосом девчоночьим говойит: Йадик, ты мой бйат, ты должен будешь меня защищать. Я тогда спйосил у него: а ты любить меня будешь? Цветок говойит мне: ты ведь дяди Яшину Нину любишь. И улыбнулся какой-то стйанной улыбкой, попйошался со мной и исчез. А тут дйугой цветочек заговайивает со мной: Йадик, говойит, отчего это летними вечейами так тихо вокйуг? Я так удивился, стою, смотйу, даже йот йаскйыл. И вдйуг этот цветочек у меня на глазах пйевйатился в Нину дяди Яшину, и я спйосил: ты Нина? Нет, отвечает, я всего лишь цветочек. Но почему тогда ты так похож на Нину, спйашиваю. Потому что я Нина, отвечает цветок... Потом вдйуг яблонька вся задйожала, как в судойоге, дйожала-дйожала и так же внезапно исчезла. Тихо и пустынно стало вокйуг. Буйенки мычат где-то поблизости. И откуда-то с небес доносится мяуканье котенка. Я от стйаха стою как вкопанный. Хочу сделать шаг назад — нога не поднимается, не могу отойвать ее от земли. Что-то тяжелое-тяжелое тянет меня вниз, в землю... Эй, отпусти, кйичу я в стйахе. Э-э, детка, от отца своего хочешь убежать, говойит мне голос из-под земли. Голос земли. Ты — земля, говойю, я не твой сын. Чей же тогда ты сын, если не земли, говойит мне хйиплый голос из-под земли. Я сын учителя, говойу я ему. Э-э, говойит он, учитель тоже от земли, все мы от земли... Смолкла земля на минуту, а потом вдйуг с сочувствием говойит: Йадик, ты только дома никому не йасказывай, ладно, я тебе одну вещь скажу. Ладно, говойю, не скажу. Йадик, не плачь, а йадуйся — это твой отец говойит с тобой. Отец у меня учитель, кйичу я ему. А голос мне говойит: я твой отец... Ничего не понимаю. А он пйодолжает: я это, я, земля — твой отец... Смотйу на ежевику вдоль плетня и вижу: повсюду вместо ягодок глаза, глаза папы. С пйишуйом, хитйоватые. И живые-живые, глубокие-глубокие. И все молят меня: сойви да сойви. Нет, говойу я. Тогда песню спой, говойят. А что петь-то, спйашиваю. Пйю любовь спой, говойят. Какую, спйашиваю. Ту, что мама поет, говойят. Если не будешь петь, то мы сами в йот тебе залезем. И тогда я запел. Пой, пой, говойят мне глаза-ягоды, до самого дома пой, если пейстанешь, мы догоним тебя и в йот залезем. И я пою... Анне, мама, мне стйашно! Вон, вон, чейнильно-си-

няя бабочка! Вон, вон! Не видишь, Майине, вон, вон, в моих глазах синяя-синяя, чейнильно-синяя бабочка! Одна, две, тьи!.. Вон еще одна, лови, Майине, лови! Вон еще одна — в тех дейвеянных глазах! (*Показывает на глаза Йоссе-ха.*) Лови, лови, Майине! И бабочки не хотят, чтобы их ловили. И бабочки по жизни плачут. И бабочки жаждут любви... И Жучка вся в бабочках, видите? Эй, Жучка, что ты вся в бабочках, Жучка? (*Жучка ластится к Радику.*) Жучка, спйоси, пожалуйста, у Майине, не хочет ли она в бабочек поигйать? Ну, Жучка, айда! Ай-да! Я — бабочка! (*Подбегает к Марине, нежно касается ее спины, затем взбирается на яблоню; с шумом падают яблоки.*) Чуй меня, чуй, нельзя здесь меня ловить! Ну-ка, Жучка, пйыгни йазочек, коли хочется тебе какао!..

Лида. А ну-ка быстро слезай! Я тебе покажу бабочек!

Мать. Да пусть резвится, сноха. Пройдет это. Просто от жары это у него.

Ворона каркает взхлеб.

Йоссех. Вот так вот оно. Да, таков он, этот мир. Дни разные, а сумерки всегда одни. Никому не надо говорить: не сумасбродствуй, это просто глупо говорить такое. Сумасбродствующему всегда надо говорить: давай! давай-давай! Еще больше сходи с ума! Пусть он заплутается вконец и пропадет пропадом, раз охота ему сумасбродствовать: ведь только так он сможет заново родиться. Новым взглядом посмотреть на мир. И только таким образом в игре пламени увидит тление углей, в сухости воздуха ощутит влагу, в горсти земли увидит небо. Вечен этот мир, и вечно он таков. И ничего в нем не меняется.

Марине вдруг начинает громко рыдать.

Мать. Марине, ты опять плачешь?

Лида. А ну перестань, кому говорю! Мало один дурачится, так ты еще заревела!.. Я вот покажу вам как кривляться!.. (*Про себя.*) А чего еще ждать от этой выжившей из ума старухи? Ничему хорошему она их не научит!

Мать. Ах, сноха моя, не ругай ты их, детишек малых, они ведь ничегошеньки не знают. Жизнь для них, словно игрушка. Поиграли малость, надоело и бросили. Потом жизнь сама выпрямит их, они сами станут размалеванными игруш-

ками в ее руках. Все мы, люди, одинаковы: радуемся-радуемся и в слезы. И чем раньше приходит время плача, тем оно лучше.

Лида (*про себя*). Да чтоб еще раз я оставила детей с этой старухой! (*Матери.*) Аби, ты сварила что-нибудь? А то я никак не могла там на пастбище еду приготовить.

Мать. Валя там что-то готовила в летней кухне.

Лида. На Валю надеяться... Пусть она сначала бурду для свиной готовить научится.

Мать. Не говори так, сноха.

Жучка валяется в траве.

И Валя не без дела... Эх, Жучка, не зима ведь нынче, лето. Да что это такое со всеми происходит? Все шумите, шумите, как старая гармонь.

Йоссах. Ну, я пошел, Ольгаги. Ты приходи через полчаса, ладно? Пока Васса не пришла, отдам тебе то, что обещал. (*Уходит.*)

Лида. Что он в нашем саду шляется?! Опять сто грамм, пожалста, да?

Пауза.

Мать. Я помню его совсем ребенком. Маленьким-маленьким, чуть ли не грудным. Белобрысенький такой мальчонка, с голубыми глазами. Мы, значит, с матерью его, с Устинито, задами огородов к околице направились. Обе в слезах, за руку распрощались друг с дружкой. Устини, сказала я ей, может, не уедешь, останешься, а? Нет, Ольга, говорит она, надо ехать, уж прости ты меня, я должна еще одно слово тебе сказать, чтоб душу свою пред тобой и пред богом очистить. Теперь я все равно в Сибирь уезжаю, к дяде, больше мы с тобой никогда не увидимся, потому прошу у тебя прощения: прости меня, Ольга... Что ты мелешь, говорю, Устини, о чем ты, о каком прощении? Ольга, говорит она, ведь Йоссах-то мой не от Миккула, а от Ягура твоего. И пошла без оглядки. А я так и застыла у околицы, долго-долго стояла, пока глаза мои не перестали различать ее в бескрайней дали поля...

Лида. Аби, так Йоссах и Васили, выходит, братья?

Мать. Потом, лет через пятнадцать, узнали в деревне, что Устини померла. Где-то там же, в Сибири, далеко под Тю-

меняю. После этого вскоре Йоссех приехал в деревню на лето, да тут и остался. Домишко дядя ему поставил. На трактор он сел. О матери — ни слова. И я молчу о том, как с матерью его когда-то распрощались. Сам-то он, небось, не помнит, маленький был. Да не только ему, никому ни слова не говорила. Тебе первой говорю. Ты, пожалуйста, никому не трезвонь, сноха, пусть между нами это останется. И тебе бы не сказала — душа устала. Надо, чтобы хоть один человек после моей смерти знал. Пусть Васили знает, Йоссех пусть знает, кто его отец.

Лида. Аби, а отец, Ягур, значит, изменял тебе?

Мать. Глазами своими не видела. Но он никогда и не любил меня. Как только вошла в его дом, так сразу и услышала, что у них с Устини что-то навроде любви было. Да ведь и то — вместе росли... Но я рассудила так: то, что в молодости было, в молодости и осталось. И то, что было до меня, меня почти не волновало. Мне хватало того, что он был мой, когда бывал рядом. Помню, на войну уходил с котомкой на плече, долго-долго глядел на меня мокрыми глазами и вдруг сказал: Ольга, схожу-ка я попрощаюсь с Устини... Котомку-то оставь, говорю ему. Нет, Ольга, говорит, я так хочу распрощаться с ней, с котомкой на плече... Ага, догадалась я, на смертное поле войны ты хочешь уйти из ее дома, чтоб в ее доме остался твой последний вздох. Но ни звука, ни слова вслух не издала... А Миккул-то, муж Устини, за три дня до этого на фронт ушел...

Лида. Аби, я, наверное, уйду отсюда... из вашего дома...

Мать. Куда?

Лида. Думаю, мне надо уйти из этого дома.

Мать. Уйти?

Лида. Чем сухари грызть, думая, что это тоже хлеб, уж как-нибудь вовсе без хлеба обойдусь. И без любви тоже.

Мать. Сноха, ты... о Вассе?

Лида. И ты знаешь, аби?

Мать. Васили как-то плакался...

Лида. Плакался? О чем?

Мать. О детях... И Йоссеха ему жалко.

Лида. Аби, а что же мне делать?

Мать. Детишек растить.

Лида. Я о Вассе, аби...

Мать. Силой не остановишь. Раз пришло время — значит, ничего не поделаешь.

Лида молчит.

Такой это зверь — душа. Ни силой, ни словами ее не уговоришь.

Лида. И все забывается, аби?

Мать. Не забывается, в прошлом остается.

Лида. Я больше не могу терпеть, аби! Я не позволю ей насмеяться надо мной!

Мать. Ты уже не юная, сноха моя, за тридцать перешагнула. Пора тебе понять: коли он разлюбил тебя, то в этом виновата ты сама. Значит, перестала ему нравиться. Не надо винить мужчин, они ведь точно малые дети, а детям все очень скоро надоедает.

Лида. Так ему тоже надоело?

Мать. Ты — мать, сноха.

Лида. Да я их.. обоих... прямо на месте!.. Да чтоб еще увидела!..

Мать. А ты не смотри, если не хочешь видеть.

Лида. У меня душа на пределе, аби. Я как ни стараюсь для него, чтоб только ему хорошо было, лишь бы только он счастлив был. А я что, не человек? Не женщина? Что я, вишенка в саду?

Мать. Не принуждай судьбу, сноха моя. Ягодку всегда едят спелую, да только быстро она приедается.

Лида. Но ведь ягоду и сушат.

Мать. Сушат, затем — кипятят. Бросают в воду и кипятят.

Лида. И той водой углы в доме моют?

Мать. Два угла в доме: красный, в котором божий лик висит, и грязный, сор в котором.

Лида. Не обижайся, аби, но я не могу больше жить в этом доме. Одно то, что через плетень, в соседнем доме, Васса, мне не дает покоя. Вчера я нарочно, со злобы, топором обрубила все ветви ежевики по ту сторону плетня, чтобы ничего, ничего у нас с ними не было общего. Да я бы и плетень снесла, чтоб только ничего общего!

Мать. В древности чувашаи один плетень на все селение плели, веками — один плетень, а сейчас каждый старается отгородиться от других, и потому все в одиночку маются. Проходят те времена, когда все вместе работали, вместе пили,

любили вместе. Единую для всех изгородь, единого бога, человека единого любили... Вот так и портится человек: чем больше о себе думает, тем хуже становится.

Лида. Аби, сегодня утром я собрала вещи. Может, к вечеру удастся покинуть этот дом.

Мать. Куда, куда ты хочешь уйти?

Лида. Домой, аби, домой.

Мать. Здесь твой дом, общий у нас с тобой дом...

Лида. И я так думала все десять лет. Но, оказалось, не здесь. Не может мой дом стоять рядом с домом Вассы.

Мать. Куда ты уйдешь? К брату, у которого четверо детей? Да ведь там и без тебя ступить некуда. Сноха моя, ты — женщина, а жизнь на женщине держится.

Лида. Коли третий конец веревки обнаружился, и четвертый где-то там же должен быть. Не может быть у веревки три конца.

Мать. Смотри какая веревка, сноха.

Лида. Аби, ягода она и так сладка, без сахара. А то может засахариться.

Мать. Ягода бывает разная... В разное время спеет. И на вкус разная.

Лида. А разве жизнь и любовь всегда одно и то же?..

Мать. Одно ли, не одно ли...

Ворона жутко каркает где-то совсем рядом, стараясь из последних сил.

Жучка в беспокойстве катается по земле.

Входит Валя.

Валя. Аби!..

Мать (медленно, раздумчиво, печально). Что?

Валя. Аби!..

Мать. Что, Валя? Что случилось?

Валя. Аби!.. Случилось то, что должно было случиться...

Марине рыдает невыносимо горько.

Мать. Что?! Где?! Кто?! Валя. Василии...

Лида начинает горько плакать.

Мать. Ваа-аасии-ли-и-и!..

Действие второе

Тот же сад за домом. Из окна падает свет. Слышно, как в доме часы бьют полночь. Вместе с последним боем часов по саду вихрем пронесится стая духов и ие — злых и добрых, белых, легких. Через некоторое время из дальнего конца сада, граничащего с полем и дугами, к дому приближается Призрак Васили — воплощение его умершей Души. Он крадется тихо, старательно обходя те места, куда падает свет. Подходит к темному окну и всматривается внутрь. Из того же дальнего конца сада показывается другой Призрак, тоже белый. Он подходит к другому окну и тоже начинает всматриваться в глубину дома. В лицах Призраков есть что-то общее. Второй Призрак очень похож на Призрак Васили, но только гораздо старше. Проходит некоторое время, и Призрак Васили внезапно замечает другой Призрак.

Призрак Васили (*твердо*). Ты кто?

Призрак Отца. Ты кто?

Призрак Васили. Кто ты?

Призрак Отца. Кто ты?

Призрак Васили. Что ты тут делаешь?

Призрак Отца. ... тут делаешь...

Призрак Васили. Уходи!

Призрак Отца. ... ходи...

Призрак Васили. Быстрее, быстрее!

Призрак Отца. ... ей-ей...

Призрак Васили. Я тебя!

Призрак Отца. ... тебя...

Призрак Васили. Скажи мне!

Призрак Отца. ... кажи мне...

Призрак Васили. У меня много дел!

Призрак Отца. ... бракодел...

Призрак Васили. Уходи!

Призрак Отца. ... и-и-и...

Призрак Васили. Убирайся!

Призрак Отца. ... айся...

Призрак Васили. Что?

Призрак Отца. ... о-о-о...

Призрак Васили. Ты!

Призрак Отца. ... ы-ы-ы...

Призрак Васили. А ну!

Призрак Отца. ... у-у-у...

Призрак Васили. Тогда я уйду!

Призрак Отца. ... пойду...

Вдруг начинает лаять Жучка, отчего оба Призрака испуганно переглядываются, цепenea на миг. Призрак Отца пытается бежать без оглядки.

Призрак Васили. Стой!

Призрак Отца. ...й-й-й...

Призрак Васили. Не бойся!

Призрак Отца. ...а-а-а...

Призрак Васили. Это — Жучка.

Призрак Отца. ...а-а-а...

Призрак Васили. Дом на замке.

Призрак Отца. ...э-э-э...

Призрак Васили. Эй, Жучок! *(Жучка вроде бы слышит Призрака Васили, но не видит его и потому ищет кругом, бесцельно сверкая глазами.)* Жучка, ну поди сюда! *(Жучка как-то тупо приближается к нему.)* Ну-ка, Жучок, дай лапу! Во-от так... *(Жучка, так и не видя Призрака Васили, начинает трясти лапой, но лапу ее никто не берет в руки, и потому она начинает кусать свою лапу, крутясь на месте. Потом вдруг снова отчаянно лает. В единственном светящемся окне гаснет свет, и через несколько секунд слышится звук открывающейся и закрывающейся двери в сенях. Призрак Отца тотчас замирает. Призрак Васили виновато приглаживает волосы, прихорашивается. Это — Мать.)*

Призрак Отца. ...а?...

Открывается дверь в сад. Жучка стремглав бросается к двери, начинает скулить. Неторопливо появляется Мать.

Мать. Пройдет, пройдет, Жучка...

К ней тотчас подбегает Призрак Отца и обнимает ее за шею.

Ох, как тяжело! Дышать трудно. Близок, близок час смертный... Недолго осталось... И дышать, оказывается, бывает тяжело, и дыхание — труд. Нескончаемый, до самой смерти труд...

Призрак Васили. Аби!

Мать. Глаза как не свои. Уши не свои. Все смешалось, ум за разум зашел. Ничего не хочу видеть, всех хочу обнять.

Призрак Васили. Эй ты, не трожь ее!

Призрак Отца. Отойди!

Призрак Васили. Эй ты, подлец, а ну-ка смойся!

Призрак Отца. Я пришел.

Призрак Васили. Пришел?

Призрак Отца. Домой.

Призрак Васили. Ой-ой!

Призрак Отца. На родину.

Призрак Васили. Льдину.

Мать. Клин журавлиный.

Призрак Отца. А путь долгий.

Призрак Васили. Долгий?

Призрак Отца. Холод. И жизнь. И душа. Ветер.

Призрак Васили. Ветры разные бывают. Ветры воздушные, ветры земли, ветры воды.

Призрак Отца. Ветры души.

Призрак Васили. Ветер — это всегда какие-то изменения в атмосферных слоях, поэтому он дует.

Призрак Отца. Воет.

Призрак Васили. Если б не было ветра, и мельница не молола бы. Не водяная мельница, разумеется.

Призрак Отца. Западный ветер дует на восток, изредка — на юг, и лишь совсем иногда — на север. Вихрем веет. Страшен и чудовищен ветер западный. Душа стынет. Веру колеблет.

Призрак Васили. Флюгер — это такое устройство, которым определяется направление ветра. Флюгер в школьном саду, к примеру. Или же на метеостанции. Сегодня я вам, ребятки, расскажу о цвете флюгера, а на следующем уроке, в день крови — в среду, о пользе и вреде его. Флюгер обычно бывает того цвета, в какой его окрашивают.

Призрак Отца. Уходя из дому, мне казалось, что дом без меня опустеет. Более того, у меня было такое чувство, будто я нагишом остался. Без дома. И без нутра своего. И без тепла душевного, без очага души. Все как бы стало общим. До сих пор я никогда не плакал от тоски по белому свету. Оттого, наверное, что меня всегда манила чистота. По правде говоря, и в грязном пространстве встречаются иногда белые, по-чувашски чистые площади. И когда я взял в руки оружие, почудилось мне, будто собственными руками отрезал я себе голову и выбросил ее сразу на трех улицах.

Призрак Васили. Как правило, флюгер устанавливается на длинном столбе, на самом его конце. Столб может качаться на ветру, в таком случае директор школы бежит в мастерскую, к Гури Степанчу... Иванов, перестань! К Гури Степанчу, я сказал. Кузнецов, кол. Кстати, у тебя одна из самых распространенных в нашем регионе русских фамилий,

двоечник. Вот так-то вот, ребятки. А ну-ка быстро к доске все! Откройте глаза! Не храпеты! Хватит спать, чувашлята! Просыпаться пора, ребята! Не вертись ты, флюгер! Не дуй, ветер! Да, ветер...

Призрак Отца. Нас окружили. Сжали в кольцо. Майн. Кампф. Хайль! Руки — вверх. Голову — вниз. Овчарки вокруг — гав-гав! Крышка. Все. Обессиленный. Слепший. Осипший. Пепел. И — зола. Вечерами. Днями. По утрам. По вечерам. Запах. Человеческий запах. Воздух глазаст. Умирай! Сдохни! Да сдох бы! О-о, не-ет! Сдери сначала шкуру свою. Выдери волосы свои. Вырви язык. А если не хочешь или не можешь — сами вырвут. В теле твоём ищут источник силы и мужества человека, словно крупицу золота в песке. Удивляются: откуда, как? Ты — молчишь. Когда молчишь, легче терпеть. Сжимаешь зубы — и ни слова. И мысли твои молчат. И глаза. И чувства. Ты — один. Нет-нет, груды костей вокруг тебя, руки и ноги, пальцы и головы, позвонки; волосы дыбом встают, и запах вокруг, запах горящего человеческого тела. Люди — вокруг, люди, никогда не думавшие, что им суждено когда-нибудь встретиться. И ты — человек, и ты так же думал. Думал, что все пройдет, как свет звезды. Но нет, это не свет звезды, оказывается. Нет света, нет и звезд. Все в одном слове, в одном зловещем звоне, в одной комке страха и ужаса — фашизм. И — концлагерь. Концлагерь — мир. Мир — концлагерь. И прошлое, и будущее этого мира. И никто не сможет удалиться в другой мир. Там о смерти не думаешь. Там вообще ни о чем не думаешь. И голод не всегда мучителен, лишь в редкие минуты. Но более всего там думаешь о чистом свежем белье...

Призрак Васили. Западный ветер приносит к нам с Атлантики теплую влагу, и вместе с ней на нашу землю приходит тихий теплый дождь, дождь хлеба и калача...

Призрак Отца. Ты кто? — Я-то? Ну, я. — Нет, душа твоя? — А-а, нет, нет, не подлец я. Я Родину не предавал. Для меня нет ничего дороже Родины. Я сам издалека, чувашская у меня душа. — Нет, я про другую твою душу спрашиваю. — Но у меня одна душа. Од-на. — А чего ты больше всего хочешь? Вот сейчас, к примеру? — Сейчас? Если честно, как бы это сказать-то, сны смотрю, что ли, о чистом белье. Да-да, именно об этом. — И только белье тебе снится? — Да нет же, вовсе

не белье мне снится, а жена да детки любимые, Валя с Васили. И еще Устини. — А кто это Устини? — Устини-то? Да как сказать: жена не жена, любимая не любимая. — Любовница, что ли? — Да нет, не любовница, а фаворитка она моя. — Какая разница, фаворитка или любовница. — О нет, суть-то одна, конечно, а вот разница существенная. — И кого же ты больше любишь? — Кого? Да я всех их люблю. — Значит, любовью полнится душа твоя? — Да, любовью. — Молодец, Ягур, молодец, Василич. — А ты-то сам кто будешь, что-то не узнал я тебя, спрашиваю я у того вопрошающего голоса, едва слышимого из-под казармы. А все вокруг спят. Или вот как я дремлют. Словно вымерли. Ни звука. А ты-то сам кто будешь, еще раз спрашиваю я. — Я-то? Я совесть твоя, говорит мне полночный писк, на мозоль похожий...

Со стуком падает на землю яблоко.

Мать. Да пусть падает. Ведь осень уже: Спас скоро. И наступит время собирать яблоки.

Мать говорит сама с собой, не замечая, не чувствуя Призраков, но они думают, что она говорит с ними, и потому пытаются следовать ее логике.

Призрак Отца. Ольга! Ольга! Это ты, твой голос. Это ты всегда так говорила в Спас. Ольга!

Мать. Что это со мной, сумбур какой-то в голове? Чем прогневила тебя, господи?

Призрак Васили. Аби, аби!..

Мать. Голоса какие-то... Никак не могу поверить, что его больше нет. Не могу. Только вот был — и нет, похоронили беднягу. И теперь его больше нет. И не будет. Не могу поверить в это, нет, нет. И отца вот так вот проводила, а оказалось — в пустоту. Получила пару писем поначалу, а потом — долгое-долгое молчание. Ни весточки. И лишь позже сообщили: пропал без вести. Где, каким образом — ни слова. Ничего не известно. Словно иголка, брошенная в стог сена. Знаю, в этом же мире где-то, а где — попробуй разыщи.

Призрак Васили. Аби!.. Я жив!.. Это я, аби. Ты разве не слышишь меня, аби? Не видишь разве? Вот я. Я жив. Я по-другому жив, аби. Жив я!

Мать. Чей это голос? Васили, души твоей?

Призрак Васили. Это мой голос, аби.

Мать. Твой? *(И вдруг начинает казаться, что Мать слышит, видит, понимает его. Она словно готова перешагнуть рубеж иного мира.)* И вправду это ты, Васили? Ты в самом деле жив? *(Она видит их обоих, но все же недопонимает всего. Обнимает Васили. Потом долго, с удивлением рассматривает Призрак Отца.)* Откуда ты его привел, Васили?

Призрак Васили. Кого?

Мать. Вот этого.

Призрак Васили. А кто он такой?

Мать *(Призраку Отца)*. Эй, кто ты такой?

Призрак Васили. Эй, кто ты такой, что молчишь?

Призрак Отца *(подходит к Матери, становится на колени, со слезами на глазах начинает просить прощения)*. Эх, Ольга, Ольга... Прости меня, Ольга... Вина моя пред тобою тяжка... Прости меня, согрей меня, холодно мне...

Мать. Где ты ходил до сих пор?

Призрак Отца. Прости, Ольга. Я всегда помнил о тебе. Я жил воспоминаниями о тебе.

Мать. Зачем вернулся?

Призрак Отца. Судьба вернула.

Мать. Судьба? Судьба, говоришь? А сам ты не хотел? Бесовестный!

Призрак Васили. Аби, не разговаривай с ним. Он — доцент. С кафедры общественных наук. Не разговаривай с ним, аби. Не смотри на него. Он — атеист.

Мать. Васили, ты знаешь, кто он такой?

Призрак Васили. Я — страж, аби. Я страж нашего деревенского мазара. Кого хочу, того и пускаю. А кому хочется уходить, пускай уходит этой ночью, я разрешаю. Этой ночью я настезь распахнул врата. Этой ночью все свободны.

Мать. Ты страж?

Призрак Васили. Да.

Мать. Васили, пошли домой. Есть хочешь?

Призрак Васили. После смерти не едят, аби. К тому же там, в доме, есть призрак Вассы.

Мать. Не говори глупостей.

Призрак Васили. Это правда. Я Вассу любил, аби.

Мать. А жену, Лиду, не любил разве?

Призрак Васили. Нет, только обнимал. А любил Вассу.

Мать. Где ты, Васили?

Призрак Васили. Я здесь, пред тобой.

Мать. А кто это за тобой?

Призрак Васили. Это мои глаза.

Мать. Взгляни-ка на того негодяя, Васили: кто он такой?

Призрак Васили. Доцент. С кафедры общественных наук.

Мать. Он — твой отец. Пропавший без вести отец.

Призрак Васили. Эй, ты действительно мой отец, что ли?

Мать. Ягур, не отрекайся.

Призрак Отца. Я не отрекаюсь. Да, я твой отец.

Призрак Васили. Кто?

Призрак Отца. Мистер Рейн Адамс.

Призрак Васили. Кто-кто?

Призрак Отца. Мистер Рейн Адамс. Рейн Адамс.

Призрак Васили. Что ты делаешь в нашем саду?

Призрак Отца. Не бойся, я никогда не служил ни в НКВД, ни в каких-либо других органах. Пойми, я твой отец.

Призрак Васили. Мой отец не может быть мистером. Мой отец должен быть товарищем.

Призрак Отца. Твой отец с 47-го года мистер Рейн Адамс. С 47-го года.

Призрак Васили. Значит, с 47-го года ты мне уже не отец.

Призрак Отца. Но почему?

Призрак Васили. Потому что с 47-го года ты — мистер.

Призрак Отца. Но и мистер может быть отцом...

Призрак Васили. Ну и пусть.

Призрак Отца. А ты неужто не можешь называть меня отцом?

Призрак Васили. Немедленно уходи из нашего сада!

Призрак Отца. Сэр, мистер Рейн Адамс просит у вас прощения. Ай эм сорри.

Призрак Васили. Уходи! Уходи к себе домой!

Призрак Отца. Ай эм эт хо-ум.

Призрак Васили. Доцент. С кафедры общественных наук...

Призрак Отца. Ноу-ноу. С общественных наук — тем паче ноу.

Призрак Васили. Цыпленок!

Призрак Отца. Ошибаетесь. (Словно бы представляясь.)

Исполняющий обязанности представителя корпорации «Бруклер энд Пи» мистер Рейн Адамс. Исполняющий обязанности представителя корпорации «Бруклер энд Пи» мистер Рейн Адамс. Исполняющий обязанности представителя корпорации «Бруклер энд Пи» мистер Рейн Адамс.

Призрак Васили. Дурак.

Призрак Отца. Фулишнэсс.

Призрак Васили. Что-что?

Призрак Отца. Я не о тебе. Вообще, все — фулишнэсс.

Призрак Васили. Скажи-ка честно, ты действительно мой отец?

Призрак Отца. Богом клянусь.

Призрак Васили. В Бога не веруем.

Призрак Отца. В кого же тогда веруете?

Призрак Васили. До сих пор, кроме будущего, ни во что не верили. Теперь вот верую в смерть, в ее силу и бессилие.

Призрак Отца. Жаль.

Призрак Васили. Некому было учить нас вере.

Призрак Отца. Может, тогда ты научился шляться по барам и кафе?

Призрак Васили. Отец, я никогда никуда дальше Чебоксар не ездил. А то, что в Праге в 68-м кашу ел, это не в счет. Это не по своей воле.

Призрак Отца. О-о, ай эм сорри! Я немножко забываюсь.

Призрак Васили. За что ты борешься, отец?

Призрак Отца. За то, чтобы голодать.

Призрак Васили. Долго нельзя. Самое большее — сорок дней.

Призрак Отца. Самое меньшее — сорок дней.

Призрак Васили. Ты откуда сейчас, отец?

Призрак Отца. Из Австралии.

Призрак Васили. До сегодняшнего дня ты хоть раз видел меня, отец?

Призрак Отца. Видел, на фронте. Потом в лагере постоянно видел.

Призрак Васили. Не ври, я никогда не был ни на фронте, ни в лагере, даже в пионерском.

Призрак Отца. В моих снах ты всегда был со мной.

- Призрак Васили. Отец, ты и вправду мне отец?
- Призрак Отца. Разумеется, я твой отец, а ты мой сын.
- Призрак Васили. Я не могу поверить в это! Ведь у меня всю жизнь не было отца.
- Призрак Отца. Я всегда был. Я всегда думал о тебе.
- Призрак Васили. Но почему ты решил вернуться через сорок лет?
- Призрак Отца. Увидеть. Увидеть своими глазами.
- Призрак Васили. Кого? Что?
- Призрак Отца. Тебя. Валю. Мать. Родничок за садом. Плетень. Ежевику вдоль него...
- Призрак Васили. Зачем тебе видеть все это? Меня, аби?.. Родничок за садом, плетень, ежевику?..
- Призрак Отца. Просто так, мой сын, безо всякого смысла. Просто захотелось увидеть.
- Призрак Васили. Отец, а какое у тебя самое любимое растение?
- Призрак Отца. Почему ты об этом спрашиваешь?
- Призрак Васили. По привычке, я ведь учитель биологии.
- Призрак Отца. Ну, тогда отвечу: ежевика. Не та, что растет отдельными кустами, а которая тянется вдоль плетня...
- Призрак Васили. А ведь ежевика колетя...
- Призрак Отца. Все равно.
- Призрак Васили. Отец, я никогда не могу поверить, что ты мистер. Ты не похож на империалиста. Ты не страшен.
- Призрак Отца. Я никогда не надевал шляпу. *(Пауза.)* Что ты оставил после себя на земле, сынок?
- Призрак Васили. Каменный дом. Сразу же после института пришла мне эта мысль о доме. С помощью сестры за три года отстроили. Закончили ровно за три дня до моей смерти, как раз было время сенокоса.
- Призрак Отца. Так тебе жить да жить надо было.
- Призрак Васили. Надоело.
- Призрак Отца. Жить?
- Призрак Васили. Строиться.
- Призрак Отца. Что ж тогда строился-то?
- Призрак Васили. Все строятся.

Призрак Отца. А зачем?

Призрак Васили. Потому что разрушать тоже надоедает.

Призрак Отца. И ты тоже разрушал?

Призрак Васили. Да, я разрушал мир.

Призрак Отца. Весь этот мир?

Призрак Васили. Нет, не весь. Свой мир.

Призрак Отца. А что это такое — твой мир?

Призрак Васили. Мой мир — это мой дом.

Призрак Отца. Баловник ты, однако.

Призрак Васили. Не я один, все.

Призрак Отца. В этом ты прав — все... Но особенно — я.

Призрак Васили. Ты?

Призрак Отца. Да, я. В лагере познакомился с Салли. Каким-то чудом она высвободила меня из лагеря. Отправились в Германию. Отправили, точнее сказать. Потом — свои, советские. Я радуюсь, от всего сердца радуюсь, а Салли рыдает: тебя там уничтожат, расстреляют. И я плачу. Дни и ночи думаю: а может, и вправду расстреляют? Боюсь, страшно. Салли говорит: давай в Австралию уедем, Ягуар, я тебя люблю. Айда, говорю. Ладно хоть американская эта зона, говорит Салли. Я молчу. Ягуар, радуйся, говорит Салли, хорошо ведь, что американцы оккупировали этот район? Или ты не рад? Рад, рад, говорю я и, не сдержавшись, начинаю громко плакать. Долго-долго смотрит на меня Салли и говорит: не плачь, Ягуар, почему ты плачешь? Потому, говорю, потому, что все пропало, пропади оно пропадом! Все-все! Душа у самого словно заарканенная, сердце стреноженное. Вот такая вот она штукавина, жизнь. Хороша земля Австралия...

Призрак Васили. А домой не хотелось, отец?

Призрак Отца. Моим домом был дом Салли.

Призрак Васили. А кто она такая?

Призрак Отца. Немка.

Призрак Васили. И ты ее любил?

Призрак Отца. Наверное, любил.

Призрак Васили. Ах ты, подлец! Я от всего сердца ненавидел немцев, считая, что они уничтожили отца. И потому на уроках немецкого нарочно получал двойки.

Призрак Отца. Женщина она всегда, при любых обстоя-

ятельствах в первую очередь для мужчины женщина. Какой бы национальности ни была. Твоя женщина — это ты сам.

Молчание. Скулит Жучка, ластясь к Матери. Мать гладит ее.

Мать. Чистая, чистая ты душа, Жучка.

Призрак Отца. Женщина она, сынок, собачонка, маленькая-маленькая собачонка, как твоя собственная душа.

Мать. Сам-то ты кто, Ягур, чтоб такое говорить?

Призрак Отца. Прости, Ольга. Я вернулся к тебе. Раньше не смог. Я вернулся к тебе сегодня. Я хочу быть с тобой. Я хочу взять тебя с собой.

Мать. Коли суждено душе моей гореть в огне, то пусть это будет священный огонь. Никогда не пойду под черный дождь.

Призрак Отца. Я тоже чуваш, Ольга...

Мать. Мало быть чувашом. Надо быть человеком.

Призрак Отца. После смерти — каждый из нас человек. Смерть всех наряжает в одну одежду. В белую.

Мать. Чаше — в черную.

Призрак Отца. Ольга, я застрелился в своем офисе средь бела дня. Нацелил пистолет в висок и спустил курок. Потому что почувствовал, что скоро мы встретимся. Теперь вечная жизнь пред нами. Вечность и блаженство.

Мать. Нет, Ягур, не пойду я с тобой. Я пойду с Васили, на наш деревенский мазар.

Призрак Васили. Не надо, аби.

Мать. Почему, Васили? Там все односельчане, наверно?

Призрак Васили. Как же Радик с Марине?

Мать. Не без рук мир-то, не без сердца. И теплоты, и холода достаточно.

Призрак Васили. Но ведь жалко...

Мать. А как иначе-то, ведь кровинушки твои.

Призрак Васили. Аби, почему не отпели меня?

Мать. Сказала, без молитвы нельзя, да Валя воспротивилась, чтоб меня, говорит, из школы поперли?

Призрак Васили. Так ты идешь со мной, аби?

Мать. Иду, да только попозже. Ты беги давай. Только не забудь вернуться за мной.

Призрак Васили. Я страж, я спешу на стражу. В моих руках сегодня века. Этой ночью я пасу столетья.

Мать. Иди, иди. Я тебя жду завтра вечером, ладно?

Призрак Васили. Пока, аби.

Призрак Отца. Васили, сынок, взгляни на мать, она вся белая-белая, как мы с тобой.

Мать. Я-то? И вправду, белая...

Призрак Отца. Идем к плетню, Ольга. Ежевикой угостишь.

Мать. Ежевика — для живых. Для вас, мертвецов, в лесу растет крушина ломкая — по-нашему черемуха собачья.

Призрак Отца. Тогда пошли в лес.

Мать. Разве в Австралии нет лесов?

Призрак Отца. Там нет тебя.

Призрак Васили. Вы подождите тут, я сейчас сбегаю.
(Быстро уходит.)

Призрак Отца. Умоляю тебя, Ольга.

Мать. Не умоляй, не надо.

Призрак Отца. Ольга!

Мать. Иди, Ягур, иди. Вон, видишь, заря занимается. Время тебе.

Призрак Отца. Когда здесь заря, в Австралии — сумерки.

Мать. Иди, Ягур, иди. День наступает. Новый день.

Кукарекает петух.

Призрак Отца. От всей души молю тебя, Ольга!

Мать. Не могу разлучиться с родной землей. Иди, Ягур.

Призрак Отца. Не соберешь ли тогда мне на дорогу горсть ежевики, Ольга?

Мать. Почему бы и не собрать?

Призрак Отца. Спасибо тебе, Ольга. Спасибо.

Мать. Что ты, Ягур, как-никак, мы с тобой были мужем и женой...

Призрак Отца. Может, и были, Ольга, только я ничего не помню.

Снова кукарекает петух, потом еще и еще раз.

Солнце силится взойти из недр земли. В ногах солнца — Жучка.

Мать. Солнышко... Щекочет, да?.. Ну да, щекочет, щекочет... Да пусть щекочет... Да мы сами, видать, уж больно щекотливые... Ну да, щекотливые...

То же самое место в саду, за домом. Окна в доме распахнуты настежь. Вдоль дома тянется плетень, на нем — ежевика. Голоса в доме.

Голос Вали. Что тебе здесь надо?

Голос Лиды. А тебе какое дело?

Голос Вали. Уходи сейчас же!

Голос Лиды. Что ты на меня кричишь?!

Голос Вали. Это не твой дом!

Голос Лиды. И не твой.

Голос Вали. Я здесь родилась.

Голос Лиды. Дом, в котором ты родилась, давно в печке сгорел.

Голос Вали. Все равно я здесь родилась, а ты — бродяжка бездомная...

Голос Лиды. Этот дом поставил Василий, это — его дом.

Голос Вали. Не трогай мертвых. Собери свои тряпки и уходи.

Голос Лиды. Радик теперь хозяин этого дома. Все здесь — его. Все тут для него и для Марине.

Голос Вали. А тебе что надо? Каменный дом, да? Сад, да? Что тебе нужно у нас?

Молчание.

Почему ты не уходишь? Что ты потеряла тут?

Голос Лиды. Ничего не потеряла. А только нашла. Все нашла.

Голос Вали. Шлюха! Ты не женщина, даже не человек, а зверь! Людоедка!

Голос Лиды. Поточнее выражайся, домоедка.

Голос Вали. Скажи мне, пожалуйста, если бы не было вот этого каменного дома, ты бы все равно осталась тут? Нет-нет, я не с умыслом, не со злостью спрашиваю. Мне просто по-человечески интересно знать.

Голос Лиды. А ты бы гнала меня отсюда, если бы не было этого каменного дома?

Голос Вали. Я бы гнала тебя даже из мертвой пустыни.

Голос Лиды. С того места, где вода, конечно?

Голос Вали. Да хоть откуда!

Голос Лиды. Почему ты так ненавидишь меня?

Голос Вали. А ты меня очень любишь?

Голос Лиды. Мне абсолютно все равно.

Голос Вали. Кстати сказать, во втором классе проходят, чем человек от животного отличается. Человеку все же при-
суще сознание, а у животного — только инстинкты.

Голос Лиды. Нашла дуру!

Голос Вали. Замолчи! Уходи из моего дома!

Голос Лиды. Перестань! Тебе нельзя нервничать. Ты —
учительница. А потом, вообще пора уж о здоровье подумать.
Все приличные люди, перешагивая четвертый десяток, на-
чинают заботиться о своем здоровье. А еще, если хочешь
знать, незамужним женщинам, которые замуж собираются,
совершенно не рекомендуется волноваться, говорят, на ме-
сячных это сказывается...

Звуки схватки.

Голос Вали. Я тебя!.. Вот тебе!.. На!..

Голос Лиды. Змея!

Голос Вали. Хочешь, чтоб я у себя дома сучек разводи-
ла?! Прочь отсюда, сука!

Голос Лиды. А еще интеллигентка! Да разве ты женщи-
на? Ты же мужского запаха не нюхала!

Голос Вали. Убирайся! Убью! Убирайся немедленно!..

Из дальнего конца сада медленно идет Мать, садится на табуретку возле дома.

Ты, ты во всем виновата! Ты убила Васили! День и ночь про-
клинала его, чтобы сдох! Тебе одной хотелось жить и на-
слаждаться в этом большом доме! Дьявол, дьявол ты! Ты, ты
виновата! Ты погубила Васили!

Голос Лиды (*захлебываясь криком и слезами*). Ах, Валя,
что ты такое говоришь? Как у тебя язык поворачивается?!

Мать плачет.

Голос Вали. Слезами хочешь разжалобить? Плачь, плачь,
глаза протрешь заодно.

Слышно, как со злостью захлопывается дверь в сенях. В саду появляется Валя.
Разгоряченная схваткой, она сначала не замечает Мать, широкими шагами
направляется в конец сада, граничащий с лугами. Потом вдруг оборачивается
и видит Мать. Мать молчит.

Валя (*оправдываясь*). Пойми, аби, ей теперь нечего у нас
делать. Пусть убирается восвояси. Не я же убила Васили, не я
виновата, что его больше нет. Он же теперь не воскреснет.

Значит, судьба его такая. А более судьбы она, она убила его! Жить с чужой женщиной, которая его совершенно не понимала, — это не у очага руки греть. Она должна уйти отсюда. Потом, сама знаешь, аби, Васили не один строил дом. И моя доля в нем немалая.

Мать молчит.

Аби, ты не вмешивайся, ладно? Мы сами разберемся. Если сейчас не поторопиться, потом может стать поздно...

Слышно, как в доме плачет Лида.

И мне ведь жить хочется, аби... Я твоя родная дочь.

Мать. Голова гудит, точно лес в бурю. Ничего не вижу. Вокруг черная тьма. Она пожирает последний свет в глазах. Но зачем?...

Валя. Аби, я решила...

Мать. Третий день подряд дождь, земля размокла, воздух посвежел...

Валя. Не ругай меня, аби. Жизнь так велит.

Мать. И луна иссякла, и солнце не светит. *(Медленно поднимается и уходит в дальний конец сада.)*

Валя. Что это с ней? Или от старости она заговариваться стала?

С диким криком пролетает Ворона.

Как свежевспаханная гряда, и ни единого следа на ней.

Прибегает Жучка, начинает ластиться к Вале.

Ого, не замечала доселе, какая ты пушистая, оказывается. Шапка из тебя славная получится. *(Жучка отбегают от нее на некоторое время, затем возвращается с потрепанной книжкой в зубах.)* Что это такое? ...литическа... ко...номи... кономи... Что ты визжишь, собачонка? Спариться хочешь? Осень скоро. Что же тогда все это значит? Бред собачий. Весной или в лучшем случае в конце зимы надо спариваться. По закону природы.

В сад выходит Радик.

Радик. Вальягу, Вальягу! Тетя Валя!

Валя. Чего тебе, Радик?

Радик. Вальягу, мама плачет и плачет, ни за что не пейестает. Я спйашиваю у нее: почему ты плачешь, мама, а она

мне говойит: ах, Йадик, и ни слова больше. Скажи-ка ей, Вальагу, чтоб пейестала, а то не выношу слез. Мне самому хочется плакать. А когда йевешь, голова болит.

Валя. Да пусть плачет, Радик, пусть. Слезами только умотется. И чистая-чистая станет.

Радик. Почему ты так говойишь, Вальагу, она ведь и так чистая?

Валя. Грязь разная бывает. Бывает и чистая на вид грязь.

Радик. Вальагу, где мамак? Ты ее не видела?

Валя. Мамак? Во-он идет. *(Показывает в конец сада.)* Ох, как вы все мне надоели. Всю душу вымотали!

Радик бежит за Матерью.

Подохнешь от вашего галдежа. Никакого порядка! Сплошная наглость. И глупость беспредельная. Точно поленья на дворе. Поленья-голодранцы.

Йоссах *(по ту сторону плетня, из своего сада)*. Э-эй, Ольга-ги-и!..

Валя. Нет ее. На луга пошла, за теленком.

Йоссах. Это ты, Валентина Егоровна?

Валя. Я, Йоссах, я.

Йоссах *(декламируя)*. Ты стоишь предо мной за плетнем, я гляжу на тебя, словно в душу свою... Салям алейкум, Валентина Егоровна!

Валя. Чему радуешься, Йоссах?

Йоссах. Вот гляжу на тебя — и радуюсь. Гляжу на себя — и радуюсь. А чего ж не радоваться-то?

Валя. Словно женился три дня назад. И не стыдно тебе, Йоссах?

Йоссах. Кому какое до меня дело? Может, я от любви свихнулся? От любви к Вассе? Почему свихнулся? Потому что люблю ее. Теперь, когда ее нет, люблю пуше прежнего. Она сама покинула меня, без меня, без моей помощи, без моего совета и любви. Жаль, сына не родила. Ох, как люблю я Вассу!..

Валя. Йоссах, у тебя трезвые дни бывают?

Йоссах. Милая моя учительница, учительница первая моя, банный день — трезвый день. Ни грамма, ни-ни.

Валя. Раньше ты другим был, Йоссах.

Йоссах. В колыбели-то?

Валя. В молодости.

Йоссеx. Сейчас не молод разве?

Валя. Бросай пить, Йоссеx. Ты же хороший человек, когда не пьешь.

Йоссеx. Ладно, ладно, я могу уйти. Даже из своего сада.

Валя. Брат уехал, что ли?

Йоссеx. Для него мои двери всегда распахнуты настежь. Как придет, так и уедет. Счастливого пути, товарищ милиционер! До самой до Москвы скатертью тебе дорожка, а то там без тебя разграбят всю столицу, братан мой дорогой. Или того хуже — взорвут. Но только, пожалуйста, сними ты эту свою форму, хотя бы в деревне. И усы сбрей, пожалуйста. А то гребешок у тебя уж слишком большим кажется. Ну просто страшно большим!

Валя. Ты что, поругался с ним?

Йоссеx. Я-то? С милицией не связываюсь, не сдурел еще, законы знаю малость, хоть и пью, конечно.

Валя. Что с тобой, Йоссеx? Почему ты так дурачишься?

Йоссеx. Раз скалятся зубы, чего ж их не скалить?

Валя. Ах, Йоссеx, Йоссеx, какой ты чистый мальчонка был! Помнишь, как мы с тобой однажды до зари у нашей калитки простояли? Как ты все целоваться лез?

Йоссеx. Я давно уже ничего не помню. Я давно все позабыл, Валентина Егоровна. Да и, простите, вспоминать не хочу.

Йоссеx уходит. Валя тоже уходит во двор.

* * *

Тот же сад, то же самое место за домом. Вечер.

Йоссеx — по ту сторону плетня, по эту — Лида.

Лида. Не случайно все это, Йоссеx. Я ни за что не поверю, что случайно. Такие вещи случайными не бывают.

Йоссеx. Лида, ты видела их вместе когда-нибудь, ну... за этим самым?..

Лида. Нет. Но чувствовала. Конечно, при желании могла бы и увидеть, но притворялась, будто ничего не знаю, не чувствую. Так легче, понимаешь. Лучше уж сама себя буду обманывать, нежели кто-то другой.

Йоссеx. А я застал их как-то за любовью. В бане. С утра я отправился в лес дрова рубить для школы, но по дороге у

нас сломалась машина, и мы вернулись обратно. На двери замок, Вассы нет. Ну я, весь замерзший, бегом в баню — бражка там у нас стояла в бидоне. Пришел, а там они... Голые оба... Я из бани без оглядки... Никогда ни слова об этом Вассе — делаю вид, будто ничего не знаю... Не видел их будто... Или как во сне: видел да позабыл тотчас же... А когда с Василии здоровались, так оба опускали глаза... С того дня я ни разу не прикоснулся к Вассе. Повернемся спиной друг к другу осторожно так, чтоб ни одного лишнего движения, — и лежим, лежим, смотрим, кто в потолок, кто в стенку...

Лида. Со мной он всегда был холоден и слаб. Руки у него, помню, были как лед. Подвинься, говорю, поближе, дай руки согрею, а он виновато так улыбается и говорит: ты не смотри, что руки у меня холодные, зато сердце горячее...

Йоссах. А я напиваюсь и кричу: Васса, водки давай! Ах, Йоссах, говорит она, ну почему ты пьешь? А я пью, чтоб тебе хорошо было, разве не знаешь, кричу во все горло. Чем же мне хорошо-то должно быть от твоей пьянки, спрашивает Васса. А тем, говорю, что покамест я пью, ты можешь делать все что угодно и любить можешь кого угодно! Это я так, нарочно, с издевкой. А у самого душа вся израненная, волком хочется выть! Она сразу в слезы и говорит: ах, Йоссах, ну почему ты так возненавидел меня? Да я люблю тебя, дура, всем своим существом люблю, иль ты не чувствуешь этого? Не чувствуешь, как люблю твою холодную каменную спину? — кричу я ей... Йоссах, ну если я тебе опротивела, что ж ты не выгонишь меня из дому, говорит она. И я не могу сдержаться, ударяюсь в слезы... Господи, как я хотел в тот день пойти вместе с ней в луга! Нет ведь, не взяла... Да если бы я знал...

Лида. Говорят, с ними были жена Илли и Синук. Василии с Вассой пошли дальше, а эти остались у черемухи. Ждем-ждем, говорят, а их все нет да нет. Когда, говорят, подошли к обрыву поближе, они уж под землей лежали. Видимо, спустились вниз, к воде, чтоб искупаться, тут берег и обвалился на них... А одежды их, говорят, наверху сложенные лежат. И плачут... Да-да, плачут, говорят... Вглядывалась-вглядывалась я вниз-то, говорит жена Илли, у самой в глазах потемнело, в обморок упала. А Синук, говорит, смотрю,

и кажется, будто земля шевелится... А может, и вправду шевелилась. Хотела, говорит, спуститься туда поближе, чтобы разгрести, тут еще, говорит, обвалилось. И два голоса, говорит, из-под земли слышатся, мужской и женский, два плача, две мольбы...

Каркает Ворона. Стрекочет Сорока.

Ты не пей, Йоссах... Нет, пить-то, конечно, пей, а то как жить-то, коли не пить, да только меру знай, Йоссах, ладно?..

Пауза.

Йоссах. Уехали сестры, и дом опустел. Ты не подоишь ли мне корову?

Лида. Ты приди скажи, в какое время...

Йоссах. Вечером, когда стадо пригонят.

Лида. Если не уйду до вечера...

Йоссах. Куда?

Лида. Домой.

Йоссах. Хочешь повидаться, поговорить с братом?

Лида. Навсегда, насовсем...

Йоссах. Что случилось, Лида?

Лида. Ничего.

Йоссах. Тогда почему уходишь?

Лида. Потому что надо уходить.

Йоссах. Гонят, да?

Лида. На это не обращаю внимания.

Йоссах. Не уходи, Лида, прошу тебя, очень прошу, не уходи...

Лида. Ах, Йоссах... *(Плачет.)*

Йоссах *(не зная, что сказать)*. Не плачь, Лида. Не плачь... Не уходи, Лида, не уходи...

Лида. Ах, Йоссах...

Йоссах. Ну что ты, Лида!.. Не плачь, ну не плачь, Лида... На то она и жизнь, что в ней всяко бывает...

Лида. Нет, мне надо уходить, Йоссах... Надо уходить... Прожила десять лет как раба, хватит...

Йоссах. Лида... айда вместе уйдем... в мой дом... Мне, понимаешь, помощник по дому все равно нужен, руки-то женские нужны... и прибираться... и корову подоить... Только, ради бога, не смейся надо мной, Лида... Лида!..

Лида. Ах, Йоссех!.. Йоссех, вы ведь с Васили родные братья, одной крови, у вас один отец, отец Васили...

Йоссех. Знаю. Мать говорила перед смертью...

Лида. Я почему-то всегда жалела тебя, Йоссех... Хотя много раз и ругала тебя. Но слова худого о тебе никогда не говорила. Когда смотрела на тебя, у меня всегда невыносимо начинала болеть душа. Вот почему и прогоняла тебя из нашего дома... Глядя на тебя, я думала о своей судьбе...

Йоссех. Лида! Лида!.. Я брошу пить. Радик и Марине мне не чужие, как родные они мне, я очень люблю их обоих, я буду тосковать по ним...

Крики Сороки и Вороны все сильнее и сильнее, точно они стараются перекричать друг друга.

Из дальнего конца сада прибегает Марине.

Марине *(сквозь слезы)*. Мама!..

Лида. Что, Марине, что?

Марине. Мама, мамак там... лежит...

Лида. Где?.. Как лежит?..

Марине. Там, на лугу... Радик ей говорит: вставай, мамак, домой пойдем, а она ни слова... Потом еле-еле открыла глаза и говорит: ах вы, бедняжки мои милые, да не оставит вас господь, дай бог вам счастья и терпения... И опять закрыла глаза... Радик заплакал, а она говорит: не плачь, Радик, не плачь, все мы приходим и уходим...

Лида бежит в дальний конец сада, туда, где начинаются луга.

Йоссех. Ах, Ольгаги, Ольгаги!.. Не выдержало, стало быть, твое сердце... Вот ведь беда-то какая. И как только земля все это терпит?..

Йоссех тоже бежит на луг.

* * *

Ночь. На плетне сидит Йоссех, плачет.

Йоссех *(напевая сквозь слезы)*. Твоя душа приходит ко мне как заблудившийся щенок. Она лижет мою руку и ревниво смотрит в глаза моей души. Твоя душа приходит ко мне, а я устал от ее взглядов, по-собачьи верных и по-собачьи любящих. Твоя душа приходит ко мне, и пока ее, как щенка, устраивает лизать мою душу. Но я надеюсь, что она никогда не вырастет, но все же, перестав лизать руки и душу мою,

начнет думать о моей душе... Я надеюсь и жду этого, и сам, как щенок, лижу подлой ночи душу*...

Медленно подходит к нему Жучка.

Привет, Жучка, привет! Ну-с, друг мой, как поживаешь? Ну-ну, жить-то надо. Такая она штука — жизнь. Да-да, такая вот штуковина. Сегодня есть, а завтра нет. Только душа останется. Так-то вот оно, Жучка. СССобачья у наССС ССС тобой СССудьба: у ЖучКККи-со-баКККи и у человека ЙоСССеХ-ХХа... Вот так мы и живем с тобой, Жучка. И вся жизнь у нас так и проходит. Жизнь она — штука вечная... Да-да, Жучок, вечная... Се ля ви. Пардон. Ну да, такова она, жизнь. Такова.

Голоса, плач.

Громче всех крик Радика: «Мамак! Маа-аамаа-аак!.. Маа-аамаа-аак, го-войю!.. Маа-маа-аак!»

Рассвет. Багрово-красный рассвет.

Ежевика вдоль плетня. Крупные, вкусные ягоды. Но все они почему-то только сизые, нет ни красных, ни желтоватых. С дальнего конца сада устало приходит Жучка и, высунув язык, повисает на плетне. Глаза ее сверкают как-то бесчувственно-мучительно.

Жучка испускает последний вздох.

Где-то неподалеку слышен плач Йоссеха.

Вдруг отовсюду начинает слышаться плач.

Плачут все и вся, но громче всех слышен крик Радика и Марине: «Маамаак! Маа-а-аамаак! Маамаак, говойю! Ма-а-а-аа-а-а-ам-а-а-а-аак!»

* В монологе использовано стихотворение латышской поэтессы Дагнии Дрейка. (Авт.)



НИКОЛАЙ СИДОРОВ

Родился в 1963 году

Николай Иванович Сидоров родился 21 мая 1963 года в д. Индырчи Янтиковского района Чувашской Республики.

После окончания Янтиковской средней школы работал в родном колхозе бригадиром. В 1981—1986 годах учился в Чувашском государственном университете им. И. Н. Ульянова. По профессии — филолог-журналист. В одно время работал ответственным секретарем районной газеты «Сельский труженик». Много ездил по деревням, хорошо знает быт и нравы сельских жителей. В 1987 году переехал в г. Чебоксары. Трудился на разных должностях: был инструктором Добровольного общества книголюбов России, воспитателем в общежитии ЖКХ Главчувашстроя, а чтобы поближе узнать театр как бы изнутри — работал дворником в Чувашском государственном академическом драмтеатре, в настоящее время — писатель-профессионал.

Н. Сидоров — член Союза писателей РСФСР с 1989 года. Лауреат Государственной премии Чувашской Республики (1998), лауреат премии им. М. Сеспеля (1996), заслуженный деятель искусств Чувашской Республики (1996).

Драматургией начал интересоваться в студенческие годы, писал разные инсценировки к студенческим вечерам, а первая его пьеса была посвящена классику чувашской литературы К. В. Иванову («Слезы Симбирска»). За эти годы он написал более сорока пьес, которые были поставлены во всех чувашских театрах. Наиболее известные пьесы: «Беглец», «Как живете — можете», «Невеста из Чебоксар» (5 серий), «В субботу вечером», «Жди меня», «Не плюй в колодец — самому пригодится», «В поисках телки», «Супруги», «Кукушка в чужом гнезде», «Завещал мне отец», «Седьмая жена», «Сватовство», «Накануне покаяния», «Плач девушки на заре», «Когда гаснут звезды» и др. Спектакли, поставленные по

пьесам Н. Сидорова, показаны в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Ульяновске, Тюмени и других городах России.

Историческая пьеса «Плач девушки на заре» поднимает тему национального характера. В основу сюжета легли реальные события, происходившие в XIII веке. В ней действуют как вымышленные, так и исторические личности: болгарский хан-Эльгем, хан-Бату, Субедей и др. Пьеса о том, как предки чувашского народа — волжские болгары — проявили стойкость, мужество и сумели сохранить язык, культуру, себя — как нацию. Такими представляются в трагедии предводитель и его дочери Силем, Турпиге, Тайби, молодые герои Эрзюкки и Баян, простой люд. Вот что пишет об этой пьесе чувашский ученый, доктор исторических наук, профессор, академик НАНИ Чувашской Республики В.Д. Димитриев: «Трагедия Н. Сидорова отображает начало действительно трагического периода в истории чувашского народа — установления над ним режима монголо-татарского ига. Были разгромлены сотни селений и города Биляр, Булгар, Жукотин, Сувар, Керменчук и другие, истреблено множество болгаро-чувашей. Автор сумел достоверно и убедительно показать трагическую страницу нашего народа».

Плач девушки на заре*

Трагедия в двух частях

(В сокращении)

Действующие лица:

Эльгем-хан — повелитель Волжской Булгарии.

Силем
Тайби } — его дочери.

Ильдевер — вождь племени, воевода.

Папай — вождь племени.

Курункай — мулла, исламский миссионер.

Женщина

Эрзюкки
Баян } — воеводы.

Аврамий — купец.

Ишмук — купец.

* Перевод А. Дмитриева.

Стража: старший охранник, 1-й и 2-й охранники,
конная стража.

Великий князь Владимиро-Суздальский.

Турпиге — княгиня, дочь Эльгем-хана.

Данила.

Бату-хан } — военачальники.

Субедей }

Баракчиня — жена Бату-хана.

Пюхе — шаман.

Арапша — помощник Бату-хана.

Матушка-орлица, бывало,
Крыльями нас осеняла,
По утрам на волю отпускала,
По вечерам вновь собирала.

Народная песня

20—30-е годы XIII века. Волжская Булгария. Русские княжества с завистью поглядывали на богатую и миролюбивую страну, не раз пытались покорить ее силой оружия. Так, войска Владимиро-Суздальского княжества под предводительством князя Андрея Боголюбского много раз нападали на Волжскую Булгарию: жгли города, уводили людей в рабство. Позже и Бату-хан, предводитель монголо-татарского похода, подступил близко к Великому Булгару, готовился захватить этот город. Вот такое трудное время выпало на долю чувашей, живших в Волжской Булгарии.

Часть первая

I

Хор.

Через Волгу кинута узда,
Семицветный виден переход,
Из-за тридевять земель сюда
По нему не ворог ли идет?

Очень горько, если друга нет,
Не спасут ни деньги, ни кураж.
Ах, как лютый ворог сеет смерть!
Как за жизнь цепляется чуваш!

Женщина.

Поднялась сегодня ранним рано,
Понакрылась белым я сурбаном;

Вышла в чисто поле, поклонилась
И о детях Богу помолилась.
Посмотрела в небо — высь огромна,
Посмотрела вниз — земля бездонна...
Есть Всевышний Пюлех-божество,
Белый свет во власти у него;
Есть земля и жребия рука,
У которой хватка так крепка;
Мы же, порождение людей,
Меж добром и злом — до края дней...

Входит Эрзюкки, навстречу ему вбегает Силем.

Силем. Эрзюкки, где ты?

Эрзюкки. Здесь я, Силем!.. *(Обнимает.)*

Силем. Ах, милый, жаль тебя: любовь, когда-то вспыхнувшая в наших сердцах, теперь оставила во мне лишь глубокую рану. Может, у тебя по-другому? Наша любовь — беда, не видать тебе счастья со мной.

Эрзюкки. Почему, Силем? Почему?

Силем. Сам знаешь почему. Меня сегодня сосватал воевода Ильдевер! Ах, что нам делать?

Эрзюкки. Может, убежим в Сувар?

Силем. Повелитель Булгарии и для Суvara хан! Куда еще бежать? Беги не беги, все равно поймают и повесят меня.

Эрзюкки. Нет! Ты рядом со мной. Для меня это — счастье. Не знаю, с чем тебя сравнить: то ли ты луна, то ли солнце?

Силем. Слишком не расхваливай. Я обыкновенная девушка. Когда не в духе — холодна, и жить не хочется совсем.

Эрзюкки. Не бойся. Силой он тебя не возьмет. Знаю, он не трус. Но если твоя любовь не остынет, не страшен мне весь род Ильдевера. Что ж, убьет он меня, отец твой предаст огню. Но душу мою никому не растоптать.

Силем. Что ты задумал, Эрзюкки?

Эрзюкки. Эта ночь — наша. Это — последний случай. Нас ждут верховые лошади. И если ты не против, осторожно иди за мной.

Конский топот удаляется. Поднимается шум. Звучат трубы. Стремительно входят Эльгем-хан и его приближенные, стража. Слышны крики: «Силем умыкнули! Силем!»

Эльгем-хан. Позор!.. Небывалый позор для Булгара! Просватанную невесту выкрали!.. Немедленно поймать обоих и привести!..

Старший охранник. Нигде их нет, о Великий досточтимый хан!..

Эльгем-хан. Из-под земли достаньте! Пошлите всадников во все концы!.. Обоих немедленно ко мне! Трех дочерей без матери вырастил, а пользы никакой.

Курункай. Как так — пользы никакой, Великий хан? Младшая твоя, Тайби, помогает по дому. Турпиге, вон, вышла замуж за Владимиро-Суздальского князя. Что ни говори — княгиня.

Эльгем-хан (*гневно*). А толку? Какой толк от него?.. Жил бы, пиво попивая!

Курункай. Да-а!.. Пиво-то великий князь выпил, а ковш разбил. Сколько раз совершал он набеги на Булгар? А мы все терпеливо переносим, Эльгем-хан!

Эльгем-хан. Довольно!.. Как злые волки, надоели эти войны! Сперва, вон, Чингисхан покусал, потом — Русь; живого места не осталось. Но как бы там ни было, нам надо держаться вместе.

Курункай. И Силем поэтому выдаешь замуж?

Эльгем-хан. Ильдевер — вождь племени, под его началом — тысяча воинов. В его руках — болгарская земля.

Курункай. Эрзюкки тоже внук вождя суваров.

Эльгем-хан. Он молод еще. За него я выдам Тайби.

Курункай. Ты мог бы стать, досточтимый Великий хан, родителем не трех, а сорока одной дочери.

Эльгем-хан. Почему сорока одной?

Курункай. Говорят, здесь сорок одно племя проживает. Самые многочисленные, конечно, сувары и болгары.

Эльгем-хан. Думалось, общая вера объединит. Но эта вера разъединила племена.

Вбегает Ильдевер.

Ильдевер. Где эта невеста? Не ты ли заверил меня, Великий хан? Я же признался, что Силем мне нравится.

Эльгем-хан. Успокойся, Ильдевер. Скоро приведут.

Ильдевер. Успокойся, говоришь? Не-ет, Великий хан! Чем терпеть такой позор — лучше погибнуть в бою, помни! Клянусь — не прощу. Где мой конь?

Вбегают воины Ильдевера: «Кони готовы, воевода Ильдевер!»

Если готовы, вперед! Они сейчас не где-нибудь, а в Суваре!..

Уходят.

Курункай. Разгневан Ильдевер. Добра от такого не жди.

Эльгем-хан. Этого еще не хватало! Если начнется междоусобица, от Булгарии ничего не останется! *(Громко.)* Подайте мне тоже коня!..

1-й охранник. Кони готовы, повелитель!

Эльгем-хан. За Ильдевером! Скорей!..

Слышится слабый колокольный звон, постепенно он усиливается. Вдалеке начинают мелькать огни.

Эльгем-хан. Это еще что?

Папай. Не знаю, повелитель. Похоже на пожар.

Вбегает гонец.

Гонец. Великий хан!

Эльгем-хан. Что?

Гонец. Ошель в огне, Великий хан! Напали русы с двух сторон!.. Многих взяли в полон. Угнали в рабство.

Эльгем-хан. Что ты сказал?!

Гонец. Русы, говорю, напали! Многих перерезали, иных утопили в Волге. Ограбили, ничего не оставили...

Эльгем-хан. Как он посмел, этот князь, чтоб земля его поглотила! Почему опять поднял меч?

Хор.

Нарвала я цветов, обойдя целый луг,
И веночек сплела для тебя, милый друг.
Почему же цветов ровно семьдесят семь?
Грозных бед впереди тоже семьдесят семь.

Женщина.

Эй, Всевышний и Всемогущий Бог!
Эй, заступник простого народа!
О, дух благий Пигамбар!..
О, Земли и Воды!
Всеблагие духи!
Прошу вас, умоляю:
В лоне моем плоть обретя,

От меня родившихся
Чувашских сынов и дочерей
От лютого врага,
От войны разгорающейся,
От острого топора и секиры,
От свистящей стрелы и копья,
От раны-увечья, от невзгоды-горя
Спасите и сохраните.

III

Место для жертвоприношений. Старый дуб увешан вышитыми головными повязками, украшениями. В сторонке, в жертвенном котле, варится бульон из баранины. Перед деревом Киреметя Папай готовится к обряду. Женщины накрывают на стол, девушки помогают им.

Звуки труб усиливаются. Группы составляют Хор. Почти у каждого певца меч и копье, стрела и секира, кольчуга и щит. Все вооружение оставляется у ограды.

Участники Хора с поклоном проходят за ограду, к священному дереву.

Входят парни, распевая рекрутскую:

Цветы, цветы, цветочки,
Над ними вьются пчелки.
Как разлетятся пчелки,
Поникнут все цветочки.
Когда мы вас покинем,
Родители заплачут.
Когда они заплачут,
На сердце горько станет.

Папай. Проходите, родные, к священному дубу. О Пюлехсе, о Боги, прислушайтесь к нашим словам. Богу — белого барана, Богоматери — барашка. Дорожному Духу — барана, Пигамбару — барана, Матери огня — барашка. С верой в вас мы пришли на место жертвоприношений, и ваши милости передадим на благо молодым.

О Божий гнев, Божье возмездие, Божья кара — все присаживайтесь к столу, отведайте нашу пищу. О Тора, Дорожный Дух, Зарница, Белый свет, Мать Солнца, Сын Солнца, Мать Ветра, Сын Ветра, Мать Земли, Род Земли, Пуповина Земли, Хозяин Земли — все собирайтесь. Наделите нас силой для борьбы с супостатом. О Тора, Боже, не оставь нас, помилуй и сохрани! Угощайтесь, родные, Боги тоже с нами.

Парни принимаются за еду. Потом встают и три раза обходят вокруг стола.

Перед священным деревом опускаются на левое колено.

Боги вняли нам. О Боги! За Вашу благосклонность, за Вашу милость — благодарность наша! Неизбывные сев и пахота, незабвенные отцы-матери. Нет дороже Родины, нет бесценнее вас.

Если мы не защитим нашу свободную Отчизну, если мы не сохраним нашу чувашскую речь, если мы не продолжим наш древний род — тогда наши Боги проклянут нас навек, тогда наши враги покорят нас навек. Поэтому, братья, запомните навсегда: если не объединимся, если не выступим дружно — исчезнем, сгинем, превратимся в прах. Благословение вам, братья! Благословение вам, сыны! Благословение всем!

Все кланяются. Парни выпрямляются. Девушки дарят им вышитые платки.

1-я девушка. С северной стороны идет супостат, одним рогом сорок аршин земли роет, другим рогом сорок аршин неба рвет, пока ты не одолеешь его — пусть добрые духи берегут тебя.

2-я девушка. Пока ты не одолеешь черного врага, идущего со стороны восхода — пусть добрые духи берегут тебя.

3-я девушка. Пока ты не одолеешь черного врага, идущего со стороны полудня — пусть добрые духи берегут тебя.

4-я девушка (*подбегает к Эрзюкки и вручает платок*). Вот тебе, Эрзюкки, платок. С севера, с юга — со всех сторон надвигается лютый враг, пока ты не поразишь его — пусть добрые духи берегут тебя.

Эрзюкки показывает всем платок.

Папай. Благословение вам, родные! Благословение вам, сыны! Благословение — всем! (*Вручает мечи.*) Вот вам мечи, Эрзюкки и Баян. Не впервой нам поднимать меч. Ибо мы ступили на эту землю не для того, чтобы враг глумился над нами. Теперь этот меч для нас и ум, и сердце, этот меч теперь — наша свобода, друзья. Я его доверяю вам.

IV

Сбор вождей племен. Эльгем-хан вышагивает взад-вперед.

Эльгем-хан. Значит, не догнали, воевода?

Ильдевер. Не догнали, Великий хан. Руссы переправились на остров. Насчитал десять челнов. И награбленное с ними. И жители Ошеля...

Эльгем-хан. Откуда знаешь?

Ильдевер. Слышал стоны. Будто сама Волга рыдает. Словом, не человек он...

Эльгем-хан. Как ты думаешь?

Курункай. Чего тут раздумывать?.. Надо на них на самих напасть!

Вожди племен.

— Верно! Верно!

— Бесчинства творит Великий князь!

— Самого надо сжечь!

Эльгем-хан. Ты почему молчишь, Ильдевер?

Ильдевер. Верно говорят, царь. Разошелся Великий князь — удержу нет.

Курункай. Сколько может продолжаться этот спор? Но конца ему нет. С помощью Аллаха разобьем князя на его же земле.

Эльгем-хан. Благодарю. Я выслушал вас. Теперь обдумать надо.

Старший охранник вносит чиряс.

Ст. охранник. Почтенный Великий хан!..

Эльгем-хан. Это еще что?

Ст. охранник. Пиво. Сказали — ты просил.

Эльгем-хан. Какое пиво? Я ничего не просил! (*Помягче.*) Хорошо. Поставь вон там. (*Зачерпывает.*) Теперь все уходите. Никого не держу. (*Собирается пить.*)

Ст. охранник. Почтенный Великий хан. Еще прибыл купец Авраамий — посол Владимиро-Суздальский.

Эльгем-хан. Коли прибыл — зови. Не заставляй ждать. Вы тоже подождите. (*Отставляет ковш с пивом.*)

Входит Авраамий.

Авраамий (*с поклоном*). Кланяюсь с почтением. Как поживаешь, царь?

Эльгем-хан. Потихоньку. Сам как живешь-можешь?..

Аврамий. Плохо, царь. Суздаль и Владимир на коленях. Новгород руку протягивает.

Эльгем-хан. Что тревожит Великих князей?

Аврамий. Голод замучил, царь. Хлеба на корню сгорели, реки пересохли, земля обуглилась.

Эльгем-хан. По Волге и Оке сплавил тридцать ладей с рожью. И за это не дождался благодарности от Великого князя. Почему он поджег Ошель? Войну затеял — почему?

Аврамий. Не знаю, Великий хан. Я и сам только сейчас услышал.

Эльгем-хан. Значит, я ошибся, отправив ему рожь?

Аврамий. И все же кусок, протянутый голодному, перед Аллахом не грех, царь. И Христос так говорит.

Курункай. Христос он скажет, Аврамий. А ты что скажешь? Сам знаешь, Болгария не признает христианство.

Аврамий. Да простит Курункай. Не все народы Болгарии поклоняются Аллаху.

Курункай. И среди них — раз, два и обчелся.

Аврамий. Но дело, как я слышал, обстоит по-другому.

Эльгем-хан (*холодно*). Что привело тебя сюда?

Аврамий. Чтоб Волга и Ока не превратились в реки крови. Вот цель моя, царь.

Курункай. Гляди-ка на него, почтенный Эльгем-хан. Давно ли в рубище ходил. Теперь богатым стал — и как Христос вешает.

Эльгем-хан. Довольно! Не касайтесь Бога! Боги не враждуют, как мы. Человек воюет.

Аврамий. Нет истины в войне, Великий хан. Когда один раздувает огонь, пусть другой заливает водой.

Курункай. Огонь можно тушить двояко, купец! Огнем и водой! И если Великий хан разжигает пламя, скажи: мы огонь погасим огнем!

Ишмук. Верно. И купцы здесь недовольны. Цены на зерно поднялись. Боюсь не хватит серебра.

Эльгем-хан. Серебро найдется. Да вот не просто найти общий язык. Товар не поступает из Багдада, нет также новостей из Судана.

Ишмук. Или тебе неведомо, Великий хан? Там сейчас свирепствует внук Чингисхана Бату-хан.

Эльгем-хан. Говори, Ишмук. Нет места, где бы ты не бывал.

Ишмук. Там сейчас пожар, Багдад охвачен огнем. И если не погаснет, скоро перекинется и сюда.

Курункай. Откуда тебе известно, купец?..

Ишмук. Я был там, в лагере Бату. Забрали караван, а потом допытывались о здешних краях.

Эльгем-хан. Говори, говори! Что еще знаешь?

Ишмук. Наверно, подумали, что я не понимаю по-китайски. И говорили на китайском языке. Так я узнал: в Булгаре у них есть свой человек. Если надо, могу назвать.

Эльгем-хан (*застыв от удивления*). Не может быть?!

Общий переполох, шум.

Курункай (*суетливо*). Постой, постой! Ты не спеши!.. Ах, чем же отблагодарить тебя за эту новость? (*Подносит ковш с пивом.*) Выпей вот пиво. Потом скажешь имя лазутчика. У-ух, я бы его!..

Ишмук в растерянности.

Эльгем-хан. Пей-пей!.. Не бойся. Это пиво — чувашский напиток.

Ишмук выпивает. Вдруг, задыхаясь, хватается за горло и в судорогах падает на пол. Дернувшись раз-другой, затихает.

Эльгем-хан. Что это?!

Курункай (*разводя руками*). Не знаю, Великий хан. Я зачерпнул из чиряса.

Эльгем-хан. Ищите! Найдите!.. Кто положил в пиво яд? (*Встряхивает охранника.*) Если не найдешь, голову тебе сне-су!..

Ст. охранник. Слушаю, Великий хан. Всех проверю.

Курункай. Что тут проверять? Чье это пиво? Чувашское! Значит, чуваша устроили заговор.

Ильдевер (*нагнувшись*). Не дышит, почтенный Эльгем-хан. Что-то он хотел сказать.

Эльгем-хан. Что ты скажешь на этот счет, Папай?..

Папай. Хотел, да вдруг язык отнялся.

Эльгем-хан. Говори. Я должен знать.

Папай. Сказать скажу, ты только в толк возьми. Не он, а ты здесь должен был умереть.

Курункай. Что ты несешь, Папай?

Папай. Говорят, Бату идет с юга. Надо мир учинить с русами.

Курункай. Эй, вожди племен!.. Мусульмане! Чего воды в рот набрали? Или забыли, кто спалил Ошель, кто топил людей в Волге? Из-за кого столько сирот кругом? Рус для нас — враг!..

Голоса:

— Верно. Верно!..

— Русы нападают каждый день!..

— Жгут наши жилища, грабят!..

— Самих надо в огонь!..

— Самих надо грабить!..

Аврамий (*выступает вперед*). Это недоразумение, братья! Успокойтесь!.. Война — как омут, всех затянет, всем будет конец! Во имя Отца, Сына и Святого духа прошу — остановитесь!

Курункай. Ты врешь, купец!.. Вы там точите мечи на нас! Ты!.. (*Хватает Аврамия.*) Ты, Раб божий — Иисус — бедствие нам готовишь! Из-за вас все напасти!.. Бейте его, топчите!..

Вожди племен возбуждены. Одни бросаются к Аврамию, другие удерживают.

Эльгем-хан (*громко*). Прекратить!..

Все расступаются. Аврамий, держась за рукоять кинжала, торчащую из живота, падает на землю.

Курункай. Аллах видел. Аллах за все воздал. О Аллах, благодарение тебе за все!..

Эльгем-хан. Кто? Кто убил его? Ты? Или ты? Знаете ли вы, что наделали? Это — война!.. Война, братья мои!..

Вожди племен молчат.

Признавайтесь, кто убил его. Он был не только купцом, но и послом.

Курункай (*угодливо*). Виновник рядом, Великий хан. Кинжал торчит из трупа. Пока никто отсюда не ушел — проверим: авось хозяина отыщем.

Эльгем-хан. Ну, так проверьте — чей кинжал.

Курункай (*вынув нож*). Город Сувар. Хозяин — Эрзюкки. Можете убедиться.

Эрзюкки. Неправда! Я и в мыслях не держал. И этот нож давно утерян мной.

Эльгем-хан. Уведите его, заприте в темницу.

Охрана хватает Эрзюкки.

Папай (*поднимает руку*). Стойте! Скажи мне, Эрзюкки, кто это сделал? Глядя прямо в глаза!.. Без утайки...

Эрзюкки. Не знаю, Папай. Но только не я.

Папай. Ты слышал, повелитель?

Эльгем-хан. Кто же тогда?..

Папай. Кто-то чужими руками жар гребет. Будь осторожен, царь, и берегись.

Курункай. Кого? Они всегда заодно! Сперва вон — пиво. Теперь вот — нож... Вот где нить заговора.

Эльгем-хан. Сегодня пролилась кровь. И прощения за это не будет, Папай. Уведите!

Эрзюкки уводят.

Папай. Туман обволакивает тебя, царь. Над Булгарией сгущаются тучи. Смотри, как бы после молнии не грянул гром.

Эльгем-хан. Гром уже грянул, Папай. Похороним убиенных здесь, на христианском кладбище.

Аврамия и Ишмука кладут на широкий луб, покрывают полотном и уносят.

Папай. Смерть равняет всех. Вон, мусульманин и христианин на один широкий луб легли. Так зачем же мы спорили?

Курункай. Ты опять хочешь нас помирить? Никогда, понял? Не слушай его, повелитель.

Между вождями племен пробегает ропот.

Эльгем-хан. Или вам двух трупов маловато? Может, хотите, чтобы тысячи голов полетели? Коли так, идите на Русь, я не держу вас. Но помните: Русь велика...

Вожди племен (*после паузы*). Говори, царь. Мы верим тебе.

Эльгем-хан. Послами к русам назначаю: Папая и тысячника Ильдевера. Папай знает чего добиваться.

Курункай. Раз так — ты продал нас Христу!..

Эльгем-хан. Не знаю, кто продал. Но узнаем, Курункай.
(Уходит.)

Вожди племен постепенно расходятся. Остаются Ильдевер и Курункай.

Курункай. Опять не вышло. Откуда взялся этот купец Ишмук?

Ильдевер. Так это ты его?

Курункай. Да, я! Но я не думал убивать купца, — хотелось Эльгем-хану отомстить. Сам знаешь, плохо стало жить в Булгарии. Ты бы мог его заменить!

Ильдевер (*крепко сжав плечи Курункай*). Перегибает палку, Курункай! Это тебе не делает чести. Но ты не забывай: Булгар прислушивается и к моему голосу.

Курункай. Не видишь, что ли, Эльгем-хан выжил из ума!.. Все хочет помириться с русами. Если я начну бить полклоны Христу, Аллах никогда, никогда не простит нас! Чует мое сердце... В один погожий день как грянет гром — все нажитое добро превратится в пепел, и злата-серебра не останется. Подумай и будь здоров! Или у тебя есть излишки богатства?

Ильдевер. С одной стороны, ты прав. Мне тоже надоело все. Без Эльгем-хана, может быть, и жизнь переменится к лучшему.

Курункай. У тебя есть надежные люди?

Ильдевер. Как же без них? Готовы хана заменить. Ну, уберем его... А потом? Кого на его место, кого?

Курункай. Ты не бойся. Это наша забота. Ты будешь достоин — ты возьмешься за меч. Тогда и Силем — царица — без слов за тебя пойдет.

Ильдевер. Спасибо за оказанную честь. Дай знак — и мира не будет. Кровь за кровь прольется на земле русов.

V

За городом, в долине, хоровод.

Х о р.

Родни у нас немного,
От волжских берегов —
До берегов морских.
Родни у нас немного.

Вовеки вместе жить
И навека дружить.

Входит Эльгем-хан.

Эльгем-хан (*задумчиво*). Что вы за народ, чувашаи? Рождаетесь — поете, умираете — поете. Свадьбу играете — с песней, горе горюете — с песней. Что вы за народ? Слезы текут — поете, стрела летит — поете, что вы за народ, чувашаи? Утро настаёт — поете, вечер приходит — поете. Свету конец — поете, трава зеленеет — поете, что вы за народ такой, чувашаи?

Входит Ильдевер.

Ильдевер. О чем так задумался, повелитель?

Эльгем-хан. Повелитель слушает. Думает народ.

Ильдевер (*с усмешкой*). Хе-хе! Не видно, чтобы думал. Все поет!

Эльгем-хан. Да, поет. Сокровенные думы так выражает.

Ильдевер. Он выразит, повелитель. А ты вот молчишь. Когда Силен мою станет?

Эльгем-хан. Сперва съездите в Суздаль. Там видно будет.

Ильдевер. Смотри, царь! Я тоже пригожусь. Час пробьет — вспомнишь Ильдевера!

Эльгем-хан. Пойми, тысяцкий. Нам ни Аллах, никто не поможет. Народ, лишь сам народ спасет себя в суровый час. Слушай, воевода! Об этом он и поет.

VI

Владими́ро-Сузда́льское кня́жество. Зал для приема послов. В стороне — опочивальня Великого князя.

Входит Данила.

Данила. Великий князь!..

В. князь. Пошел вон, Данила!.. Кто позволил тебе врываться без зова?

Данила. Да простит Великий князь. Авраамий умер.

В. князь (*одевается*). Ведает ли об этом епископ Киевский Митрофан?

Данила. Только что известили болгары. До епископа вряд ли весть дошла.

В. князь. Оповестите его быстрее. Где похоронен покойный?

Данила. Говорят, в Булгаре, на христианском кладбище.

В. князь. Здесь захороним, при монастыре. Если епископ возражать не станет. Пускай среди святых пребудет — под именем Авраамий Булгарский. Теперь — уходи прочь. Не мешай мне.

Данила. Я-то уйду. Булгары не уходят.

В. князь. Скажи, что болен я... Придумай что-нибудь!..

Входит Турпиге. Данила уходит.

Турпиге. Разумно ли кричать? Чую, ты не готов со мною говорить. Сам поджигашь, и сам же кричишь «пожар!» Ну а тушить не ты — из Булгара приходят.

В. князь. Молчи! Какое тебе дело до меня?

Турпиге. Пусть родина моя и далека — я живу ее жизнью; послы хотят тебя увидеть. Ты всегда настроен воинственно, теперь навстречу им руку протяни.

В. князь. Ты знаешь, что такое война? Война — это наше достояние. Не веди мы войну — и народ бы с голоду пропал.

Турпиге. Разве мало помогали тебе булгары? А вместо благодарности ты пошел на них с мечом!

В. князь. Вон! Вон отсюда, ни слова больше!.. Я сам знаю, как поступать.

Турпиге. Когда ты в жены брал меня — Булгар был тебе родным городом. И ты обещал осыпать всех благами, но слова не сдержал.

В. князь. Глупая баба!.. Человек на этой земле лишь песчинка, ради славы одного надо тьму таких песчинок положить. А ты готова рыдать из-за трех-четырех городов. Я не ради себя, ради народа пекусь — тебе это известно и самой.

Турпиге. Известно. Но есть еще у человека имя и душа. Кто тебя помянет добрым словом? Мир не прощает ничего!..

В. князь. Пускай! Это меня ничуть не потревожит.

Турпиге. Наконец-то я до конца поняла тебя, князь: ты путаешь себя с народом. Недаром молвится: хочешь человека испытать — дай ему власть. Теперь вижу: людские судьбы тебя нисколько не волнуют. Тебе вот это — похоти игра — донны не дает покоя! *(Швыряет в него платье Авдотьи.)* Наверно, думаешь, я ничего не знаю. Прекрасно знаю, князь, не-

мало слез пролила. Ты надругался над моей душой, над честным именем моим! Холодный и опасный человек!.. Кого бы нынче ни любил ты... Довольно издеваться надо мной!

В. князь. Молчи! Исчезни, с глаз долой!..

Турпиге. Не буду спорить. Да и какой от этого прок? Но знай: стоишь ты на распутье.

В. князь. Прочь!

Турпиге уходит.

(Распалаясь от злости.) Язык — змеинный яд, того гляди — убьет. Знает, знает мучительница, в какое место жалить. Ладно!.. Я все равно настою на своем! Я вас, болгар, испепелю огнем!..

Зал для приема послов. Здесь стоит и Папай.

Данила *(возглашает)*. Великий князь Владимиро-Суздальский!

Ильдевер. Великому князю — наши пожелания доброго здоровья и долгой жизни!

В. князь. Да поможет Вам Бог. Что хотят болгары от меня?

Папай. Не торопись, князь... *(Вручает подарки.)* Вот тебе чиряс с медом, вот тебе коровье масло. Откушаешь того и другого — жизнь как по маслу потечет. *(Подает ковш с пивом.)* Вот пиво... Это наше, чувашское, пиво. Пей до дна на здоровье, пусть наши народы дружат меж собой.

В. князь. Я из чужих рук не пью. Вы прибыли сюда, ка- жись, по делу?..

Папай. Мир нужен, Великий князь. Обещал когда-то вековую дружбу. Второй раз посещаем тебя, чем на этот раз порадуешь?

В. князь. Когда я обещал?..

Папай. На свадьбе, позволь напомнить. Ты сказал: пока пух не потонет — войны не будет, пока камень со дна не всплывет — дружба не порушится.

В. князь. Много воды с тех пор утекло.

Ильдевер. Неправда, Великий князь!.. Ни ты, ни мы — никто этого не забудет. Когда люди сгорают в Ошеле, который ты предал огню, разве можно так говорить? Мой народ благороден. Он пришел к тебе с добрыми помыслами. И не надо плевать ему в лицо!

В. князь. Не потому ли вы убили моего посла Авра-
мия?..

Папай. Это недоразумение! Чьи-то происки!

В. к н я з ь (*раздраженно*). Эге!.. Происки, стало быть?

Папай. Почтенный князь! Мы тоже чувствуем свою вину. Пусть душа его пребудет в раю. И доброе начинание дружбы двух народов во имя Аврамия да не прервется. А коль прервется — Боги не простят.

В. к н я з ь. Что ты этим хочешь сказать?..

Ильдевер (*выскакивает вперед*). Если Великий князь не согласится с нами — меч за меч, кровь за кровь! Мы тебя разрубим на куски, утопим в реке, зажарим на костре!..

В. к н я з ь. Кого?.. Меня?.. Ах ты, дрянь! Да я тебя!

Ильдевер. Я сам тебя, я сам!.. (*Готов наброситься на него.*)

В. к н я з ь. Эй, стража!

Появляется стража, оттесняет болгар.

В. к н я з ь. Гоните их прочь! Чтоб даже духу не было!..

Папай. Мы не только твои соседи, но и родственны с тобой через княгиню. Может, найдем общий язык, Великий князь? Внук Чингисхана, Бату-хан, переправился через Волгу. Хоть бы его остерегался.

В. к н я з ь. Вы остерегайтесь! Я его не боюсь.

Стража выпроваживает послов.

Данила!

Входит Данила. В сторонке подслушивает Турпиге.

Собери всех воевод. Срочно!

Данила. По какому поводу, Великий князь?

В. князь. Слышно, Бату-хан идет с юга. У нас на той стороне ни одной крепости. Раз так, отвоюем болгарские города — и в них разместим воевод.

Данила. Это же война! Или Булгар нам не товарищ?

В. князь. Запомни, Данила. У царей не бывает товарищей, у царей — только враги.

Турпиге проходит вперед. Данила уходит.

Турпиге. Что-то быстро закончился прием? Или Великий князь на меня в обиде?

В. князь (*про себя*). Давно ли лаяла как собака, уже лас-

тится как кошка. *(Ей.)* Все в порядке, княгиня. Учинили мир с Булгарией.

Турпиге *(про себя)*. Ах, Великий князь! Погряз ты во лжи, прямо в глаза говоришь неправду. Выходит, хлопоты родной Булгарии напрасны? Теперь мой час настал. Выбирай: или и впредь жить в свое удовольствие, или от моего народа на этом свете не останется и следа? Этого мне не пережить, это равносильно смерти. *(С двумя чарками в руках.)* Так не поднять ли чарки за удачу? *(Протягивает ему одну.)* Твое здоровье!

В. князь. Что ж, отметим. *(Берет, подносит ко рту, но в последний момент меняется чарками.)* Не обессудь, княгиня, так надежней. Ну, будь здорова!.. *(Чокается.)* За Булгарию, говоришь? Так выпей за нее.

Турпиге. Нет, я потом!..

В. князь. Сейчас!.. Или ты разлюбила и Булгарию свою?

Турпиге. Что ж, выпью за нее! *(Выпивает. Хватается за грудь. В мучительных судорогах падает на пол.)*

В. князь. Ха-ха-ха!.. Меня хотела отравить? Сама себя погубила, княгиня. Ну, будь здорова! *(Выплескивает на пол. Громко кричит.)* Авдотья!..

VII

Двор. В доме шумит свадьба. Появляются Баян и Эрзюкки.

Б а я н. Не ко времени эта свадьба.

Эрзюкки. Мою любимую выдают замуж. А я ничего не могу предпринять.

Б а я н. Ты нетерпелив, Эрзюкки. Время — не всадник. У него свой норов. Погоди. Прячься. Кажется, кто-то выходит. *(Прячется.)*

Вбегает Силем.

Эрзюкки. Силем!.. Ты ждала ведь меня? Ну, скажи, что ждала!.. О Боже, наконец-то мы вместе!..

Силем. Тайби успела мне шепнуть я сразу бросилась к тебе. Давай отсюда убежим! Люди сказывают: если вверх по Волге идти, там шумит дремучий лес.

Эрзюкки. Нет, Силем. От судьбы убежать мы не сможем. А если и сбежим — предателями станем. Когда враг угрожает родине — мое место здесь!..

Силем. Так что же ты намерен делать? Ужель отнимут силой наше счастье? Эх, Эрзюкки!.. Скажи, как быть?

Эрзюкки. Не горюй, Силем. Всю правду расскажу Эльгем-хану. Я не убивал!..

Силем. Ах, Эрзюкки!.. Но кто поверит тебе?.. Чай, думаешь про эту свадьбу, мол, новая семья? Они роют могилу для меня.

Эрзюкки. Опомнись, Силем? Ты что, спятила?

Силем. Нет-нет! Ни слова больше. Ты это знаешь и без меня. Дай взглянуть последний раз на твое лицо, в твои глаза. Вот родинка... Божья метка... Знать, Бог отвернулся от нас, поэтому так рассудил! Вот он — жизненный жребий, отнимает меня у тебя. *(Достает нож Эрзюкки.)* Вот острый нож, держи!.. Знаешь, где сердце!.. Оно билось, трепетало от твоей любви. Теперь сам останови. Ну же, бей!..

Эрзюкки. Кто? Я? Это безумие.

Силем. Тогда ты — трус. Чего же медлишь? Вонзай так вонзи! А не можешь — скажи, я сама покончу с собой... Сама!

Эрзюкки. Дура!.. Не глупи, Силем!..

Силем. Чем жить с Ильдевером, лучше погибнуть от твоей руки!.. Прошу, убей!

Входят Папай и Баян.

Баян. Силем, скорее в дом!.. Не то спохватятся.

Силем. Нет-нет! Я только с вами!..

Баян. И бежать нельзя. Кругом охрана.

Силем. Прощайте, коли так, родные! Прощай, Эрзюкки. *(Заходит.)*

Баян *(достает нож)*. Смотри, Эрзюкки. Охрана в эту сторону идет.

Папай. Бегите отсюда скорей.

Эрзюкки. А как Силем?

Папай. Не знаю, Эрзюкки. Но если вы останетесь здесь, вас могут убить.

Эрзюкки. Что ж, это только начало битвы! Конец придет. Уходим, Баян.

Эрзюкки и Баян удаляются. Шум-гам. Вбегают Курункай, охрана, другие люди. Ищут Эрзюкки.

Курункай. Где старший охранник?

Папай. Я сам в недоумении. Нет ни души, а кто-то поднял шум.

Курункай. Обшарьте здесь. Говорят, будто Эрзюкки сбежал.

Папай. Ох, не к добру эта свадьба на крови. Ох, не к добру.

Между тем свадьба в разгаре. Появляется Ильдевер.

Ильдевер. Зайди в дом, любимая.

Силем. Ты удивляешь меня, Ильдевер. Таким тихим никогда тебя не видала. Чем лебезить передо мной — убей! Моя девичья честь все равно не для тебя.

Ильдевер. Почему?.. Силем, объясни...

Силем. Потому что я лишилась ее...

Ильдевер (*хватает ее грубо*). Убью! Врешь ты!..

Силем. Убей. Другого исхода и не жду. Все равно умирать. Когда бы с Эрзюкки счастливой быть, ты силой замуж взяла меня. Не пойдет, мол, против, слабовата. Но ты ошибся, воевода. Была у меня честь, была у меня любовь!.. Я этим жила. Но теперь, как вышла за тебя, я не жена, а распутница.

Ильдевер (*мучительно*). Нет!.. Не верю!..

Силем. Это твоя печаль, почтенный Ильдевер. Хоть режь меня, хоть прикончи на месте, я высказала самое сокровенное: да, я познала любовь, но жизни не видала — несчастная выпала мне доля.

Ильдевер. Довольно! Ответ получишь завтра. Не заставляй меня ждать. (*Уходит.*)

Силем (*достаёт нож*). Стрелой промчался всадник. И годы летят, как всадники. Опять вспоминаю девичьи годы, а как вспомню — слезы ручьем текут. Чтобы взойти на перевал, нужен ветрокрылый конь, чтобы мужа любить, разные души надо иметь. Но у меня единственная душа, и любимый — только один. А если любовь ушла, то не вернется вновь. (*Пытается заколоться.*)

Но черные тени хватают Силем. Она успевает подать голос: «Помогите». Вбегает

Х о р: «Что случилось? Что?»

Вбегают о х р а н н и к, Э л ь г е м - х а н.

Охранник. Народ! Война! Великий хан! Война!

Эльгем-хан. Что?

Охранник. Бату-хан идет с войной на Булгар!..

Часть вторая

VIII

Шатер Бату-хана. Перед шатром Б а р а к ч и н я хлопчет по хозяйству. Тут же стоят нукеры. Из шатра торопливо выходит Б а т у - х а н.

Бату-хан (*кричит*). Арапша!.. Арапша, говорю!..

Вбегает А р а п ш а.

Арапша. Я здесь, почтенный джихангир.

Бату-хан. Где этот багатур Субедей?

Арапша. Сегодня не видел.

Б а т у - х а н. Ты мои глаза, мои уши, мой нос! Не видишь — зри, не знаешь — нюхом бери!..

Арапша. Сейчас разыщу, джихангир. (*Уходит.*)

Б а р а к ч и н я. Иди, перекуси. Чай, проголодался.

Бату-хан. Отстань. Некогда.

Б а р а к ч и н я. Если ищешь Субедея, значит выступаем?

Бату-хан. Выступаем. Сегодня.

Входит С у б е д е й.

Субедей (*отдавая честь*). Да сияет негасимо, как Солнце, слава Великого Бату-хана!

Бату-хан. Ночью и солнце не светит. А слава — тем более.

Субедей. Ночью и Бату-хан почивает. А когда просыпается вместе с солнцем, слава его расходится, как лучи, во все стороны.

Б а т у - х а н. Ох и хитер ты, Субедей! В глаза — славу поешь, за глаза — плюешь!..

Субедей. Есть причина, почтенный джихангир! Третий день топчемся на месте. Кони выщипали всю траву. Мои нукеры голодают. Двести лошадей пускаю на еду. Скоро у меня и конницы не останется.

Баракчиня. Иди сюда, Субедей, испей кумыс. (*Подает.*) Остужает чересчур горячую голову.

Б а т у - х а н. Так ты готов выступить, Субедей?

Субедей. Да, я готов, Бату-хан. Кони бьют копытами — не удержать на месте.

Бату-хан. Завтра будешь уже в Булгаре. Как там? Ты бывал?..

Субедей. Однажды я привел туда войско Чингисхана.

Баракчиня. А если там тебя разобьют?

Субедей. В тот раз у меня было пятьдесят тысяч воинов. Теперь за мной — сто пятьдесят тысяч. К тому же теперь стал осторожным, как старый волк.

Б а т у - х а н. Так спешу, Субедей. Как мне известно, Гуюкхан тоже идет на Булгар. Я жадный, он — еще жадней.

Субедей. Священный потрясатель вселенной Чингисхан говорил тебе так: «Если я покорю все земли, для тебя, Батый, не останется ничего. Что тогда будешь делать?»

Бату-хан. И как я ответил?

Субедей. «Если для меня земли не останется, я отниму ее у тебя, дед», — сказал ты.

Смеются.

Он любил тебя, говорил: настоящим батыром будет. Теперь вижу: ты настоящий батыр, Бату-хан! Приятную весть услышат сегодня мои тумыны.

Входит Арапша.

Арапша. Почтенный джихангир! Послы из Булгара!

Бату-хан (*рассмеявшись*). Ха-ха-ха!.. Из Булгара, говоришь? Мы собираемся туда, а они сами явились. Что ж, раз прибыли — встретим.

Входят Курункай и другие булгары.

Курункай. Слава тебе, Величайший из великих Бату-хан! Да продлится ваш век в мире и согласии. Да сияет, как солнце в небе, имя твое.

Бату-хан. Что надобно булгарам от Бату-хана?

Курункай. Ничего особенного, почтенный Великий хан. Сами готовы преподнести что угодно. И теперь не с пустыми руками явились, а с дарами.

Баракчиня. С дарами? Где же они?

Курункай. Сейчас принесут, почтенная Баракчиня.

Баракчиня (*слегка удивляясь*). Откуда ты знаешь мое имя?

Курункай (*опустившись перед ней*). Не знать твое имя... Аллах не простит мне такое невежество. (*Целует ей ноги.*)

Баракчиня. А ты умеешь угождать. Какие там дары?

Курункай. Даров полно, почтенная Баракчиня. И золото есть, и самоцветы, и соболя! А для тебя, достославный Бату-хан, лучший булгарский аргамак.

Баракчиня. Хорошо. Пойду взгляну. (*Уходит.*)

Бату-хан. Что за дела привели булгар ко мне?

Баян (*проходит вперед*). Нужда гонит, почтенный Бату-хан. Живем среди огня.

Бату-хан. Я думал, Булгария — богатая страна.

Баян. Может, потому и беспокоят нас так часто, почтенный Бату-хан.

Бату-хан. Кто?

Баян. Верно, слышал Бату-хан про князей Руси?

Бату-хан. Слышал, конечно. Но видеть не довелось. На днях наверняка увижу.

Баян. Пойдешь с войной, выходит?

Бату-хан. А ты дерзок, уважаемый князь.

Баян. Да простит мою дерзость Бату-хан. Но Эльгем-хан, повелитель Булгарии, хотел бы знать: зачем стоит у ее границ Бату-хан?

Бату-хан. Я собираюсь идти на Русь. А все же ты скажи мне, князь, что, если я попрошу у вас Булгарской земли?

Курункай. Хе-хе! Об этом стоит подумать, достославный Бату-хан.

Баян. Да простит Великий хан. Но Родина не продается. Взамен, почтенный Бату-хан, дадим все, что попросишь.

Бату-хан. А что просит Булгар у Бату-хана?

Баян. Мы совсем не хотим воевать с Бату-ханом. Если он будет соседом, предлагаем дружбу.

Бату-хан. Ты знаешь кто мне друг? Мой друг — это Судедей. (*Ткнув нагайкой.*) Чем с тобой дружить, лучше я покорю тебя, болгарский князь!

Баян. Да простит Великий хан. Но Булгар скорей погибнет, чем покорится.

Бату-хан (*замахиваясь нагайкой*). Ах, шайттан!.. С Бату-ханом спорить?! Передай Эльгем-хану: кто будет против — будет сражен его рукой. Готов он открыть ворота перед Бату-ханом?

Баян. Да простит Великий хан. Мы готовы поделиться тем, что пожелаешь. Но войти в Булгар... Это решать не мне, а моему народу.

Бату-хан. Это последнее слово?

Баян. Да, это последнее слово, почтенный Бату-хан.

Бату-хан. Жаль, князь. Не нашли общего языка. Арапша, проводи. (*Указывая на Курункаю.*) А этого — оставь.

Арапша. Слушаю, Великий хан. (*Машет рукой.*)

Нукеры выхватывают Курункая, бросают его перед Бату-ханом. Послы уходят.

Бату-хан (*машет рукой*). Остальных убери.

Арапша и нукеры с короткими мечами нападают сзади на послов. Крики, шум, стенания.

Курункай (*целуя ноги Бату-хана*). Говорят, Волга широка, говорят, степь велика. Нет величественнее Бату-хана! Поэтому низко кланяюсь тебе, Великий хан!..

Бату-хан. Значит, хочется жить?

Курункай. Хочется, Великий хан. Прежде хочу показать другой подарок. Может, понравится тебе, почтенный Великий хан? Скажу — не поверите: я эту девицу прямо со свадьбы умыкнул. (*Кричит.*) Приведите сюда девушку!

Нукеры приводят Силем. она под покрывалом.

(*Сорвав покрывало.*) Вот она, почтенный Великий хан. Этот дар — Вам!

Силем (*плюет ему в лицо*). Тьфу! Предатель!..

Бату-хан (*самодовольно*). Ха-ха-ха! Хороша. Вижу, необъезженная кобылка. (*Приподняв подбородок Силем.*) Что за девушка?

Курункай. Это — Силем. Дочь царя Булгарского.

Бату-хан. Вот это красна девица! Посмотри на нее, не девушка — цветок. Она своим прекрасным обликом воскресит меня и в смертный час. А ты боишься смерти? (*Берет за шкуру Курункая.*)

Курункай. Прошу, отпусти!.. Я не только посланник Булгара, я еще человек Субедея, почтенный Великий хан!..

Бату-хан. Что ты сказал?

Курункай (*едва не плача*). Я человек Субедея, досточтимый Бату-хан.

Бату-хан. Врешь, шайттан! Уведите.

Субедей. погоди, почтенный Бату-хан. Так и есть, он мой.

Бату-хан. Отпустите.

Курункая отпускают.

Курункай. Благодарю, почтенный Субедей. До конца дней своих твой должник.

Субедей. Поднимись, уважаемый Курункай. Этот человек, почтенный Великий хан, один стоит целого войска. Нам нужны такие. Он сумеет открыть ворота Булгара.

Курункай. Открою, Великий хан, открою! Я и так сделал немало. Я их столкнул с русами, вражду посеял между племенами.

Субедей (*ножом срезает прядь волос Силем*). А это — для Булгарского царя. Если не откроет ворота, скажи: вместо волос получит ее голову.

Курункай (*принимает*). Понял, почтенный Субедей. Все будет так, как велено!

Х

После ожесточенных сражений и осады пал город Булгар. Курункай сдержал свое слово: убив царя Эльгем-хана, он с Ильдевером открыл врата Булгар. Но в одном бою был ранен и сам Бату-хан. Жители Булгар взяты в плен, а Силем бросили в темницу.

Хор.

Там, где черный занавес висит,
Скошенной травой народ лежит.
И на солнце показалась кровь,
А народ редет вновь и вновь.
Навалились горе и беда —
Неужели это навсегда?

Женщина.

О хранитель Вселенной Всевышний Бог!
О заступники людей Добрые Духи!
О Боже, Пюлехсе!..
Страну звонких родниковых вод
Алой кровью окрасили.
В страну звонких соловьиных песен
Черных воронов нагнали.
В стране полных зерном закровов
Кучу пепла оставили.
О Всевышний Бог! Если дети мои —
Плоть от плоти моей —
Страдают от ран — исцели.
Если выбились из сил —
Мощь земную вдохни,
Если изнывают от жажды —
Волжской водой освежи.
О Всевышний Бог Земли и Воды!

С поклоном к вам Мать-чувашка,
С мольбой к вам под Вашим покровом.

Силем. Опять привиделась ты мне... Такой знакомый близкий образ. Опять свою заводишь песню — то ли сон это, то ли явь?

Женщина. Или ты забыла меня, дочка?.. Помнишь, лежала ты в зыбке? Я качала тебя, целовала и кормила грудью своей...

Силем. Я и вправду несколько не помню. Много лет с той поры прошло. Только песню эту не могу забыть — крепко в душу запала она.

Женщина. Коли в душу запала — припомни: называла ты мамой меня. Со слезами на руки просилась, на руках веселела всегда.

Силем. Нет, мама. Мое детство в прошлом, оно тает, как сон, с каждым годом. Нету радости там никакой, если рада чему — сразу в слезы. Нет там детства и нету веселья, о которых напомнила ты. Там страданья девичьи и вздохи, не о них ли тебе рассказать?

Женщина. Как видно, расстроил твои мечты отец, хотя и родной. Видно, когда меня увезли, махнул на меня рукой. Кыпчаки просили за меня табун лошадей. Но через три дня получили отказ, клячи для него оказались дороже. Потом меня продали богатому хану. Не стало душевных порывов, и жизнь потускнела разом.

Силем. Ах, мама, мама!.. Сколько ты хлебнула горя?

Женщина. Ах, дочка, дочка!.. Не дай тебе хлебнуть такого.

Силем. Мама! Знаешь ли, что мне довелось пережить?

Женщина. Успокойся, дочка, успокойся. У тебя все еще впереди.

Силем. Как сказать, мама? Надежда покинула меня. Родной дом в Булгаре испепелили враги.

Женщина. Не плачь, дочка, никогда, даже если враг закроет наши глаза. Всех чувашей не перебьют — живи же с этим именем века.

Силем. Но как?.. Каково мне терпеть все это?

Женщина. Надо терпеть, доченька. Родилась — так терпи. Астанби — Богиня Солнца — говорит: «Женщина сродни Земле-матушке». Когда жизнь начинает замирать, мы продвигаем его дальше. *(Исчезает.)*

Тайби (*трясет Силем*). Сестра, тебе говорят! Сестра! Очнись, сестрица!..

Силем (*открыв глаза*). Ах, сестренка, Тайби!.. Только что я видела маму. Будто живая вот здесь стояла.

Тайби. Ой, сестрица! Какая она? Ты запомнила лицо?

Силем. Лицо я не запомнила. А вот песню ее помню.

Тайби (*недовольно*). Так всегда!.. Тебе является, а мне — нет.

Силем. Еще явится. Ты еще молода, Тайби. Ты лучше скажи мне, где сейчас Эрзюкки?

Тайби. И Эрзюкки, и Баян — все сейчас в плену. А Ильдевер — вождь племени — тархан. Бьет, истязает, а захочет — так убьет. Это он меня, сестра, отдал на поругание. (*Рыдает.*)

Силем. Что ты сказала?

Тайби. Да, сестра. Честь мою попрали... На жизнь мою замахнулись.

Силем (*прислушиваясь*). Погоди, кто-то идет. Спрячься пока.

Тайби прячется. Через некоторое время входит Курункай.

Курункай. Хе-хе-хе! Как ты тут без меня, не скучаешь?

Силем. Как тебе не стыдно? Я умираю от жажды. А ты меня безо всякой вины держишь взаперти.

Курункай. Хе-хе-хе! Вижу, передо мной звезда!.. Как сияют ее лучи! Хочу, чтобы она светила мне вот так всю жизнь.

Силем. Благими намерениями живешь, Курункай. А меня до сих пор держишь без еды и питья. А потом будешь склонять, чтобы я легла рядом, а если не соглашусь — посадишь в клетку. Не-ет, этого ты от меня никогда не дождешься.

Курункай (*самодовольно улыбаясь*). Хе-хе-хе! Вот так ты еще прекраснее. Когда глаза твои горят огнем, я вижу, как уплывает туман, и ты, Силем, чиста, как роса. (*Берет ее за руки.*) И этой росой хочется освежить лицо, омыть все тело!.. Хочется пить и пить эту росу, пить взахлеб!.. (*Пытается обнять и прижать к себе.*)

Силем (*оттолкнув*). Не трогай меня!.. Никогда я не буду твоей!.. Моя любовь летает в поднебесье, а твоя лишена крыльев!

Курункай. Значит, все еще ждешь того?

Силем. Убей! Любовь моя чиста, как утренняя роса! Но

помни, Курункай, чем твои насмешки терпеть, скорее удавлюсь или яд приму!..

Курункай. Хе-хе-хе!.. Ты не девушка, ты — колдунья, Силем! Ты обжигашь без огня, без пламени. *(Хватает ее.)* Удобный случай. Согласись, Силем! Будешь жить царицей. В моих руках и серебро, и золото. Все богатство Булгарии! Только согласись, и убежим отсюда.

Силем. Прошу тебя, отпусти! Не трогай!..

Курункай. Не-ет, только через мой труп! Теперь ты моя. Только моя!.. *(Валит ее на землю, пытается изнасиловать.)*

Силем *(отбиваясь)*. Ах, сестра, Тайби!

Вбегает Тайби, поражает Курункая ножом в спину.

Тайби *(оттаскивая его)*. Собаке — собачья смерть. Он убил отца вместе с Ильдевером.

Силем. Видала, что вытворяет. Хотел силой взять. Тайби, ты беги. А меня все равно лишат жизни.

Тайби. Я тоже остаюсь с тобой. Умирать — так вместе.

Силем *(обнимая)*. Ах, сестренка Тайби!.. Умоляю, беги!

Снаружи слышатся голоса нукеров.

(Прислушиваясь.) Опять возвращаются сюда. Держи, Тайби. Спрячем этот труп.

Оттаскивают Курункая. Силем входит одна.

Появляются Арапша и нукеры.

Арапша. Где он, Курункай?

Силем. Он сюда не приходил.

Арапша. Сволочь! Далеко не уйдет. Найдите его! *(Бросает узелок перед Силем.)* Это тебе! Переодевайся в новое платье. Надо подготовиться к обряду жертвоприношения.

Силем. Что вы затеяли?

Арапша *(бьет нагайкой)*. Пошевеливайся! И без разговора! Сперва надо помыться.

Силем. Хорошо. Я помоюсь. Но прошу оставить меня одну.

Арапша. Ладно. Скоро вернусь. *(Уводит за собой нукеров.)*

Входит Тайби.

Силем *(беря узел)*. Вот и время расставаться, Тайби. Едва ли свидимся еще. Как умру, приходи на мою могилу, но слез не проливай... Можешь посадить розы, но, прошу, не

поливай. Они будут красными-красными — это от крови, пролитой моим народом, Булгарией. Если встретишь Эрзюкки живым и здоровым, передай: я хотела родить ему ребенка. Но нас уничтожает враг.

Тайби. Так ты, сестра...

Силем (*поглаживает живот*). Да, Тайби. Он вот здесь... Но ему не суждено увидеть белый свет — он ляжет в землю со мной. Слыхала, в жертву выбрали меня.

Тайби (*вырывает платье*). Нет!

Силем. Что ты надумала, Тайби?

Тайби. Я заменю тебя, сестра, так надо.

Силем (*пытается отобрать платье*). Нет-нет!.. Опомнись, Тайби. Как это я смогу тебя взамен себя на смерть послать?

Тайби. Не отговаривай, сестра! Они надо мной, знаешь? (*Сквозь рыдания.*) Ах, и вымолвить стыдно! От тебя родится чувашское дитя, а если от меня — чужая кровь.

Силем. Ах, Тайби!..

Тайби. Как хорошо мне было с Баяном. Считала, нет счастливее меня. С ним веселилась, песни распевала. Теперь перед тобою слезы лью. Я знаю, обесчестили меня, мою любовь нещадно растоптали... Но до моей души им не добраться — душа моя сгорит в огне. (*Раздевается. Становится в чан с водой.*) Теперь облей меня три раза из ковша.

Силем (*обливает*). Ах, Тайби!.. Как ты решилась на такое?

Тайби (*выходит из воды, одевается*). В Булгарии не оставайся, вверх по Волге уходи. Ты найдешь свое счастье, чую всей душой. Сто тысяч песен хранит мой народ, тысячи погибнут — сохрани на память. Сто тысяч узоров хранит мой народ, тысячи погибнут — а ты сохрани. Благословляю тебя. Будь счастлива!

Силем (*обнимает ее*). Ах, сестренка, Тайби!.. Успокойся, родная... Жизнь на этом не кончается.

Тайби. Для тебя, может, не кончается, а для меня, сестра, все кончено. Мне совсем не хочется жить! Прощай!..

ХII

Раздвигается полог. Посреди сцены — корявый дуб. Под ним лежит Батухан. На сучьях — человеческие черепа. Там же — девятиконечный флаг. Пюхе готовится к жертвоприношению.

Пюхе.

Через девять земель,
Через девять морей,
Девяносто и девять
Сил волшебных, явитесь!
Да станет душа моя небом,
Да станут глаза, как молнии.
Пусть сгорит в огне, что я видел,
Пусть в воде утонут непокорные!
Добро!

Все. Добро! Добро!..

Пюхе.

Э-э, Хюххе-Мюххе Тэнгери!
Э-э, Всевышний Бог небесной Сини!
Бог Войны Сэльде!
Приносим тебе жертву —
Сорок красных девиц,
Сорок девушек-рабынь!
Взамен пошли здоровье
Нашему Великому Бату-хану.
Добро!

Все. Добро! Добро!

Пюхе. Сорок вроде маловато. Нужна сорок и одна. Сорок одну жертвуем. Сорок девушек — наши, сорок первая — из рабынь! Пусть приведут рабыню!

Нукеры приводят Тайби.

Тайби.

Не трогай меня... Отпусти!..
Все равно я не боюсь тебя!
За гумном блестит круглое озеро,
Посреди озера крашенный столб,
На крашеном столбе пестрая кукушка,
Кукушки сидят, словно скоро улетать,
А мы стоим, словно скоро уходить.
Коли я уйду — останется сестра,
Коли я уйду — останется мил друг.

Субедей *(в гневе)*. Твори обряд, Пюхе! Что дремлешь на ходу?

Нукеры ставят Тайби на колени. Голову кладут на жертвенную плаху.

Пюхе (*воздевает руки, в одной — нож*).

Э, Хюххе-Мюххе Тэнгери!..

Э, еще одну жертву прими!

Э-э, мать Кетит Уттекен!

Э-э, Простор Земель и Вод!..

Э, помилуй Боже!

(*Поражает Тайби ножом.*)

Прими от нас эту невинную душу!..

Э, Хюххе-Мюххе Тэнгери остался доволен.

Арапша (*вскочив*). Почтенный Субедей!

Субедей. Что тебе?

Арапша. Величайший из великих Бату-хан открыл глаза!

Субедей. О Боги! Благодарю, что услышали нашу мольбу.

Поднимите его!

Нукеры, поддерживая, ставят Бату-хана на ноги.

Издаലെка доносится колокольный звон. Вспыхивают зарницы, как при пожаре.

Всеобщее смятение, шум. Суетсяя нукеры.

Бату-хан. Что это?

Субедей. Такого я не помню. Наши шатры горят!.. Чуваши подняли мятеж!.. Они!.. Они!.. Откуда-то и конница нашлась!..

Бату-хан (*оттолкнув его*). Субедей! Всех чувашей до единого уничтожь! Режь, кромсай, жги! Чтоб глаза мои не видели больше этот Булгар! Пепел по ветру развей, камни в водах утопи! О Боги!.. Бог Войны — Сэльде! Я — Бату, последний Великий хан из рода Джучи, как учил Чингисхан, беру судьбу этого народа на себя. (*Выхватывает меч.*) Его судьба — на острие моего меча! Садитесь на коней — и уничтожьте всех до единого!..

Слышится конский топот.

Хор.

О, сивый конь летучий,

О, сивый конь могучий,

Меня ты унесешь ли

От злобы неминучей?

Звон мечей, ржание лошадей, стоны раненых, плач женщин.

Входит Силем.

Силем (*склоняется над Тайби*). Ах, сестренка Тайби!.. И глаза не закрыты. Знать, ждала меня. Знать, не чаяла умереть. Мою жизнь спасла, сама погибла от вражеской руки. Тайби!.. Отзовись, Тайби!.. Может, ты жива? Может, смерть отступила? (*Рыдает.*) Белесый приходит рассвет — белым занавесом не закрыть. Солнце красное нынче встает — красным полотном не удержать. (*Закрывает глаза Тайби.*) Вот и закрылись глаза, закрылись... Ни золото их не откроет, ни серебро. Ты же спи спокойно, Тайби. Не сгинул наш род, он живет. Он во мне, в моем сердце.

Женщина.

О Создатель природы Пюлех-Бог!
О Заступник народа Добрый Дух!
О Верховный Бог! Земные тверди и Воды!
Чувашская Мать бьет вам поклоны,
Под вами стоит и молится вам:
Сохраните моих сыновей-дочерей,
Защитите любимые Земли и Воды.
Не обделите нас своими милостями,
Не дайте нам сгинуть без следа.
От имени Чувашской Матери
Молю Вас, Отбиваю Вам поклон...
Помоги нам, Всевышний Бог!

Занавес.

СОДЕРЖАНИЕ

Василий Митта	3
Другу	4
Мудрая стихия.	5
Бульвар Иванова	7
Родина	8
Письмо с целины.	9
После грозы	10
Александр Артемьев	12
Не гнись, орешник!	13
Мигулай Ильбек	32
Черный хлеб	33
Дмитрий Кибек	122
Лесной великан	123
Охотничьи рассказы	137
Васьлей Игнатъев	146
«Танец маленьких лебедей»	147
Алексей Воробьев	164
Молодая рожь	—
Полоска	165
На лугах	166
Николай Терентьев	167
Когда встает солнце...	168
Вениамин Погильдяков	185
Пехиль	186
Геннадий Волков	192
Золотая колыбель	193
Юрий Скворцов	211
Красный мак	212
Михаил Юхма	238
Шурсямга, молодой волк	239
Геннадий Айги	264
О да: Родина	265
Снег	266
Отъезд	—

Отдых	267
Детство	268
Николай Теветкель	269
Из цикла сонетов «На вечных струнах...»	270
«На прошлую жизнь зачем ты киваешь?..»	—
Путь	271
Мастерство	—
Ева Лисина	273
Кусок хлеба	274
Николай Искуков	284
У холма предков	285
Педер Эйзин	290
Родное слово	291
Хлеб	—
Звезды	292
Сосны	—
У окна	293
Петр Яккусен	295
«За степью, посреди лесов...»	—
«Перед тобою стою, Богородица!..»	296
«Коль беспокоит совесть...»	—
«А бывает — выпадает...»	297
«Приблизил к цели незаметно...»	—
«Синевой очей своих овальных...»	—
«Город — белый камень, ты — не для меня...»	298
«В восторге, что круженьем плавным...»	—
Раиса Сарби	299
Встреча в Риме	300
Николай Ижендей	305
Голос нерожденного ребенка	306
Анатолий Смолин	321
«Запестрели скверы...»	322
«Проехали дали такие мы...»	—
Моя хата с краю, или Баллада о крайнем	323
Из цикла «Прощание с отцом»	—
«Как отвести злую беду?..»	324
«Чувашская земля — родимый край...»	—
Борис Чиндыков	325
Ежевика вдоль плетня	326
Николай Сидоров	365
Плач девушки на заре	366

Учебное издание

ЧУВАШСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

**Хрестоматия для школ
с многонациональным составом
учащихся и русских школ**

11 класс

**Автор-составитель
Василий Николаевич Пушкин**

**Редактор *А.Г. Владимирова*
Художник *В.Н. Гончаров*
Художественный редактор *И.Е. Калентьева*
Технический редактор *Л.К. Егорова*
Корректоры *О.Г. Васильева, Е.Ю. Ермолаева,
Н.Г. Орлова, З.И. Гаврилова*
Компьютерная верстка *Е.Л. Карпеевой***

Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93—956600. Подписано к печати 12.11.07. Формат 60x90 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Тип Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,0. Учетно-изд. л. 21,34. Тираж 10 000 экз. Заказ № 1550. Изд. № 64.

ГУП Чувашской Республики «Чувашское книжное издательство»
Минкультуры Чувашии, 428019, Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 13.
Отпечатано в ООО «Чебоксарская типография №1»,
428019, Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 15.



ЧУВАШСКОЕ
КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО